



**ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ**

**СЕРИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ**

2021 Том 21 № 4

**Научный журнал
Издается с 2001 г.**

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) **Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.**
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

**RUDN JOURNAL
OF SOCIOLOGY**

2021 Volume 21 No. 4

**Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia**

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: СОЦИОЛОГИЯ

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 выпуска в год.

Языки: русский, английский.

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Публикует статьи по научным специальностям согласно номенклатуре ВАК РФ: 22.00.00 — социологические науки и 09.00.11 — социальная философия. Журнал включен в ядро РИНЦ, RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. Журнал индексируется в базе данных Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 20826.

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международное рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.

Электронный адрес: socioj@rudn.ru.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

RUDN JOURNAL OF SOCIOLOGY

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 issues per year.

Languages: Russian, English.

Indexed/abstracted in RSCI, Scopus, ERICH PLUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich's Periodicals Directory, EBSCOhost, Google Scholar, WorldCat, Electronic Journals Library Cyberleninka. The journal is indexed and abstracted in the Web of Science — Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics).

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of COPE (Committee on Publication Ethics) <http://publicationethics.org>.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues from 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socioj@rudn.ru.

Подписано в печать 10.11.2021. Выход в свет 20.11.2021. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 22,1. Тираж 500 экз. Заказ № 1135. Цена свободная.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН)
117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

© Российский университет дружбы народов, 2021

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии РУДН, Россия. E-mail: narbut-np@rudn.ru

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии РУДН, Россия. E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР

Херпфер К., доктор политологии, профессор университета Вены; директор Института сравнительных социальных исследований «Евразийский Барометр»; президент Исследовательской ассоциации «Всемирное исследование ценностей», Австрия. E-mail: c.w.haerpfer@gmail.com

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Гаспаривили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заместитель директора Центра стратегии развития образования МГУ им. М.В. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН

Гориков М.К., академик РАН, доктор философских наук, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе (Испания)

Егорышев С.В., доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН

Иванов В.Н., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, советник РАН

Куропятник М.С., доктор социологических наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Назарова И.Б., доктор экономических наук, директор Аналитического центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Пан Д., доктор социологических наук, профессор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Пузанова Ж.В., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая лабораторией социологических и фокус-групповых исследований факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Хагендорн Л., доктор философии (социальная психология), почетный профессор Утрехтского университета (Нидерланды)

Чамбаликова М., доктор философии (социология), профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Шастри С., доктор философии, профессор, вице-канцлер университета Джагран Лейксити (Индия)

Шафранец К., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии образования и молодежи Института социологии Университета Николая Коперника в Торуне (Польша)

Шнайдер С., доктор философии (социология), профессор Федерального университета Рио Гранде-ду Сул (Бразилия)

Шубрт И., доктор философии (социология), профессор факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Шувакович У., доктор социологических наук, профессор кафедры философии и социальных наук, Белградский университет (Сербия)

Литературный редактор *К.В. Зенкин*

Компьютерная верстка *Ю.Н. Ефремова*

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: publishing@rudn.ru

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2

Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socioj@rudn.ru

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: narbut-np@rudn.ru

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Chair, RUDN University, Moscow, Russia.
E-mail: trotsuk-iv@rudn.ru

HONORARY EDITOR

Haerpfher C., D.Sc (Political Sciences), Professor, University of Vienna; Director, Institute for Comparative Survey Research “Eurasia Barometer”; President, World Values Survey Association, Austria. E-mail: c.w.haerpfher@gmail.com

EDITORIAL BOARD

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Gasparishvili A.T., PhD (Philosophy), Associate Professor, Deputy Director, Center for Educational Development, Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation, Federal Sociological Research Center of Russian Academy of Sciences (Russia)

Gorshkov M.K., D.Sc (Philosophy), Academician of Russian Academy of Sciences, Scientific Director of Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of Russian Academy of Sciences, Head of Institute of Sociology of FCTAS of RAS (Russia)

Hagendoorn L., D.Sc (Social Psychology), Professor Emeritus, Utrecht University (Netherlands)

Díez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor, School of Political Sciences and Sociology, Complutense University of Madrid (Spain)

Egoryshev S.V., D.Sc (Sociology), Senior Researcher, Institute of Social and Economic Studies, Ufa Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor, Russian Academy of Sciences (Russia)

Kuropjatnik M.S., D.Sc (Sociology), Professor, Chair of Cultural Anthropology and Ethnic Sociology, Saint Petersburg State University (Russia)

Nazarova I.B., D.Sc (Economics), Head of Analytical Center, National Research University “Higher School of Economics” (Russia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor, Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoyskiy D.G., PhD (Philosophy), Associate Professor, Chair of Social Philosophy and Philosophy of History, Lomonosov Moscow State University

Puzanova Zh.V., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Laboratory of Sociological and Focus-Group Research, RUDN University (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research, Belorussian State University (Belorussia)

Shastri S., PhD (Philosophy), Professor, Vice Chancellor, Jagran Lakecity University (India)

Schneider S., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology of Rural Development and Food Studies, Federal University of Rio Grande do Sul (Brazil)

Szafrańiec K., D.Sc (Sociology), Professor, Chair of Sociology of Education and Youth, Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

Čambáliková M., PhD (Sociology), Professor, Researcher, Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences; Head of Sociology and Social Psychology Chair, Higher School Danubius (Slovakia)

Šubrt J., PhD (Sociology), Professor, Faculty of Humanities, Charles University (Czech Republic)

Šuvaković U., D.Sc (Sociology), Professor, Department of Philosophy and Social Sciences, University of Belgrade (Serbia)

Review Editor *Konstantin V. Zenkin*

Computer design *Yu.N. Efremova*

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation

Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socioj@rudn.ru

Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation
6 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russia

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,

+7 (495) 952-04-41; e-mail: publishing@rudn.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

- Кильдюшов О.В.** Макс Вебер и политическая теология Фридриха Наумана 657
- Подвойский Д.Г.** «Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность — деньги — техника (часть 1) 670
- Латыпов И.А.** «Контрфинальность» в социологической теории: реконцептуализация понятия 697
- Стрельник О.Н.** Проблема демаркации мифологических сообщений в коммуникативном пространстве современной культуры: междисциплинарный подход 711
- Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Гаспаришвили А.Т., Радкевич К.В., Захарова С.В.** Личностные характеристики участников фокус-группового исследования как фактор повышения качества данных 722

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- Горшков М.К., Тюрина И.О.** Состояние и динамика массового сознания и поведенческих практик россиян в условиях пандемии covid-19 739
- Ястребов О.А.** Обязательная вакцинация: социальное благо или нарушение индивидуальных прав (на англ. яз.) 755
- Гнатик Е.Н.** «Новая нормальность» эпохи covid-19: возможности, ограничения, риски 769
- Раделжич Б., Гонсалес-Вилья К.** Безответственное участие: роль правительств, экспертов на местах и публичных интеллектуалов в условиях пандемии covid-19 (на англ. яз.) 783
- Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А.** Оценка социального благополучия семей в российских регионах: социологический анализ 805
- Беляева Л.А., Зеленев И.А., Прохода В.А.** Добровольчество в России: история развития и современные установки молодежи 825
- Гаврилюк В.В., Гаврилюк Т.В.** Классовая идентичность рабочей молодежи современной России 839

Ушкин С.Г. Партия «телевизора» против партии «Интернета»: как медиа-потребление влияет на одобрение деятельности властей	855
Белов В.И., Савичева Е.М., Харитоновна Е.В. Социальные представления арабской молодежи: факторы и тренды регионального развития	868
Стойшин С., Шлюкич М., Хлавча Д. Особенности миграции из Сербии в Словакию (на примере муниципалитета Ковачица) (на англ. яз.)	881
РЕЦЕНЗИИ	
Троцук И.В. Повседневный народный российский патриотизм: возможности и ограничения социологического исследования и типологизации	891
Бабашкин В.В. Транснационализм и интернационализм	903
НАШИ АВТОРЫ	911

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

- Kildyushov O.V.** Max Weber and political theology of Friedrich Naumann 657
- Podvoyskiy D.G.** “Dangerous modernity!”, or the shadow play of modernity and its characters: instrumental rationality — money — technology (part 1) 670
- Latypov I.A.** ‘Counterfinality’ in sociological theory: Reconceptualization of the concept 697
- Strelnik O.N.** On the demarcation of mythological messages in the communicative space of contemporary culture: An interdisciplinary approach 711
- Puzanova Zh.V., Larina T.I., Gasparishvili A.T., Radkevich K.V., Zakharova S.V.** Personal characteristics of the focus group participants as a factor of the data quality 722

CONTEMPORARY SOCIETY: THE URGENT ISSUES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

- Gorshkov M.K., Tyurina I.O.** The state and dynamics of the Russian mass consciousness and behavioral practices under the covid-19 pandemic 739
- Yastrebov O.A.** Compulsory vaccination: Public benefit or individual’s right limitation 755
- Gnatik E.N.** ‘New normality’ of the covid-19 era: Opportunities, limitations, risks 769
- Radeljić B., González-Villa C.** Engagement without accountability: The role of governments, field experts, and public intellectuals in the context of the covid-19 pandemic 783
- Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V., Zolotareva O.A.** Assessment of the social well-being of families in Russian regions: A sociological analysis 805
- Belyaeva L.A., Zelenev I.A., Prokhoda V.A.** Volunteering in Russia: History and attitudes of the contemporary youth 825

Gavrilyuk V.V., Gavrilyuk T.V. Class identity of the working-class youth in contemporary Russia	839
Ushkin S.G. TV versus Internet: How media consumption affects the approval of the authorities	855
Belov V.I., Savicheva E.M., Kharitonova E.V. Social representations of the Arab youth: Factors and trends of regional development	868
Stojšin S., Šljukić M., Hlavča D. Characteristics of migration from Serbia to Slovakia (on the example of the municipality of Kovačica)	881
REVIEWS	
Trotsuk I.V. Everyday people's patriotism in Russia: Possibilities and limitations of sociological study and typologization	891
Babashkin V.V. Transnationalism and internationalism: Revival of the terms	903
AUTHORS	911



ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-657-669

Макс Вебер и политическая теология Фридриха Наумана*

О.В. Кильдюшов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000, Россия
(e-mail: kildyushov@mail.ru)

Аннотация. В вебероведческой литературе неоднократно отмечалось отсутствие серьезного интереса со стороны теологии к важнейшим положениям социологии религии Макса Вебера. Данная констатация может считаться парадоксальной с учетом того религиозно-теологического контекста, в котором формировался веберовский интеллектуальный проект социально-теоретической герменевтики западного модерна. В первой части статьи реконструируется семейная и дружеская религиозная констелляция, во многом определившая понимание классиком социологии экзистенциальной значимости религиозных смыслов для отдельных групп современной эпохи. Отмечены близкие связи Вебера с рядом ведущих теологов Германии конца XIX — начала XX века, оказавших заметное содержательное влияние на эвристику его сочинений. Во второй части статьи фокус интереса смещается к многогранной фигуре Фридриха Наумана: в качестве публичного интеллектуала и общественного деятеля он проделал значительную эволюцию — от протестантского пастора и теолога реакционно-охранительного толка до духовного и политического лидера немецких левых либералов. Показана изначальная амбивалентность политико-религиозной ситуации в Германской империи 1880–1890-х годов, в рамках которой Науман пытался осуществить синтез христианства и социализма. Дается краткий обзор взглядов молодого теолога и социального активиста, постепенно превращавшегося в заметную фигуру в немецкой публицистике и политике. Третья часть статьи посвящена встрече двух мыслителей — судьбоносной как для Вебера, так и для Наумана. Подчеркивается радикальный поворот в мировоззрении известного религиозного теоретика и практика, отказавшегося под мощным влиянием личности и аргументации великого социолога не только от многих прежних представлений, но и от пасторского сана. В заключение делаются выводы о парадигматическом характере наумановской идейно-политической динамики для значительной части немецких интеллектуалов начала XX века. Гегелевское по духу принятие Науманом вслед за Вебером современного национального государства как высшей ценности интерпретируется как самосбывающийся диагноз эпохе кризисного модерна в преддверии катастрофы Первой мировой войны.

Ключевые слова: Макс Вебер; Фридрих Науман; Германская империя; христианский социализм; политическая теология; история социологии; либеральный империализм; национал-либерализм

* © Кильдюшов О.В., 2021

Статья поступила 14.06.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

Макс Вебер в религиозно-теологическом контексте

Известный немецкий социальный теоретик Ф. Тенбрук в работе 1975 года «Главный труд Макса Вебера» [6], вызвавшей в свое время бурные дебаты среди вебероведов, отмечал продолжительное игнорирование современной теологией веберовских трудов. В качестве примера он приводил центральную проблему теодицеи, которая долгое время выступала содержательным фактором структурной рационализации картины мира в рамках концепта тварного порядка и религии спасения. Вебер считал, что в условиях модерна в результате расколдовывания действительности, целерационального овладения миром на основе научных познаний и вытеснения религии на обочину иррационального вся эта проблематика уже не может оказывать на человека того гигантского воздействия, что сохранялось на протяжении тысячелетий. Вместе с проблемой теодицеи для позднего Вебера распадается и вся этическая унификация жизни, осуществленная тысячи лет назад посредством идеи надмирного бога-творца. Этот момент Вебер считает началом новой действительности, ее людей, культуры и общества. Тенбрук говорит в этой связи, что теологи не знали, что им делать с этим принципиально важным выводом Вебера, как и со всей его социологией религии: «Даже теологическая литература по еврейским пророкам вряд ли озадачилась важными взглядами Вебера, игнорируя его “Хозяйственную этику мировых религий” точно так же, как и остальные культурно-исторические дисциплины» [6. С. 117].

Констатация отсутствия теологического интереса к веберовской эвристике религиозного (другой вопрос — насколько наблюдение Тенбрука верно и сегодня) может показаться неожиданной, если вспомнить об историческом генезисе социологии. Для ее возникновения был содержательно значим именно политико-теологический контекст немецкой дискурсивной ситуации конца XIX века — так сказать, между Бисмарком и Библией. Некоторые теологические импликации самоописаний нового общества очевидны. Так, знаменитая формула Ф. Ницше «Бог умер» зафиксировала впечатляющие результаты секуляризации европейской культуры Нового времени. В этом смысле Вебер, анализируя основные общественные институты рубежа XIX–XX веков, лишь социологически подтвердил интуицию знаменитого философа: «железная клетка» организованного модерна, в которой отныне живут и действуют люди, оказалась лишенной «духа», который создал их когда-то в рамках поиска спасения. И хотя в широко распространенных (наивно-генетических) представлениях об истории современного социального знания социология как бы в готовом виде — *sui generis* — появляется на рубеже XIX–XX веков из голов «ранних социологов», вроде того же Вебера, структурно и содержательно веберовский интеллектуальный проект немислим вне теологического дискурса своей эпохи.

Даже чисто биографически классик социологии был укоренен в этой интеллектуальной традиции, например, благодаря глубоко религиозной матери Хелене. Бабушка Вебера Эмилия Суше происходила из семьи гугенотов и

передала дочерям специфически протестантское понимание жизни, игравшее определяющую роль и в семье Хелены Вебер [11. С. 166–167]. Кроме того, многие теологи входили в ближний — родственный или дружественный — круг Вебера. Так, среди его родственников известным теологом был его дядя Адольф Хаусрат, муж его тетки Генриетты Фалленштайн (сестры Хелены): он сорок лет занимал кафедру Нового завета и церковной истории в Гейдельбергском университете. Этот видный представитель юго-западного либерализма и культур-протестантизма даже возглавлял знаменитый университет во время обучения в нем племянника Макса. Эпистолярное наследие Вебера свидетельствует о временах интенсивных контактах дяди и племянника [9. С. 17–18]. Кстати, именно Хаусрат содействовал приглашению Вебера в Гейдельберг на кафедру национальной экономики [13. С. 142]. Карьеру академического теолога выбрал и двоюродный брат Вебера Отто Баумгартен, будущий известный протестантский богослов, сын другой его тетки Иды и известного либерального историка Г. Баумгартена. Во время первого семестра в Гейдельберге явно под влиянием кузена-теолога Макс одновременно с официальной программой занимался по собственному учебному плану, в котором фигурировали работы Шлейермахера, Штрауса и исследования по павлинизму. Как он признавался в письме матери в мае 1882 года, эти занятия завели его «глубоко в теологию» [24. С. 261].

Таким образом, даже семейная религиозная «констелляция», включая гугенотские корни предков, сыграла определенную роль в формировании устойчивого интереса Вебера к проблеме культурного значения аскетического протестантизма: его мать Хелена, тетка Ида, кузен Отто и другие родственники явно повлияли на понимание им экзистенциального значения религиозного опыта [20. С. 30]. И далее Вебера как ученого в Гейдельберге постоянно окружали выдающиеся протестантские теологи. Обычно среди них в качестве близкого друга и единомышленника Вебера особенно выделяют Э. Трельча, с 1894 по 1915 годы занимавшего кафедру профессора систематической теологии Гейдельбергского университета. Действительно, Трельч — до резкого охлаждения их отношений в начале Первой мировой войны — был рядом с Вебером в буквальном смысле слова: в 1904 году они совершили многодневное путешествие в Америку, с 1910 года были соседями, занимая квартиры на втором и третьем этаже виллы Фалленштайн, построенной еще дедом великого социолога и ныне известной в Гейдельберге как *Weber-Haus*. Кстати, наряду с Вебером и Трельчем среди приглашенных корифеев немецкой науки на Международном конгрессе искусств и науки в Сент-Луисе (США) в сентябре 1904 года был и крупный теолог А. фон Гарнак [3. С. 248].

Однако круг интенсивных теологических и религиозоведческих контактов Вебера не исчерпывался названными именами: и Вебер, и Трельч были членами элитарного интеллектуального кружка «Эранос», основанного в 1904 году по инициативе профессора теологии А. Дайсмана «в целях изучения религий и религии» [22]. В нем принимали участие интеллектуалы уровня

знаменитого философа-неокантианца В. Виндельбанда и выдающегося юриста Г. Йеллинека (1851–1911), который в работе 1895 года «Объяснение прав человека и гражданина» поставил вопрос о роли пуританизма в развитии религиозных свобод и их универсализации как конституционно-демократических прав, т.е. еще до Вебера и Трельча проблематизировал культурное значение протестантизма [10]. Вебер довольно быстро стал задавать в кружке тон и именно здесь прочитал доклад о протестантской аскезе [2. С. 301]. К 1909 году состоялось около 30 дискуссий на теологические и религиоведческие темы, включая обсуждение новейшей литературы, которой Трельч регулярно снабжал Вебера еще со времен работы над «Протестантской этикой» [11. С. 197]. Судя по всему, гейдельбергские ученые разговоры о религии определили изменение исследовательских планов Вебера — вместо углубленной разработки культурного значения протестантизма в начале 1910-х годов он начинает свой грандиозный проект по изучению «Хозяйственной этики мировых религий». В этом смысле зрелая веберовская социология религии эвристически и генетически связана с уникальной социально-коммуникативной средой выдающихся гейдельбергских интеллектуалов, обсуждавших на рубеже XIX–XX веков в своем кругу религиозно-культурные импликации модерна. И содержательно, и интенционально веберовский проект «понимающей социологии» во многом непостижим не только вне контекста обычно упоминаемых баденских неокантианцев [1. С. 51–88] или В. Дильтея, которого 16-летний Вебер посетил в Бреслау в июле 1880 года во время первого самостоятельного образовательного путешествия [9. С. 23], но и вне традиции либеральной протестантской теологии, восходящей к теологической герменевтике Ф. Шлейермахера.

Можно согласиться с Ю. Каубе, автором недавно вышедшей биографии Вебера, который отметил парадоксальный на первый взгляд аспект генезиса веберовской социологии религии — она возникла у Вебера в Гейдельберге не столько на основе готовой исследовательской программы со строго продуманными методологическими подходами или из абстрактного философско-культурологического интереса к предмету, сколько из столкновения с конкретным фактическим материалом, требовавшим больших исторических сопоставлений и типологизации, выходявшей далеко за пределы феноменологических описаний в рамках истории религии или этнографии. В этом смысле веберовское стремление заниматься социологией как наукой о действительности «означает отмежевание как от чистого моделирования аналитической экономики, так и от философии», его интересует научное исследование «того типа, что не желает подчиняться диктату методологии» [3. С. 304–305].

Пастор Науман как политический теолог

Любой, кто прикасается к биографии и творчеству Вебера, сразу сталкивается и с разносторонней фигурой Фридриха Наумана — протестантского теолога и пастора, а позже общественного деятеля социально-христианского

направления, затем национального социалиста и даже либерального империалиста, завершившего свою идейно-политическую эволюцию в качестве первого председателя леволиберальной Немецкой демократической партии. В начале XX века он был известен и в России: некоторые его работы были переведены на русский язык [4; 5]. Науману даже была посвящена статья в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, а в пятом номере журнала «Образование» за 1904 год вышла статья Г. Гроссмана «Пастор Науман и его политическая карьера».

Дружба, сотрудничество и взаимное влияние двух мыслителей продолжались почти тридцать лет — с начала 1890-х годов и до смерти Наумана в 1919 году, за которой очень скоро (в июне 1920) последовала смерть Вебера. По мнению некоторых исследователей, почти одновременная смерть столь выдающихся либеральных интеллектуалов и политиков, к которым следует отнести и Трельча, скончавшегося в начале 1923 года, значительно ослабила креативный потенциал демократической части публичной сферы институционально слабой Веймарской республики [11. С. 196].

История взаимоотношений великого социолога и известного теолога представляет особый интерес для вебероведения. Как признают многие биографы, Вебер был не способен к близким отношениям и настоящей дружбе, поскольку его патологическая готовность к полемике неизбежно приводила к разрыву с любым партнером. Науман в этом смысле представляет исключение: он присутствует в разные моменты жизни Вебера, и серьезного разрыва отношений, видимо, у них так и не произошло, хотя Вебер нередко позволял себе довольно резкие комментарии в адрес друга и соратника. При этом он ценил Наумана не только как политического единомышленника, но и как человека, способного заниматься практической работой с удивительной теплотой и спокойствием, а главное — идти на компромиссы: это как раз то, на что был неспособен Вебер, не пропускавший возможности устроить острые дебаты, вплоть до перехода на личности, угрожать своим выходом отовсюду и т.д. [19. С. 189].

Вспоминая о приезде Наумана в Гейдельберг в 1912 году, Марианна Вебер писала: «он был среди друзей Вебера самым значительным воплощением того, кто пребывал в борении в настоящем». И даже сравнивала его с ранее гостившим у них поэтом Штефаном Георге: «Они полярные личности, и я рада, что имела возможность созерцать обоих. Если бы нам пришлось выбирать между ними как формирующими жизнь силами, мы предпочли бы Наумана, так как в нем благодаря братской любви проникающая в мир сила соединяется с мощным пластичным чувством действительности. Но, к счастью, выбирать не надо, евангелие искусства мирно сосуществует в нашей душе с социальным. Конечно, непоследовательно предоставлять место двум столь различным силам, но прекрасно чувствовать богатство жизни в напряжении между обоими» [2. С. 387].

В исследовательской и биографической литературе обычно выделяют три периода в творческой активности Наумана: христианско-социальный

(1880–1896) — как пастор и внутренний миссионер он пытался прагматически и отчасти программно связать социальный опыт со своей деятельностью теолога; национально-социальный (1896–1903) — когда он стремился воплотить идею сильного национального государства одновременно с представлениями о либеральном империализме; леволиберальный (1903–1919) — его целью стало программно-организационное обновление либерализма [21].

Нас интересует, прежде всего, христианско-социальный этап идейной эволюции Наумана, завершившийся переходом к идеологии национального социализма и имперского либерализма во многом благодаря встрече с Вебером. Некоторые исследователи среди оказавших влияние на резкую смену убеждений Наумана также называют юриста Р. Зоме и историка Г. Дельбрюка [18]. Но в любом случае для Наумана пересечение его жизненной траектории с веберовской было судьбоносным. Более того, по некоторым оценкам, эта отразившаяся в отношениях Вебер–Науман политико-теологическая смена вех в целом символична для немецкого протестантизма [12. С. 5]: в этом смысле имена великого социального ученого и выдающегося социально-политического практика стали парадигматическими для интеллектуальной истории Германии, что нашло отражение в известных размышлениях философа К. Ясперса о Вебере и в биографии Наумана, написанной первым президентом ФРГ Т. Хойсом, входившим в молодости в наумановский социально-либеральный круг. Обе культовые фигуры немецкого либерализма вильгельмовской эпохи по-прежнему являются для немцев точками критической референции при оценке политической мысли и действия в условиях нестабильного модерна.

Получивший теологическое образование в Лейпциге и Эрлангене молодой пастор Науман в 1880-е годы активно выступает на публицистической ниве, пытаясь концептуально совместить активную социальную позицию и христианское понимание жизни. По словам Т. Хойса, в качестве жизненного кредо протестантского богослова в этот период выступала политико-теологическая формула: «Государство необходимо соединить с социализмом, а посредником между ними должно стать Евангелие» [7. С. 26]. Забегая вперед, скажем, что в середине 1890-х годов, явно под влиянием Вебера, он не только откажется от этой формулы, но и будет с позиций либерального националиста высмеивать бывших единомышленников, оставшихся верными идеям христианского социализма. Пока же Науман активно публикует работы, сами названия которых носят программный социально-христианский характер: «Катехизис для рабочих и подлинный социализм» (1888), «Социальная программа евангелической церкви», «Как мы действуем в отношении неверующей социал-демократии» (1889), «Христианский социализм», «Иисус как человек из народа», «Социальные письма богатым людям» (1894) и т.д.

Как признавался позже сам Науман, в молодости в его комнате рядом висели два портрета — Отто Бисмарка и Августа Бебеля [15; 17. С. 495ff]. Такое неожиданное соседство «железного канцлера» и революционного трибуна

визуально отражало повышенную чувствительность к доминирующим политическим силам эпохи — национальному государству и социал-демократии. В этом смысле Науман очень рано, еще будучи студентом теологии и позже в своих проповедях и практической работе пастора в общине, пытался связать в единой жизненной программе христианское мировоззрение и внимание к острым социально-политическим вопросам, определявшим жизнь Второго рейха. В отличие от большинства пасторов и их паствы, Науман воспринимал Бисмарка как символ уходящей эпохи, а Бебеля, напротив, как наступающее будущее. Он с детства помнил рассказ отца, консервативного теолога, вернувшегося с собрания рабочих, где он столкнулся с риторически искусным оратором из народа [17. С. 495f]: «Священник, община которого на половину или на треть состоит из социал-демократов, не может долгое время игнорировать это обстоятельство. Со временем народ начнет его спрашивать о том, как распятый на кресте относится к эксплуатации и нужде. И ответ нужен не для обещания новой общественной системы, а должен продемонстрировать твердую волю побороть бедность» [16. С. 353].

Дальнейшее развитие идей Наумана проходило в постоянном соотношении с социал-демократией как политическим репрезентантом нового массового общества индустриальной эпохи. Он считал, что занять адекватную позицию по отношению к организованному рабочему движению было серьезным вызовом для всех политических сил эры Бисмарка. После короткого периода христианско-патриотического неприятия революционно-атеистического социализма в духе таких крупных протестантских деятелей, как И. Хинрих Вихерн или А. Штеккер, в результате практической социальной работы в Гамбурге и Франкфурте в рамках внутреннего миссионерства он радикально пересматривает свои взгляды на социалистов. Так, в патриархальной картине мира Штеккера, к тому времени придворного проповедника антисемитско-националистического толка, все, что угрожало церкви и монархии, относилось к врагам отечества. А для молодого Наумана — гражданина и теолога — новые формы обобществления представляли огромный интерес с точки зрения и практической социальной работы, и теоретической концептуализации в виде эксплицитной христианско-социальной программы. Примечательно, что даже атеизм не рассматривался им как неотъемлемая черта социализма: безбожие в программе социал-демократов Науман приписывал неспособности церкви работать с этой «целевой аудиторией» [16. С. 179]. Организованное рабочее движение воспринималось им как фундаментальный факт немецкой жизни и как вызов для каждого христианина, живущего в мире Бисмарка и Бебеля — репрезентантов старой и новой политической культуры [12. С. 8–9].

Традиционный ответ консервативной церковной общественности на этот вызов больше не устраивал Наумана ни содержательно, ни структурно, так как не позволял формулировать продуктивные идеи на политико-теологическом уровне и прагматически реагировать на уровне социальной практики.

В узких рамках церковного догматизма было невозможно реализовать христианское понимание евангельских принципов принятия мира, служения и ответственности. В ряде сочинений Науман не просто фиксирует значимость «социал-демократического вопроса» для жизни христиан в условиях индустриального капитализма, но и прямо признает «заслуги этой партии, которые невозможно отрицать: именно она принудила Новое время к серьезному рассмотрению рабочего вопроса» [17. С. 1]. Более того, в его теологии явно по социал-демократическому образцу Евангелие оказывается универсальной политической программой всех времен: «И хотя у Христа мы не встречаем сформулированной программы, в нем есть гораздо больше: дух, у которого все эпохи должны заимствовать свои программы» [16. С. 186.]. При этом Науман обвиняет церковь (институт и теологию) как социального диагноста в неспособности к социально-этической конкретизации христианской миссии в современном мире за пределами обычной благотворительности: «Мы имеем христианство, которое обращается к своим земным задачам не с тем усердием, которое оно должно было бы проявить, исходя из своих первоначальных принципов» [16. С. 203]. Здесь примечательна социологическая по духу методологическая претензия молодого пастора в адрес теологической мысли, привыкшей работать с индивидуально-этическими подходами, тогда как отныне необходимо мыслить на уровне новых общественных структур, исходя из задач времени. Иногда в его теологических речах и текстах используются понятия из совершенно чуждых сфер: «Лишь только когда дух христианской любви возьмется за вопрос использования капитала, христианство выдержит главное испытание в современном мире» [16. С. 261].

При этом аргументация Наумана в пользу общественных изменений остается теологической и основывается на понимании Христа как источника радикального обновления жизни: «Иисус не был человек успокоения. Он был огнем!» [16. С. 477]. Речь и действия Христа в евангельском изложении свидетельствуют для Наумана о его неприятии человеческих страданий, воспринимавшихся как часть неизменного социального порядка: богочеловек не ограничивается духовным измерением, а затрагивает также материальный и телесный аспекты жизни. В целом практическая земная деятельность Иисуса служила для Наумана подтверждением необходимости улучшений в мире, невозможных без преодоления отживших общественных форм и порядков [12. С. 12–13].

Поэтому в рамках модернизационной перспективы молодой пастор отказывал в шансах на будущее ведущим партиям Германской империи, делавшим ставку на традиционные сословные или частно-групповые интересы: консерваторы, католики из партии «Центр» и либералы в его прогрессистской оптике — представители уходящей общественной структуры, несовместимой с индустриальным капитализмом рубежа веков. Его отношение к социал-демократии выражает красноречивая цитата из сочинения «Христианин в эпоху машин»: «Старые сословия стали ветхими, старые партии истлели, старые

руководители больше не понимают эпоху» [16. С. 315]. Технический прогресс Науман понимает как божественный инструмент спасения человечества от тягот физического труда и увеличения продуктивности рабочей силы. В этом синтезе христианства и индустриализма даже механизация предстает богоугодной тенденцией, в которой нет ничего нехристианского. В целом Науман постоянно использует критический аргумент в отношении реакционных сил, пытающихся мотивировать свои цели с помощью религии.

Веберовская суггестия и мировоззренческий поворот Наумана

Примерно с таким набором мыслей пламенный «пастор бедняков» подошел к моменту встречи с Вебером. Вот как описывает их знакомство Марианна Вебер: «Науман и Вебер познакомились на одном из первых заседаний Евангелическо-социального Конгресса 1890 года. Их знакомство скоро перешло в дружбу и обрело большое значение прежде всего для Наумана. Он почувствовал в Вебере врожденный политический инстинкт, которого сам был лишен, и стал вскоре видеть в молодом специалисте живой источник знания и руководителя в вопросах политики и экономики» [2. С. 123].

На Евангелическо-социальном конгрессе в мае 1890 года Вебер был вместе с матерью Хеленой, известной берлинской филантропкой и активной благотворительницей. Вот как Вебер описывал восприятие ею жарких дискуссий высокопоставленных церковных деятелей и теологических авторитетов: «Моей матери всегда доставляет большое удовольствие слушать, как спорят подчас несколько наивные, но обычно оригинальные пасторы. И освежающе действует завидная легкость, с которой они решают, в надежде на понимание Господа Бога, хозяйственные проблемы, заставляющие нас ломать себе головы, причем их даже нельзя, собственно говоря, обвинить в поверхностности» [2. С. 121–122]. Одним из этих пасторов был Науман, и в дискуссии с ним Вебер произнес свои парадоксальные слова: «Мы занимаемся социальной политикой не для того, чтобы дать массам счастье». «Вчера вечером мы слышали в выступлении господина пастора Наумана бесконечное стремление к счастью людей, которое безусловно всех нас взволновало. Однако именно исходя из нашей пессимистической позиции мы все, и я в частности, приходим к точке зрения, которая представляется мне несравненно более важной. Я думаю, что нам надо отказаться от мысли создать позитивное чувство счастья посредством какого-либо социального законодательства. Мы хотим другого и можем хотеть только другого: мы хотим хранить и поддерживать то, что представляется нам ценным в человеке, ответственность перед собой, стремление ввысь, к духовным и нравственным благам человечества, его мы будем хранить даже там, где оно предстает перед нами в своей самой примитивной форме. Мы хотим, поскольку это в наших силах, придать внешним условиям не такую форму, чтобы люди себя хорошо чувствовали, но чтобы в бедствиях неизбежной борьбы за существование в них осталось лучшее, те свойства — физические и душевные — которые мы хотим сохранить в нации» [2. С. 125].

После первой встречи последовали и другие в рамках различных социальных инициатив, в том числе в Союзе социальной политики Г. Шмоллера. Постепенно сотрудничество стало регулярным и многоформатным. Так, веберовское сочинение «Биржа» (1894) было опубликовано в издававшейся Науманом серии «Геттингенская библиотека для рабочих» [14. С. 20]. Судьбоносной для Наумана как политического теолога стала известная речь Вебера «Национальное государство и народнохозяйственная политика», прочитанная по случаю вступления в должность профессора национальной экономики Фрайбургского университета в 1895 году. Под веберовским влиянием он практически отказывается от прежних взглядов и переходит на позиции либерального империализма, для которого даже решение социального вопроса является лишь техническим инструментом усиления национального государства в конкуренции с мировыми державами. Так, в своей вызвавшей скандал в академической среде речи Вебер рассматривал структурную демократизацию и парламентаризацию как способы повысить конкурентоспособность Германской империи в глобальном противостоянии за власть и ресурсы. Науман воспринял эти идеи и с тех пор выступал за национально ориентированный социализм, всячески поддерживающий, а не подрывающий мощь государства. Вебер быстро становится для Наумана интеллектуальным авторитетом, с которым он в дальнейшем соизмерял свою политическую и общественную деятельность [8. С. VII, XIV].

Когда решался вопрос о получении Вебером кафедры в Гейдельберге, его дядя-теолог Хаусрат рекомендовал племяннику дистанцироваться от слишком левого для властей Наумана, чтобы не сорвать утверждение его кандидатуры тесным сотрудничеством со столь сомнительным деятелем. Макс ответил в свойственной ему манере: «Я не могу последовать твоему совету полностью дистанцироваться от христианского социализма, так как обстоятельства вынуждают меня действовать обратным образом. Я не имею ничего общего с христианско-социальным, я чистый буржуа, и мои отношения с Науманом, которого я очень ценю, ограничиваются попыткой мягко увести его от социалистических опусов. Но публично отказаться от него было бы совершенно неприемлемо» [23. С. 142].

В этот момент Науман не просто отказывается от прежней программы христианского социализма, но и перестает быть пастором и теологом в узком смысле слова — превращается в профессионального политика: в 1896 году он создает партию «Национально-социальный союз». Правда, просуществовала она недолго: после поражения на выборах 1903 года партия была распущена Науманом, что вызвало обвинения в предательстве им «национал-социализма» и переходе в ряды либералов [9. С. 279]. Вслед за Вебером, его целью становится национальное величие Германии, а социальные реформы и демократизация политических и общественных структур рассматриваются как способ достижения единства нации. Примечательно, что в написанном бывшим пастором программном тексте новой партии под теологически стилизованным названием «Национально-социальный катехизис» (1897) религиозная

вера упоминается лишь в последнем параграфе: «В центре духовной и нравственной жизни нашего народа находится христианство, которое не может быть делом партии, но должно сохраняться в общественной жизни как умиротворяющая и объединяющая сила» [17. С. 229]. По сути, это все, что под давлением масштаба веберовской личности и глубины его социально-аналитической мысли осталось от бывшего страстного проповедника христианского социализма. И хотя Науман воспринимал свой идейно-идеологический поворот как продолжение прежней политики в новых условиях, для современников и биографов очевидно, что политически резкий и аргументативно убедительный анализ Вебера радикально переформатировал его мировоззрение [12. С. 27]. Отныне бывший теолог отрицает саму возможность чисто этически мотивированной политики. Некоторые его пассажи напоминают веберовский риторический стиль и несколько неожиданны для христианского политика: «Развитие человечества не может опираться на сострадание и дух братства... Есть вещи, которые не поддаются христианскому регулированию. Мир есть мир, и до всякого сострадания в нем уже присутствует власть» [16. С. 612].

При этом Вебер довольно скептически высказывался о наумановских попытках примирения в рамках демократического национального государства политически противостоящих социальных сил: он подчеркивал, что любые попытки «этизации классово-борьбы» обречены на провал, так как в рамках современного капитализма отношения между социальными партнерами носят структурный, а не персональный характер. Сам он открыто выступал за усиление влияния буржуазии на немецкую внутреннюю и внешнюю политику [13. С. 25].

Интериоризовав веберовское восприятие политики, Науман теперь видит лишь жесткую альтернативу: «Или мы идем вместе с Бисмарком, или с Толстым, или с евангелием бронированного кулака, или с евангелием братского общежития!» [16. С. 618]. Но добавляет: «Жизнь требует их обоих — и бронированный кулак и руку Христа, но в свое время и в своем месте» [16. С. 618]. Чтобы спасти этот публичный отказ от христианской политики, он апеллирует к лютеровскому разделению сфер, выводя политическую деятельность за пределы проблематики спасения. На этой линии аргументации он остается до конца своих дней, по сути перестав быть не только пастором, но и теологом в строгом смысле слова.

Став профессиональным политиком, Науман придерживался веберовских максим о национальном государстве как высшей ценности и боролся за демократизацию Второго рейха. Можно сказать, что в этом матче политика победила теологию: ясно и резко сформулированная Вебером конфликт-ориентированная модель политического оказалась вполне реалистичной программой для Европы, неумолимо двигавшейся к катастрофе Первой мировой войны. При желании в движении лютеранского пастора Наумана от христианского социализма к либеральному империализму можно увидеть не только частную историю встречи и взаимного влияния двух исторических персонажей, но и символическое выражение структурной проблемы политического

модерна, получившей парадигматическую форму в веберовских формулировках, а также продолжение великой интеллектуальной традиции принятия современного государства и отождествления его с высшей нравственной ценностью, восходящей к Гегелю [12. С. 30–31]. Будучи молодым теологом, Науман рассчитывал получить в теологии ответы на острые вопросы своей эпохи, но нашел их у великого социолога Вебера, предложившего более убедительное для многих интеллектуалов описание кризисной ситуации начала XX века. Другой вопрос, что сам веберовский нарратив можно считать еще одним примером «самореализующегося пророчества».

Информация о финансировании

Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «Этика солидарности и биополитика карантина: теоретические проблемы культурно-политических трансформаций в эпоху пандемий», реализуемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 г.

Библиографический список / References

- [1] Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы веберовского социологического учения. М., 1998 / Davydov Yu.N. *Max Weber i sovremennaya teoreticheskaya sotsiologiya: Aktualnye problemy veberovskogo sotsiologicheskogo ucheniya* [Max Weber and Contemporary Theoretical Sociology: Topical Issues of Weber's Sociological Doctrine]. Moscow; 1998. (In Russ.).
- [2] Вебер М. Жизнь и творчество Макса Вебера. М., 2007 / Weber M. *Zhizn i tvorchestvo Maxsa Webera* [Life and Work of Max Weber]. Moscow; 2007. (In Russ.).
- [3] Каубе Ю. Макс Вебер: жизнь на рубеже веков. М., 2016 / Kaube J. *Max Weber: zhizn na rubezhe vekov* [Max Weber: Life at the Turn of the Century]. Moscow; 2007. (In Russ.).
- [4] Науман Ф. Демократия и имперство. М., 1906 / Naumann F. *Demokratiya i imperstvo* [Democracy and Imperialism]. Moscow; 1906. (In Russ.).
- [5] Науман Ф. Срединная Европа. М., 1918 / Naumann F. *Sredinnaya Evropa* [Middle Europe]. Moscow; 1918. (In Russ.).
- [6] Тенбрук Ф. Главный труд Макса Вебера // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 2 / Tenbruck F. *Glavny trud Maxsa Webera* [The key work of Max Weber]. *Russian Sociological Review*. 2020; 2. (In Russ.).
- [7] Heuss Th. *Das war Friedrich Naumann*. Berlin-Wien; 1974.
- [8] Heuss Th. Max Weber in seiner Gegenwart. Weber M. *Gesammelte Politische Schriften*. 3. Aufl. Tübingen; 1971.
- [9] Hübinger G. *Max Weber: Stationen und Impulse einer intellektuellen Biographie*. Tübingen; 2019.
- [10] Jellinek G. *Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte: Ein Beitrag zur modernen Verfassungsgeschichte*. Leipzig; 1895 (Berlin; 2016).
- [11] Lepsius M.R. *Max Weber und seine Kreise: Essays*. Tübingen; 2016.
- [12] Lindt A. *Friedrich Naumann und Max Weber. Theologie und Soziologie im wilhelminischen Deutschland*. München; 1973.
- [13] Mommsen W. J. *Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920*. Tübingen; 1959.
- [14] Müller H.-P. *Max Weber. Eine Spurensuche*. Berlin; 2020.
- [15] Naumann F. Erinnerung an Bebel. *Die Hilfe*. 1913; 34.
- [16] Naumann F. *Werke, Band 1: Religiöse Schriften*. Opladen-Köln; 1964.
- [17] Naumann F. *Werke. Band 5: Schriften zur Tagespolitik*. Opladen-Köln; 1967.
- [18] Nürnberger R. Imperialismus, Sozialismus und Christentum bei Friedrich Naumann. *Historische Zeitschrift*. 1950; 3.
- [19] Panzer M. *Der Einfluss Max Webers auf Friedrich Naumann. Ein Bild der liberalen Gesellschaft in der Wilhelminischen und Nachwilhelminischen Ära* (Neue Würzburger Studien zur Soziologie, Band 3). Würzburg; 1986.

- [20] Schluchter W. *Max Webers späte Soziologie*. Tübingen; 2019.
- [21] Theiner P. *Sozialer Liberalismus und deutsche Weltpolitik: Friedrich Naumann im Wilhelminischen Deutschland (1860-1919)*. Baden-Baden; 1983.
- [22] Treiber H. Der ‚Eranos‘ — Das Glanzstück im Heidelberger Mythenkranz? W. Schluchter, F.-W. Graf (Eds.). *Asketischer Protestantismus und der ‚Geist‘ des modernen Kapitalismus. Max Weber und Ernst Troeltsch*. Tübingen; 2005.
- [23] Weber M. Brief vom 15.10.1896. Mommsen W. *Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920*. Tübingen; 1959.
- [24] Weber M. Brief an Helene Weber vom 2 und 3 Mai 1882. *MWG*. II/1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-657-669

Max Weber and political theology of Friedrich Naumann*

O.V. Kildyushov

National Research University Higher School of Economics
Myasnitckaya St., 20, Moscow, 101000, Russia
(e-mail: kildyushov@mail.ru)

Abstract. In the Weberian literature, it has been repeatedly noted that there is no serious theological interest in the most important provisions of the sociology of religion by Max Weber. This seems paradoxical given the religious-theological context for the development of Weber’s intellectual project of the social-theoretical hermeneutics of Western modernity. In the first part of the article, the author reconstructs the family and friends’ religious constellation which determined Weber’s understanding of the existential significance of religious meanings for certain groups of the modern era. The author mentions Weber’s close ties with a number of leading theologians of Germany in the late 19th — early 20th centuries, which influenced the heuristics of his writings. The second part of the article focuses on the multifaceted figure of Friedrich Naumann, a public intellectual, who was a Protestant pastor and a reactionary-conservative theologian and became a spiritual-political leader of the German left liberals. The author shows the initial ambivalence of the political-religious situation in the German Empire in the 1880s–1890s, in which Naumann tried to combine Christianity and socialism, and provides a brief overview of the young theologian and social activist’s gradual turning into a prominent figure of the German journalism and politics. In the third part of the article, the author describes the meeting of two thinkers as fateful for both Weber and Naumann, and emphasizes a radical turn in the worldview of the famous religious theorist and practitioner, who under the powerful influence of Weber’s personality and argumentation gave up both many previous ideas and pastor’s office. In conclusion, the author identifies the paradigmatic nature of Nauman’s ideological-political evolution as typical for a significant part of German intellectuals at the beginning of the 20th century, and considers Naumann’s Hegelian acceptance of the modern nation-state as the highest value (following Weber) as a self-fulfilling diagnosis for the crisis modernity on the eve of the First World War catastrophe.

Key words: Max Weber; Friedrich Naumann; German Empire; Christian Socialism; political theology; history of sociology; liberal imperialism; national liberalism

Funding

The publication was prepared within the research project of the Center for Fundamental Sociology of the National Research University — Higher School of Economics “Ethics of solidarity and biopolitics of quarantine: Theoretical issues of cultural and political transformations in the era of pandemics” as a part of the Basic Research Program of the HSE in 2021.

* © O.V. Kildyushov, 2021

The article was submitted on 14.06.2021. The article was accepted on 28.09.2021.



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-670-696

«Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность — деньги — техника (часть 1)*

Д.Г. Подвойский

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ломоносовский проспект, 27, к. 4, ГСП-1, Москва, 119991, Россия

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

Институт социологии ФНИСЦ РАН
ул. Кржижановского, 24/35, к. 5, Москва, 117218, Россия
(e-mail: dpodvoiski@yandex.ru)

Аннотация. Статья представляет собой очерк, посвященный критическому анализу одного из фундаментальных вопросов социальной теории XIX–XX веков — отчуждения и его проявлений в обществах современного типа. Феномен и концепт отчуждения трактуется не в специальном значении (например, отчуждение труда и т.п.), а в предельно широком — как превращение продуктов индивидуальной и коллективной деятельности в самостоятельную силу, подчиняющую человека и переводящую его из положения субъекта в положение объекта общественных отношений. Используя подобную дефиницию, можно с уверенностью утверждать, что указанный процесс выступает «универсальным» свойством социальной жизни. Между тем в разных обществах, в разные исторические периоды отчуждение может предстать в несходных, вариативных конкретных формах. Объяснить возникновение исторически специфических проявлений отчуждения применительно к обществам модерна можно, обратившись к классической теме их генезиса. Своеобразие их институциональной организации в значительной степени связано со своеобразием культуры и особенностями духовной жизни (в частности, с радикально проведенным в эпоху Нового времени размежеванием между человеком и природой, субъектом и объектом). Многосторонний феномен научно-технической рациональности как продукт постренессансной западноевропейской культуры выступает источником социальных реалий и практик, «чреватых отчуждением». В статье это иллюстрируется рядом примеров, в том числе логики и механизмов функционирования капиталистического денежного хозяйства. Автор обращается к наследию мировой философии и общественной мысли, проблематизировавших и концептуализировавших различными способами обозначенный круг вопросов. Предметом рецепции и обсуждения становятся воззрения представителей Франкфуртской школы, философов-экзистенциалистов и «столпов» теоретической социологии — К. Маркса и Г. Зиммеля.

Ключевые слова: общество модерна; отчуждение; реификация; инструментальная рациональность; деньги; квантификация; коммодификация; техника; индустриальное общество; Франкфуртская школа; К. Маркс; Г. Зиммель; социальная теория

* © Подвойский Д.Г., 2021

Статья поступила 03.07.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

Тени модерна / лики отчуждения: современный человек и его «рукотворные боги»

Современный человек живет в «рациональном» мире и гордится этим. Само понимание «рациональности» у него может быть разное, но обычно он не сомневается, что его взгляд на вещи превосходит по мере адекватности и обоснованности воззрения людей минувших эпох. Он является оптимистом *par excellence* и верит в будущее цивилизации, покорившей воздушное и земное пространство, освоившей недра, научившейся передавать огромные массивы информации, преодолевая пространство и время. Он преклоняется перед достижениями науки и особенно техники. Он считает технический прогресс великим благом и не любит, когда его пытаются в этом разубедить или указывают на оборотную сторону медали (а таковая имеется у всех вещей и явлений).

Специфическая версия рациональности, наиболее востребованная в жизни современного человека, — особого рода. Окружающая его вселенная — это вселенная чисел и количеств, поэтому он привык вращаться в денежном мире, порой открыто проклиная деньги, но без них не может и не устает повторять избитую истину, что «счастье не деньгах.., а в их количестве». Сказанное, конечно, не распространяется на всех людей, живших в обществах последних столетий, и их потомков, доживших до дня сегодняшнего, но таково доминирующее умонастроение.

Рациональность, деньги, техника — заметные фигуры в культурно-аксиологическом пантеоне современной цивилизации, но ими список привязанностей человека в ней не ограничивается. Таковыми могут выступать многочисленные социальные институты — государство, партии, церкви и секты, общественные движения и организации, персонифицируемые конкретными фигурами (вождя, лидера, монарха и т.п.) или не персонифицируемые; системы религиозных, политических или иных воззрений, комплексы символических средств выражения, запечатления и материализации идей и ценностей, и т.д.

Метафора человека и/или общества как машин боготворения — в разных интерпретациях, от Л. Фейербаха до П. Бергера и С. Московичи [2; 17; 20] — кажется весьма эвристичной, поэтому попробуем оттолкнуться от нее, сделать ее стартовой. Действительно, люди испокон веков (порой поодиночке, но чаще сообща) упражнялись в искусстве создания рукотворных богов и осваивали практики «раболепствования перед своими творениями», которое часто оказывалось усердным или даже иступленным, — так устроена социальная жизнь. Люди любой эпохи были и остаются склонными к фетишизму (это не является отличительной чертой эпохи модерна): они любят создавать объекты для поклонения и наделять их определенными свойствами, как будто эти объекты обладают этими качествами «сами по себе». Согласно Г. Зимелю, таким образом «утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе

представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы» [8. С. 329].

Современность, или эпоха модерна, обладает рядом особенностей, однако и в ней обнаруживаются проявления неукротимой страсти человека к «объективированию своей сущности вовне», овнешнению/экстернализации и овеществлению/реификации себя в чувствах, мыслях, словах и поступках, индивидуальных и коллективных. Иначе этот процесс может быть описан при помощи традиционного для социальной теории термина «отчуждение», под которым в широком смысле понимается превращение продуктов индивидуальной и коллективной деятельности в самостоятельную силу, подчиняющую себе человека и переводящую его из положения субъекта в положение объекта. Отчуждение, будучи универсальным социальным процессом, в современных обществах приобретает выраженную специфику. Само своеобразие современности как особого социокультурного проекта — отчасти сознательно выстраиваемого конкретными людьми и странами, но все же в значительной степени специфически непреднамеренного и стихийного, — является предметом напряженно-многостороннего анализа и дискуссий в мировой (прежде всего западноевропейской) мысли.

Поставить диагноз модерну и проследить пути его исторического формирования пытались многие авторы на протяжении столетий, и вклад некоторых из них можно считать исключительным. Проницательность концептуально оснащенного взгляда на модерн отдельных социальных теоретиков была поистине впечатляющей. Поэтому обращение к ряду предложенных в прошлом объяснительных моделей выглядит обоснованным, и далее мы будем использовать заимствуемый из классического наследия (более или менее хрестоматийный) теоретический материал, несмотря на риск спровоцировать читательское порицание полуневольным превращением авторского текста в подобие цитатного коллажа.

Девчонки Тиллера и конвейер Форда: эстетические приметы индустриализма

3. Кракауэр без малого сто лет назад в эссе «Орнамент массы» [9. С. 41–50] сравнил механизм функционирования капиталистической экономики с логикой телодвижений «девчонок Тиллера». В этих модных, особенно в межвоенное время, танцевальных шоу исполнялись коллективные хореографические композиции с упором на создание геометрического эффекта, узора, образуемого синхронными движениями кажущихся одинаковыми тел. Дисциплина женских ног уподобляется дисциплине рук промышленных рабочих на конвейере — масса в орнаменте капитализма «родом из контор и фабрик» [9. С. 44]. Но сходство не только внешнее: девушки, умелые движения которых рисуют в восприятии зрителя орнамент массы — это образ, удобная визуальная аллегория для перехода к разговору об обществе в целом.

«Структура орнамента массы отражает общую ситуацию, так сказать, злбу дня. Поскольку принцип капиталистического процесса производства не

есть чистое порождение природы, он невольно подрывает живые организмы... Национальная общность и личность угасают, когда спрос есть только на то, что поддается счету; единственно как частица массы человек способен запросто подняться до верхних граф в учетных таблицах и обслуживать машины. Равнодушная к формальным различиям система сама размывает национальные особенности и ведет к выпуску трудящихся масс, которые можно с одинаковым успехом использовать в любой точке земного шара. Как и орнамент массы, капиталистический процесс производства есть самоцель. Товары, им порождаемые, произведены, собственно, не затем, чтобы ими обладали, но ради прибыли, которая не знает меры... Возможно, раньше работа до известной степени и имела отношение к созиданию ценностей и их потреблению, теперь же они превратились в побочный продукт, служащий исключительно производству. Включенные в этот процесс виды деятельности лишились своего сущностного содержания... Подобно сотканному из тел узору на стадиионе, над массой стоит структура, этакая монструозная фигура... Она зиждется на рациональных принципах, но системой Тейлора берется на вооружение только конечный результат. Ножки девчонок Тиллера — все равно что руки рабочих на фабрике. Помимо мануальной отдачи, идет проверка и на психотехническую профпригодность душевных качеств. Орнамент массы — это эстетическое отражение рациональности, какую исповедует господствующая экономическая система» [9. С. 43–44].

Все это написано после Маркса, Вебера и Зиммеля, хотя они здесь «сквозят» (1), но до «Диалектики Просвещения» и «Одномерного человека». Кракауэр диагностирует демифологизацию и демистификацию [9. С. 45] всего и вся как основную линию духовного развития, т.е. ровно то, что Вебер называл расколдованием мира. Физический и социальный универсум десакрализованы, природа теперь — инструмент для манипуляций. Но торжествующий Разум эпохи модерна, выпущенный на волю Просвещением, попадаетея в собственные сети. «Рациональная сторона капиталистической экономики — это не просто разум, но разум замутненный... Этот разум не включает в себя человека» [9. С. 46]. Вернее, инструментальный разум обходится с человеком, как со всем остальным в природе, — как с ресурсом, он берет его в оборот, оприходует, использует и подчиняет. В доминирующей модели рациональности модерна, проводимой в жизнь капиталистической экономикой и воплощенной в технократическом стиле мышления, конкретное приносится в жертву абстрактному. «Задействованная в орнаменте массы человеческая фигура изымается из пышной органичности природы и порывает с индивидуальным ради полной анонимности» [9. С. 48]. На месте этой девушки в ячейке изображаемой коллективной телесной фигуры могла бы быть любая другая, в купальнике как униформе и с той же стройностью ног, на месте этого рабочего или офисного служащего — всякий подходящий по заданным производственным или организационным параметрам. Кракауэр, чуть лукавя, заявляет, что в разговоре об орнаменте массы остается как бы на поверхности

вещей. М. Хоркхаймер и Т. Адорно впоследствии «копнут глубже» [23], попытаются ответить на вопросы: какова генеральная установка сознания, положенная в основание современного мира, и как она работает.

Диалектика Просвещения: инструментальный разум пленяет хозяина

Критический пафос Просвещения XVIII века, поставившего под сомнение консервативные институты и представления традиционных обществ, уже в XIX столетии выродился в апологетический позитивизм, отказывающийся от рефлексивной мыслительной работы в пользу «констатации фактов» и «расчета вероятностей» [23. С. 9–10]. «Свобода в обществе неотделима от просвещающего мышления» [23. С. 10], утверждают франкфуртцы, но диалектика Просвещения состоит в том, что параллельно разворачиваются процессы саморазрушения этого грандиозного культурного проекта, дискредитирующие его.

Каков лейтмотив Просвещения? Гордый человек восстает против сакрализованной мифом природы, как атлант, расправляет плечи, низвергает богов с пьедесталов. Разрыв между субъектом и объектом превращается в бездну. Человек отныне «не тварь дрожащая», но Субъект. Природа лежит у его ног — он слабее ее, но умнее и хитрее (как хитро/умный Одиссей); он зрячий, а она слепая, и она должна покориться ему. Природа для Просвещения — это не «объективный порядок», а всего лишь «масса материи».

Просвещение первоначально стремилось «избавить людей от страха», сделать их хозяевами природы и своей судьбы. Оно было направлено на «расколдование мира», противостояло мифологическому мышлению — так возникает и самолегитимируется наука Нового времени. Бэконовский сциентизм провозглашает: «рассудку, побеждающему суеверия, надлежит повелевать расколдованной природой». Знания демократичны, они служат в качестве инструмента как королю, так и лавочнику, и могут быть направлены на любые цели — как благие, так и утверждающие господство и разрушающие жизнь. Люди хотят научиться властвовать над природой (но человек не перестает быть ее частью). «Власть и познание — синонимы. Бесплодное счастье познания для Бэкона так же непристойно, как и для Лютера. Не об удовлетворении, которое доставляет человеку истина, идет тут речь, но об “operation”, об эффективном методе» [23. С. 18]. Главная задача науки — способствовать «оснащению жизни».

В реальности Просвещение видит лишь материал для преобразования, а не то, что имеет автономный смысл, значение и ценность: «Путь человека к науке Нового времени пролегает через отречение от смысла. Понятие заменяется тут формулой, причина — правилом и вероятностью... Давать современную дефиницию субстанции и качеств, деятельности и страдания, бытия и существования — это со времен Бэкона было делом философии, наука же обходилась уже без подобного рода категорий. В качестве *Idola Theatri* они

были оставлены прежней метафизике и уже к тому времени превратились в памятники сущностям и силам давно прошедших времен... Отныне материя должна была быть порабощаема, наконец, без иллюзий относительно всяких там правящих или внутренне присущих сил, а также скрытых качеств. То, что не желает соответствовать мерилу исчислимости и выгоды, считается Просвещением подозрительным» [23. С. 18–19].

Люди в магическую эпоху, в мире, еще радикально не расколдованном наукой и технологиями, тоже влияли на природу. Но то была особого рода игра, полная тайн и загадок, рождавшая страх и трепет. Тогда люди еще боялись природы (максимум — пытались у нее что-нибудь «урвать по случаю»), не планировали ее покорить целиком и полностью, были участниками общего процесса взаимодействия космических сил — не главными, не единственными, не зазнавались. Теперь же человеческий разум не знает субординации — хочет тотально господствовать над миром. «Ритуалы шамана были обращены к ветру, к дождю, к змее снаружи или к демону внутри больного, но не к веществам и экземплярам... Лишенная качеств природа становится хаотическим материалом для всего лишь классификации...» [23. С. 23] (отношение колдуна к заклинаемым им силам — сакрализующее, схожее с искусством; отношение Просвещения к миру — профанирующее, деловое, трудовое).

Но палка освобождения бьет другим концом по хозяину: «порабощение всего природного самовластным субъектом в конце концов достигает своего апогея именно в господстве слепо объективного» [23. С. 14]. Субъект, противопоставляющий себя объекту, сам в большинстве случаев становится объектом, испытывающим (осознанно или нет) репрессивное воздействие системных фактов общества, в том числе рукотворных — техники, организации, экономики, индустрии, культуры.

Просвещение упрекает мифологическое сознание в антропоморфизации природы. Миф проецирует человеческое на природные силы (сходным образом Л. Фейербах объяснял возникновение религиозных феноменов). Новое время, модерн и Просвещение, напротив, деантропоморфизируют природу, тем самым «убивая» ее. Есть только человек как хозяин мира, но и он постоянно попадает в расставленные им самим капканы «объективизации», тотального опредмечивания и реификации. «Анимизм одушевил вещь, индустриализм овеществляет души» [23. С. 44]. «Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется. Просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими... Сущность вещей — субстрат властвования» [23. С. 22–23].

Последовательное разделение объекта и субъекта проводится на жестких условиях: первый подчиняется второму как мертвая и податливая масса. Но люди нередко записываются в теории и практике современных обществ в разряд объектов (ничто не мешает им быть причисленными к этой «дискриминирующей» их категории). Субъект отстраняется, дистанцируется от

объектов, относится к ним в логике и оптике абстрактного мышления как к экземплярам, членам классов и множеств, исчислимым величинам. Для науки не существует индивидуального и уникального. Качества вещей (и людей) растворяются в количествах. Торжествует математический стиль обхождения с реальностью, а холодный взгляд «чистого разума» легко переключается с элементов физически-механического универсума на элементы психического и социального миров.

«Число стало каноном Просвещения... Буржуазное общество... делает разноименное сопоставимым тем, что редуцирует его к абстрактным величинам. То, что не поглощается числами, в конечном итоге единицей, становится для Просвещения видимостью, иллюзией; современным позитивизмом оно изгоняется в поэзию... Главным остается истребление богов и качеств... Природа как до, так и после квантовой теории является тем, чему надлежит быть постигнутым математическим образом; что тому противится, все неразложимое и иррациональное подвергается травле со стороны математических теорем. Путем предупреждающей идентификации до конца промышленного математизированного мира с истиной Просвещение надеется обезопасить себя от рецидива мифа. Им учреждается единство мышления и математики. Тем самым последняя... спускается с цепи, превращается в абсолютную инстанцию... Мышление опредмечивается в самодеятельно протекающий, автоматический процесс, подражающий машине, им самим порождаемой лишь для того, чтобы она в конечном итоге смогла его заметить... Математический метод становится как бы ритуалом мысли. Несмотря на свою аксиоматическую самоограниченность, он учреждает себя в качестве необходимого и объективного: им мышление превращается в вещь, инструмент... Позитивизмом, выступающим в роли судебной инстанции просвещенческого разума, на всякого рода распутничанье в интеллигентных мирах теперь не просто налагается запрет, оно расценивается уже в качестве бессмысленной болтовни» [23. С. 21, 40–41].

Вариации общего диагноза, поставленного Франкфуртской школой обществу модерна (и питающим его ментальным установкам), мы находим у Г. Маркузе, в «Одномерном человеке» [16]. В инструменталистской и операционалистской парадигме современных обществ человек и объекты природы рассматриваются как «вещи» или ансамбли «вещей», объекты манипулирования или «функции», т.е. десубстанциализируются. «Систему» интересует не суть человека, но исключительно какой от него прок, как его можно использовать, его внешние действия, поведение, или, выражаясь по-парсонсовски, она видит и ценит в нем, прежде всего, *performance*, а не *quality*.

«Хотя рабы развитой индустриальной цивилизации превратились в сублимированных рабов, они по-прежнему остаются рабами, ибо рабство определяется “не мерой покорности и не тяжестью труда, а статусом бытия как простого инструмента и сведением человека к состоянию вещи”. Это и есть чистая форма рабства: существование в качестве инструмента, вещи. И то, что

вещь одушевлена и сама выбирает свою материальную и интеллектуальную пищу, то, что она не чувствует себя вещью, то, что она привлекательна и подвижна, не отменяет сути такого способа существования. И наоборот, по мере того как овеществление стремится стать тоталитарным в силу своей технологической формы, сами организаторы и администраторы обнаруживают все большую зависимость от механизмов, которые они организуют и которыми управляют. В этой взаимной зависимости уже не осталось ничего от диалектического отношения между Господином и Слугой, ...это скорее порочный круг, в котором заперты и Господин, и Слуга» [16. С. 43–44].

Механизм технобюрократического господства обрабатывает любой человеческий материал, элементы организационной иерархии сверху донизу — всех, кто оказывается задействован или востребован как часть и звено многоступенчатых процедур «рационального» оперирования, объектами для которых становятся элементы природной и социальной вселенной (включая людей — управленцев и управляемых): «Мир обнаруживает тенденцию к превращению в материал для тотального администрирования, которое поглощает даже администраторов. Паутина господства стала паутиной самого Разума, и ...общество роковым образом в ней запуталось» [16. С. 222]. Универсальная логика веберовской «железной клетки» распространяется на всех...

Рождение модерна, Декарт и Рейнская ГЭС

То, что Хоркхаймер и Адорно называют Просвещением (особого рода мировоззренческая установка), появилось раньше и формировалось веками. Неслучайно на страницах «Диалектики Просвещения» всплывает фигура Одиссея — модернистского персонажа, действовавшего в домодерновых обстоятельствах, умевшего ловко обвести вокруг пальца существ (2), олицетворявших природное начало и стихии, подчинявшего их своим целям и планам. Просвещение в точном и узком смысле в экспозиции темы, обсуждаемой франкфуртцами и многим другими авторами, — всего лишь эпизод, притом сравнительно поздний.

В жизни человечества что-то поменялось, причем не резко, — изменения накапливались. Сегодня мы привыкли именовать этот исторический дрейф переходом от традиционного к современному типу общества, или модернизацией. У данного процесса есть как социальный, в том числе институциональный, так и культурный срез. Изменения происходили в делах и в головах одновременно. Сложилась такая историческая констелляция причин, что опыт Запада оказался прецедентом и образцом для подражания. Уже давно проект модерна покорил маленькую планету целиком, несмотря на многочисленные и не утихающие полностью очаги сопротивления.

Важное и специфическое место в духовной биографии современности занимает та научно-технократическая идеология, которую критикуют франкфуртцы — как источник (и виновника) отчуждения, ставшего отличительной приметой миллионов человеческих жизней в последние столетия.

Происхождение новоевропейской науки как особого комплексного социокультурного феномена и ее последующее влияние на судьбы западной и мировой цивилизации, в том числе на становление обществ модерна, является сложнейшей многоаспектной темой для философии, социологии, истории культуры. Произвела ли научная картина мира общество определенного типа или она сама была продуктом определенных социальных условий и изменений? Видимо, эти процессы были встречными. Ставить диагноз «специфически модерновым» формам отчуждения и говорить о причинах утверждения и распространения (т.е. генеалогии) этих форм — две разные задачи, хотя и взаимосвязанные. Ответов может быть много и все они будут нести на себе отпечаток не только индивидуального строя мысли автора, но и его дисциплинарной идентичности. Например, О. Шпенглер мог бы указать три причины того, почему люди стремятся отгородиться/выделиться от/из природы и управлять ею: 1) человек является умным хищным животным, рассматривающим весь мир как потенциальную добычу или охотничий трофей; 2) таковым в особенности следует считать человека, живущего в эпохи «цивилизации» (упадка, на поздних стадиях духовного развития), когда основные усилия людей направляются на внешние, практические, утилитарные задачи (в противоположность целям внутреннего самосовершенствования, которыми по преимуществу озабочен человек высокой фазы эволюции культуры); 3) таковым «втройне» становится западный человек, носитель фаустовского духа, для которого воля к власти и тяга к покорению мирового пространства являются идеей-фикс или жизненным лейтмотивом.

Фаустовская наука, как полагал Шпенглер, изначально отличалась от науки античной и ориентировалась на духовную «борьбу с материей». Показательно эффектное определение научного эксперимента как допроса природы с пристрастием, с элементами экзекуции — при помощи винтов, колес и шестеренок. Западная наука и техника суть продукты мятежного и гордого фаустовского духа, жившего еще в средневековых монастырях. Но и там за смиренными религиозными проявлениями богопочитания якобы скрывалось страстное желание выпытать тайны у природы, дерзновение к ее одолению инструментально-техническими средствами. Научное знание Запада не нуждалось в том, чтобы быть истинным, оно хотело быть в первую очередь пригодным для практических целей и отличалось от «созерцательной любознательности» ученых других культур. Западный человек хотел стать богом, организатором миропорядка [18; 24; 25]. Объяснение — яркое, категоричное, отчасти поэтическое, скорее красивое, чем верное. Но и без шпенглеровской безапелляционности и интеллектуального эпатажа можно обойтись, даже если не считать его аллегории и констатации беспочвенными.

Небесмысленно звучит и аргумент, связывающий иудеохристианский, авраамический креационизм и представление о боге как абсолютном субъекте, мыслящем и действующем, с одной стороны, и радикальное субъекто/объектное расщепление мироздания, проведенное на Западе, ставшее впоследствии

важной предпосылкой культуры модерна, — с другой. В эпоху Нового времени бог постепенно растворялся, но место субъекта/творца/устроителя/повелителя сохранилось, и его попытался занять «божок вселенной — человек», остававшийся составной частью природы как грязи земной, которая в разволшебственном мире подходила для лепки любых кирпичей и куличиков.

К. Ясперс пишет: «На Западе ... концепция надмирового Бога-творца превратила весь сотворенный им мир в его создание. Из природы были изгнаны языческие демоны, из мира — боги. Сотворение стало предметом человеческого познания, которое сначала как бы воспроизводило в своем мышлении мысли Бога. Протестантское христианство отнеслось к этому со всей серьезностью; естественные науки с их рационализацией, математизацией и механизацией мира были близки этой разновидности христианства. Великие естественники XVII и XVIII веков оставались верующими христианами. Но когда в конце концов сомнение устранило Бога-творца, в качестве бытия остался лишь познаваемый в естественных науках механизированный образ, что без предшествующего сведения мира к творению никогда бы с такой резкостью не произошло» [27. С. 298–299].

Насколько глубоко надо погрузиться в историю, чтобы найти семена или первые ростки новых форм ментальности и социальности? Где заканчивается разговор о причинах модерна и начинается разговор о модерне как свершившемся факте? На эти вопросы можно отвечать по-разному, но ясно, что на определенном этапе отношение человека к миру поменялось (раньше всего на Западе). Как констатирует Н. Элиас, «особенно ощутимо начиная с эпохи Ренессанса — отдельный индивид ощущает себя как “субъект”, а мир — как нечто отделенное от себя пропастью, как “объект”; самого себя — как наблюдателя вне рамок остальной природы, а эту природу, в противоположность себе, — как “ландшафт”» [26. С. 88–89]. В сходном ключе высказывался и Г. Зиммель: «Духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию “Я”, предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, — к самостоятельности и мощи понятия “объект”, выраженного в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния неразличности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект» [8. С. 323].

В процессе формирования доминирующего образа самосознания человека Нового времени ключевую роль суждено было сыграть Р. Декарту, огласившему метафизические претензии *ego cogito*. Именно с Декарта суверенное мыслящее Я стало противопоставляться миру как чему-то внеположному (включая как природу, так и общество). Но Декарт, как верно замечает Элиас, был лишь выразителем определенных объективных изменений, подспудно протекавших в структуре западных обществ (индивидуализации, выхода

личности из-под опеки локальных общностей, ослабления традиционных мы-идентичностей, разрыва старых социальных уз — родовых, племенных, семейных, сословных, цеховых, конфессиональных). Сегодня люди рассматривают противопоставление Я и мира, а также индивида и общества как нечто естественное, но даже во времена Декарта (как своего рода духовного новатора) такого не было. Подобные культурные сдвиги были связаны с восхождением городских слоев, индустриализацией, успехами естественных наук. Человек стал ощущать себя силой, познающей и деятельной, которая может изучать и направлять природные процессы.

Таким образом, наше сегодняшнее самосознание есть продукт культуры, медленно складывавшейся со времен Ренессанса. Индивид в более ранних обществах воспринимал себя и окружающую его природную и социальную Вселенную более непосредственно, отчасти «как ребенок», находился с миром в более тесном психологическом контакте. С другой стороны, проблема отчуждения от мира и экзистенциального одиночества, заброшенности человека производна от совершившегося в Новое время расщепления субъекта и объекта и типична для всей последующей культуры модерна.

Рассуждая о метафизических основаниях новоевропейского стиля мышления, М. Хайдеггер так же указывает на значимость фигуры Декарта. Существует принципиальное различие между субъективизмом греческим и картезианским — формулой Протагора «о человеке как мере всех вещей» и раннемодерновой идеей мыслящего Я. Античные софисты, а вслед за ними и скептики, оставались «в мире», не стремились командовать природой, не возвеличивали и не выделяли себя радикально из структур космического миропорядка, хотя и могли взирать на него из разных точек. И только с Декарта начинается фундаментальное противопоставление властного субъекта познания и мира-объекта. «Внутри истории Нового времени и в качестве истории новоевропейского человечества человек пытается, во всем и всегда опираясь на себя, поставить самого себя как средоточие и мерило в господствующее положение» [22. С. 120]. «Можно видеть существо Нового времени в том, что человек эмансипируется от средневековой связанности, освобождая себя себе самому... Конечно, как следствие освобождения человека Новое время принесло с собой субъективизм и индивидуализм. Но столь же несомненным остается и то, что никакая эпоха до того не создавала подобного объективизма... Существенны здесь необходимые взаимопереходы между субъективизмом и объективизмом... Меняется вообще существо человека и человек становится субъектом» [22. С. 48] (в Средневековье таковым считался Бог).

Для описания корней современного научного мышления используется выражение «картина мира». Хайдеггер высвечивает «определяющее для существа Нового времени скрещивание» двух процессов — «превращения мира в картину и человека в субъект»: «Мир стал картиной, когда человек в качестве субъекта поднял собственную жизнь до командного положения всеобщей точки отсчета» [22. С. 51]. Оборот «картина мира» — типично

новоевропейский и применимый прежде всего к современности: «Основной процесс Нового времени — покорение мира как картины. Слово “картина” означает теперь: конструктор опредмечивающего представления. Человек борется здесь за позицию такого сущего, которое всему сущему задает меру и предписывает норму» [22. С. 52].

В первую очередь мир как картину человеку надлежит представить — «поместить перед собой наличное как нечто противостоющее, соотнести с собой, представляющим, и понудить войти в это отношение к себе как в определяющую область» [22. С. 50]. Представление — это «поставление перед собой и в отношении к себе» [22. С. 51], «не раскрытие себя вещам, а схватывание и постижение... Сущее уже не присутствующее, а лишь противопоставленное в представлении, предстоющее. Представление есть наступательное, овладевающее о-предмечивание» [22. С. 59]. Носитель активной волевой установки (субъект) представляет, природа, вещный мир как пассивный объект предстает и предстоит (перед субъектом).

Когда впоследствии к науке подключается современная техника, мир как картина (или предмет мировоззрения) превращается в поле, которое требуется перепахать. Картиной можно любоваться или просто созерцать — разглядывать любопытствующим непрактическим глазом. Поле же нуждалось в землепашце, а кто-то мог в соответствии с духом времени захотеть залить его цементом и построить на нем фабричное здание. Понятие техники, по Хайдеггеру, можно и нужно толковать предельно широко — как разнообразную человеческую деятельность, включая «мастерство» и «искусство». Источником технического поиска и творчества выступает универсальное человеческое «стремление к познанию — через обнаружение “сокрытого”». «Начиная с Нового времени, давшего импульс квантитативному, исчисляющему освоению мира и отсюда — экспериментальной физике, это направленное на бытие обнаружение... впервые обретает совсем иной характер: из поиска истины оно превращается в агрессивно-принуждающее отношение к природе, “затребование” ее... со всеми ресурсами, с заключенной в ней энергией... Человек, не замечая этого, оказался сам “затребован” в это всеобъемлющее состояние» [18. С. 8], считая, что мир дан ему в виде запасов, бесконечной кладовой полезных материалов.

Иначе говоря, современная техника имеет свою специфику, она есть «затребование», «вытребование» — особая процедура, превращающая то, что требуется, в «наличное состояние», своего рода материал. Человек, превращая природу в наличное состояние, сам превращается в таковое, становясь «человеческим материалом», он сам затребован не только в качестве ресурса, сырья, но и в качестве актуального или потенциального источника энергии. Хайдеггер приводит пример великой германской реки, способный задеть за живое не только поклонников эпоса и литературы романтизма. Рейн для немцев, как Волга для русских, не просто голубая полоса на карте

или гигантские объемы текущей воды, но символ — исторический, поэтический, культурно-идентификационный: «На Рейне поставлена гидроэлектростанция. Она ставит реку на создание гидравлического напора, заставляющего вращаться турбины, чье вращение приводит в действие машины, поставляющие электрический ток, для передачи которого установлены энергосистемы с их электросетью. В системе взаимосвязанных результатов поставки электрической энергии сам рейнский поток предстает чем-то представленным как раз для этого. Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроены старый деревянный мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее река встроена в гидроэлектростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в качестве реки, а именно поставитель гидравлического напора, благодаря существованию гидроэлектростанции. Чтобы хоть отдаленно оценить чудовищность этого обстоятельства, на секунду задумаемся о контрасте, звучащем в этих двух именах собственных: “Рейн”, встроены в гидроэлектростанцию для производства энергии, и “Рейн”, о котором говорит произведение искусства, одноименный гимн Ф. Гельдерлина» [22. С. 226–227].

Мост через Рейн был ранее как бы вписан в природу, дополнял ее, а ГЭС, наоборот, делает реку покоренной, прилагатком, заставляет служить системе гидроэнергетики. В первом случае техника подлаживается к природе, во втором — подчиняет себе природу. Современный человек наивно думает, что он хозяин положения, что все вокруг — лишь объект для утверждения его могущества. Европейское естествознание, физика и надстраивающиеся над ней инженерные дисциплины относятся к природе и в теории, и на практике (в эксперименте) именно таким образом. В итоге Хайдеггеру приходится констатировать ту же непредвиденную человеком модерна «диалектическую каузальную петлю», о которой писали представители Франкфуртской школы. Осуществленное в Новое время противопоставление субъекта/объекта и покорение природы оборачивается в конечном счете против человека. Человек модерна оприходует себя как вещь, наступает на грабли собственного тотально опредмечивающего отношения к миру (3).

По образу и подобию выработанного современной наукой и техникой отношения к физическому миру строятся и отношения между людьми — максимально инструментализируются. Торжествует вывернутый наизнанку категорический императив: де-факто в эпоху модерна везде и всюду к человеческим и природным объектам относятся как к средству, а не как к цели (4), ими оперируют, а человек уподобляется набору удобных или неудобных ментальных характеристик и поведенческих реакций. Технологическое господство над природой и технологическое господство над людьми — это разновидности одного и того же отношения.

Центральным сюжетом изложения до сих пор являлась диагностика инструментального разума, или инструментальной рациональности, или того, что М. Вебер называл формальной рациональностью, — оправдывающей и обосновывающей саму себя из себя же, фетишизирующей «рациональный»

(процедурно-операциональный) характер действия независимо от содержательных, ценностных, «материальных» аргументов. Инструментальный разум не привязывается к гипостазированным содержательным целям, свободен от них, сугубо формален, т.е. может служить в принципе чему и кому угодно (закрепощению и освобождению, добру и злу). Его стихия — координирование, управление, планирование, калькулирование, оптимальное функционирование, организация, систематизация, обеспечение «эффективности». Неудивительно, что чаще и лучше всего ему удается служить целям господства и контроля. Он не может позволить траве жизни расти «как придется», ему непременно нужно превратить ее в ровно подстриженный газон или закатать в асфальт, чтобы та не раздражала взор формалиста своей стихийностью и неупорядоченностью. Инструментальный разум есть «бесцельная целесообразность» [23. С. 113]. Просвещенческий разум стремится возобладать над чувствами, в которых отражается природное в нас. Также для него характерна «свобода от укоров совести», «любви и ненависти» — если все было сделано рационально. Подобный мотив часто озвучивается представителями технократического и бюрократического аппарата, когда требуется легитимировать осуществляемые под их руководством мероприятия.

Инструментальный разум по сути своей есть кантовский «чистый разум» (как логическая программа построения науки), адаптированный к решению практических задач преобразования мира. Поэтому неудивительно, что на страницах «Диалектики Просвещения» критикуется и Кант: чистый разум с помощью своих категорий и инструментария господствует над познавательным материалом, устанавливая схематизм общих понятий, подгоняя под общие принципы эмпирические данные чувственных созерцаний. Только на таких условиях возможен организованный когнитивный опыт. Эпистемологическая программа новоевропейского/научного разума конструирует «такой вид познания, который наилучшим образом разделяется с фактами, который оказывает наиболее эффективную поддержку субъекту в деле обуздания им природы... Разумом учреждается инстанция калькулирующего мышления... не знающего никаких иных функций, кроме препарирования предмета, превращения его из чувственного материала в материал порабощаемый. Подлинная природа схематизма, наружно согласовывающего общее и особенное, понятие и единичный случай, в нынешней науке, наконец, обнаруживает себя в качестве интереса индустриального общества. Бытие рассматривается тут под углом зрения его переработки и управления им. Все здесь становится воспроизводимым, заменимым процессом, просто примером для понятийной модели системы, в том числе — отдельный человек» [23. С. 106–107].

Инструментальная рациональность легко переключается между уровнями практического и теоретического, технологического и научного мышления. Наука реализует принцип господства над миром «в мысли», т.е. умозрительно, а технологии и бюрократический аппарат осуществляют это господство «на

практике». Как справедливо замечает Маркузе, «теоретический операционализм пришел в соответствие с практическим операционализмом. Ведший ко все более эффективному господству над природой, научный метод стал, таким образом, поставщиком чистых понятий, а также средств для все более эффективного господства человека над человеком через господство над природой. Теоретический разум, оставаясь чистым и нейтральным, поступил в услужение к практическому разуму, и объединение оказалось плодотворным для обоих... В этом универсуме технология обеспечивает также широкую рационализацию несвободы человека и демонстрирует “техническую” невозможность автономии, невозможность определять свою жизнь самому. Ибо эта несвобода не кажется ни иррациональной, ни политической, но предстает скорее как подчинение техническому аппарату, который умножает жизненные удобства и увеличивает производительность труда. ...Технологическая рациональность скорее защищает, чем отрицает легитимность господства, и инструменталистский горизонт разума открывает путь рационально обоснованному тоталитарному обществу... Логос техники превратился в Логос непрекращающегося рабства. Освобождающая сила технологии — инструментализация вещей — обращается в оковы освобождения, в инструментализацию человека» [16. С. 208–209].

Далее в «Одномерном человеке» тема сращения, взаимопереходов и изоморфизма теоретического и практического пластов инструментальной рациональности повторяется: «в технологической действительности объективный мир (включающий субъектов) переживается как мир инструментальных средств. Форма данности объектов здесь предопределена технологическим контекстом. Так, ученому они а priori даны как свободные от ценности элементы и комплексы отношений, допускающие их организацию в эффективную логико-математическую систему; здравому смыслу они явлены в виде материала для работы или досуга, производства или потребления» [16. С. 287–288].

Для низкой жизни были числа...

Высказывание «в каждой науке столько науки, сколько в ней математики», согласующееся как с духом Просвещения, так и с лапласовским детерминизмом и разными формами механицизма, для инструментального разума звучит как лозунг и руководство к действию. В то же время математика выступает как стиль мышления, убивающий все неповторимое и особенное. Разнообразие и полнота жизни, более адекватно описываемые словом, становятся жертвами цифры, или, словами Н. Гумилева: «для низкой жизни были числа, как домашний, подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». Математика обходится с витальным потоком бытия приблизительно так же, как «ремесленник от композиции» Сальери обходился с музыкой: «Ремесло Поставил я подножием искусству; Я сделался ремесленник: перстам Придал послушную, сухую беглость И верность уху. Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию».

В одном из российских учебных пособий по математике для детей начальной школы предлагается следующая задача: «каменный блок для строительства пирамиды тащат 16 рабов. Через каждые 50 метров их сменяют 16 новых рабов. Сколько рабов сменится на пути длиной 1500 метров». Демонстративная нейтральность и отстраненность составителей пособия способна покори́ть некоторых родителей, увидевших в задании не только пример арифметического упражнения, но и отсылку к определенному историческому материалу. Рабам в Древнем Египте, конечно, не позавидуешь, но математика тут ни при чем — она демонстрирует свое привычное равнодушие ко всему, что измеряет и рассчитывает. В этом смысле приведенный пример мало отличался бы от следующего (второго в книге нет): «356 эков работают по 16 часов на лесоповале при температуре минус 40. 153 из них умерли сами, 17 покончили жизнь самоубийством, 32 расстреляны за сопротивление лагерной охране. Сколько эков осталось?». Математика отлично подходит для того, чтобы считать как ромашки, так и трупы.

И дело не только в том, что процедуры квантификации неразборчивы по отношению к своему материалу, но и в том, что они мертвят, превращают цветущую сложность жизни в «непрерывную однородность»/«однородную непрерывность». Эта мысль хорошо схвачена в забавном четверостишии: «У сатаны есть калькулятор Чтоб мертвецов своих считать А Иисус и так всех помнит И всех по имени зовет».

В прибалтийском мультфильме советского времени «Дилли-Далли в стране Перпендикула» вырисовывается картина противостояния Жизни как торжества различий, индивидуального и уникального, с одной стороны, и унифицирующего математического формализма, с другой. Озорной волшебник Дилли-Далли превращает игрушки в настоящих зверей, а Перпендикул пытается подчинить жизнь математическому контролю и регламентации. В костлявых руках последнего все превращается в геометрические структуры, раскладывается по коробочкам и ящичкам каталога, загоняется в ячейки матрицы. Такая страсть к стандартизации и обезличиванию — характерная черта современного стиля работы с реальностью, пропитанного квантофреническим духом, постоянно обнаруживаемого в деятельности бюрократического и технократического аппарата, в сферах экономических отношений и денежного хозяйства.

Всеобщий эквивалент или хитон Несса?

Обратимся к страницам «путеводителя по эпохе модерна», написанным К. Марксом и Г. Зиммелем. «Дух современности — пишет Зиммель — все более и более проникается математикой. Идеалу естествознания — превратить мир в арифметическую задачу, уложить каждую часть его в математическую формулу — соответствует математическая точность практической жизни, вытекающая из денежного хозяйства; это оно так заполнило день такого множества людей взвешиванием, сосчитыванием, числовыми определениями, переводом качественных ценностей на количественные» [6. С. 4].

Комментирующий «Философию денег» С. Московичи продолжает: «Общество переворачивает новую страницу. И на этой странице нет ничего, кроме чисел. Захлестнув науки, арифметика находится в процессе превращения... в интимный дневник наших мыслей и нашего поведения» [17. С. 446].

Товарно-денежные отношения как формальный принцип функционирования капиталистической экономики, математизированная наука и ее практические «объективации» в технической сфере, инструментальная рациональность — это изоморфные, логически согласованные и взаимодополняющие друг друга структуры, образующие вместе социокультурный и институциональный портрет эпохи модерна. Деньги, как и математика, архетипически выражают (по Зиммелю) универсализм обменных отношений. Но в современных обществах этот универсализм проступает гораздо четче, заявляет о себе категоричнее, чем в предшествующие эпохи [1; 4; 5. С. 317–340]. В деньгах и через их посредство происходит уничтожение своеобразия объектов. Одни ценности выражаются через другие путем их измерения и обмена. Люди и вещи уподобляются, и не потому, что вещи одушевляются, а скорее потому, что овеществляются люди и отношения между ними. Все исчисляется и приравнивается друг другу. Меновая стоимость ставится выше потребительской. Если все исчисляемо, все измеряется общим аршином денег, то своеобразии вещей, людей, ценностей неизбежно утрачивается. Деньги как формальное количественное мерило разрушают всякую сущность, уникальность, качество.

Если все (потенциально) обменивается на все, поскольку у всего есть цена, денежная стоимость, все конвертируется во все, все может быть выражено при помощи цифрового монетарного посредника, то все тем самым приравнивается и уравнивается. Все блага и ценности становятся звеньями в цепи бесконечного уравнения: доступ к телу женщины = картина маслом в раме (50x70) = консультация специалиста определенной категории = столько-то цистерн, бочек, канистр с мазутом, соляжкой, бензином, = столько-то мешков штукатурной смеси, кубов, тонн, вагонов леса, трубопроката, банок балтийских шпрот, виртуозно исполненных фортепьянных концертов, оперных арий, научных статей, рассказов и поэм, часов работы шахтера, офис-менеджера, маникюриши, визажиста, массажиста, репетитора (5). И далее конъюнктура рынка или иные регуляторы, действующие в сходной формально-квантифицирующей манере, определяют в соответствии с «рациональными» критериями повышающие или понижающие коэффициенты, устанавливают обменные курсы и пропорции (6). Ценность, редуцированная к цене, в некотором роде обесценивается. Если ты стоишь столько-то (ср.: как говорят американцы, «выглядишь на миллион долларов!»), то ты стоишь всего лишь N килограммов картошки, кусков хозяйственного мыла или рулонов туалетной бумаги.

Денежная экономика диктует определенные условия реализующим свою трудовую активность людям. Наукообразный термин «коммодификация» лишь прикрывает нелюбезную суть, выступая в роли эвфемизма. Человек,

претендующий на получение зарплаты и действительно ее получающий, «проституирован», поскольку выставляет, предлагает и продает себя на рынке труда как вещь, товар (вернее, вынужден это делать «не от хорошей жизни»). Продавать можно все что угодно: «душу» и «тело», мускульную силу, ловкость рук, быстроту ног, зоркость глаза, любое мастерство, услуги, красоту, знания и т.п. Во всех случаях эти качества и способности выступают для экономической системы как заурядные средства. «В заработной плате и самый труд выступает не как самоцель, а как слуга заработка» [14. С. 238].

Труд как следствие любви к труду, как продукт стремления к самореализации выносятся за скобки, даже если порой встречается. Какая именно эксплуатируется субъективная трудовая мотивация (ведь заниматься чем-то можно и из чистой «любви к искусству») для товарно-денежной экономики значения не имеет, поскольку основной ее принцип бескорыстную любовь (в том числе к труду) отвергает, но побуждает и вынуждает индивидуальных акторов (работников) «любить за плату», «продаваться», и подталкивают людей к этому определенные структурные обстоятельства, которым почти невозможно противостоять. Структурный контекст функционирования экономики формирует специфические субъективные структуры социального характера — того, который Э. Фромм называл «рыночным» [21. С. 152]. Носитель рыночного характера «относится к себе как к товару, предназначенному найти спрос на самых выгодных условиях, по самой дорогой цене... Человек-товар с надеждой демонстрирует свою этикетку, стараясь выделиться из товаров, представленных на прилавке для обозрения, и быть оцененным по высшей таксе... С самого раннего детства он усваивает, что быть в моде — значит пользоваться спросом и что он, как и все, должен удовлетворять требованиям спроса на рынке личностей» [21. С. 296].

Индивидам приходится подстраиваться: человек/работник хочет, чтобы его купили подороже, хочет в процессе образования или профессиональной подготовки приобрести компетенции и освоить виды деятельности, на которые есть спрос, получить знания, навыки и умения, которые можно легко монетизировать. Рыночная фразеология говорит об «инвестициях» в себя, о коэффициенте полезного действия (КПД) сотрудников организации, о «ликвидности» человеческого капитала, о личностном потенциале и ресурсе, из которых желательно выжать максимальную прибыль, о перспективах карьерного и иного роста, эффективности, результативности и продуктивности. При этом участники экономических отношений обычно не стесняются рассуждать о себе и описывать свои установки и ожидания при помощи таких клише — адресующих к калькулируемой продажности рабочей силы и «вещеподобию» трудовых функций (включая виды нефизического труда), как будто речь идет о неорганическом явлении или механическом процессе (мой час стоит столько-то; его перекупили и т.д.).

У истоков всех этих разговоров стоит Маркс — его высказывания о роли денег в современных обществах и «обесчеловечивающей» логике товарного

производства и рыночного товарообмена хорошо известны. Еще в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», т.е. в самом начале своего пути, Маркс пишет о деньгах и их способности формально конвертировать, потенциально приравнять все ценности в мире, лишая их качеств: «Так как деньги обмениваются не на какое-нибудь одно определенное качество, не на какую-нибудь одну определенную вещь или определенные сущностные силы человека, а на весь человеческий и природный предметный мир, то, с точки зрения их владельца, они обменивают любое свойство и любой предмет на любое другое свойство или предмет, хотя бы и противоречащие обмениваемому. Деньги осуществляют братание невозможностей» [14. С. 297]. «Количество денег становится все в большей и большей мере их единственным могущественным свойством; подобно тому как они сводят всякую сущность к ее абстракции, так они сводят и самих себя в своем собственном движении к количественной сущности» [14. С. 272–273].

По ходу рассуждений Маркс вспоминает Шекспира, именующего золото «видимым богом, сближающим несродные предметы» [14. С. 293–294]. Здесь же возникает и мотив сравнения логики хозяйственной жизни и проституции (в прямом, а не переносном смысле): «Если я задам политэконому вопрос: повинуюсь ли я экономическим законам, когда я извлекаю деньги из продажи своего тела для удовлетворения чужой похоти (фабричные рабочие во Франции называют проституцию своих жен и дочерей добавочным рабочим часом, и это буквально так и есть), и разве я не действую в духе политической экономики, когда я продаю своего друга марокканцам (а непосредственная продажа людей, в виде торговли рекрутами и т.д. имеет место во всех культурных странах), — то политэконом мне отвечает: ты не поступаешь вразрез с моими законами» [14. С. 277].

В раннем очерке «К еврейскому вопросу» (1843) озвучивается тема денег как рукотворного бога, созданного людьми и порабощающего их: «Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги — это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир — как человеческий мир, так и природу — их собственной стоимости. Деньги — это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей» [11. С. 152].

С. Московичи, обыгрывающий метафору общества как машины, творящей богов, находит одного из таковых в деньгах, что верно прежде всего в отношении социальных систем современности. При этом Московичи иронично, хотя и с досадой замечает: «параллельно с отливом и атрофией старого религиозного монотеизма гипертрофируется новый монетарный монотеизм. Своей неограниченной властью он обращает мир в свою веру... В борьбе между Иеговой и Золотым тельцом Бог выиграл все битвы, но в результате проиграл саму войну» [17. С. 413].

Господство денег и выражаемых в денежной форме меновых стоимостей над стоимостями потребительскими и всеми видами труда при капитализме —

сюжет, к которому Маркс возвращается постоянно. В «Экономических рукописях 1857–1859 годов» читаем: «Деятельность, какова бы ни была ее индивидуальная форма проявления, и продукт этой деятельности, каковы бы ни были его особые свойства, есть меновая стоимость, т.е. нечто всеобщее, в чем всякая индивидуальность, всякие особые свойства отрицаются... Поэтому товары — лишь случайные формы существования. Деньги — это “экстракт всех вещей”, в котором их особенный характер погашен... Деньги удовлетворяют любую потребность, поскольку могут быть обменены на объект любой потребности, будучи совершенно безразличны ко всякой особенности... Из своего рабского облика, в котором они выступают как всего лишь средство обращения, деньги внезапно превращаются в господина и бога в мире товаров. Деньги представляют небесное существование товаров, в то время как товары представляют земное существование денег» [13. С. 100, 164–166].

Здесь также встречается сравнение наемного труда с проституцией, но уже в широком, переносном смысле: «Способность всех продуктов, деятельностей, отношений к обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на все без разбора, — т.е. развитие меновых стоимостей (и денежных отношений) — тождественна всеобщей продажности... Всеобщая проституция выступает как необходимая фаза развития общественного характера личных задатков, потенций, способностей, деятельностей. Выражаясь более вежливо: всеобщее отношение полезности и годности для употребления» [13. С. 106].

Капиталистический товарный рынок уравнивает все и всех, нивелирует различия и одновременно фетишизирует социально-экономический порядок, превращая продукт человеческих отношений, т.е. явление общественного происхождения в нечто такое, что воспринимается людьми как квазивещественная вселенная, состоящая из вещей-товаров и уподобляемых им вещей-людей. Анализ товарного фетишизма, предпринятый Марксом в первом томе «Капитала», показывает изоморфизм процессов конструирования людьми универсумов религии (ср. с позицией Фейербаха [20]) и хозяйства: «Продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. То же самое происходит в мире товаров с продуктами человеческих рук. Это я называю фетишизмом, который присущ продуктам труда, коль скоро они производятся как товары... Производители относятся к своим продуктам труда как к товарам, следовательно, как к стоимостям, и в этой вещной форме частные их работы относятся друг к другу как одинаковый человеческий труд... Если бы товары обладали даром слова, они сказали бы: наша потребительная стоимость, может быть, интересует людей. Нас, как вещей, она не касается. Но что касается нашей вещественной природы, так это стоимость. Наше собственное обращение в качестве вещей-товаров служит тому лучшим доказательством. Мы относимся друг к другу лишь как меновые стоимости» [12. С. 81–82, 89, 93]. Аналогичным образом, как меновые стоимости, относятся друг к другу при капитализме и люди.

Авторы «Коммунистического Манифеста» пишут: «Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его “естественным повелителям”, и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного “чистогана”. В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой. Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников. Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям... Рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли» [15. С. 426–427, 430].

Это не просто пафосное моральное осуждение, инвектив, изобилующий экспрессивной лексикой. Здесь озвучивается вполне точный холодный диагноз, содержащий набор серьезных эвристических суждений, описывающих особенности современных обществ. И главный выявленный тренд — переход от партикулярных, локальных зависимостей от конкретных лиц и внеэкономического принуждения к зависимостям вещным и универсальным (7), к экономическому принуждению, и параллельно разворачивающаяся всеобщая коммодификация. Говоря более поздним социологическим языком — перестройка социальной связи: из *Gemeinschaft* в *Gesellschaft*. Ты не обязан более падать ниц перед краснокаблучным дворянином или боярином в бобровой шубе, трепетать перед венцом и бармами, скипетром и державой, гнуть спину перед барином и господином, рассчитывая на их милость и снисхождение. «Хозяина» и «патрона» больше нет, но есть «начальство», абстрактная власть денег и приводимые ею в движение анонимные механизмы управления и господства («свою общественную власть, как и свою связь с обществом, индивид носит с собой в кармане» [13. С. 100]). Теперь бедняк, как никогда ранее, может сказать про богача: я, в сущности, такой же, как он, и наше единственное отличие заключается в том, что мой карман пуст, а его полон.

Сам характер общественного господства становится в эпоху модерна другим, и изменяется он в том же направлении, что и характер отношения человека к природе. В традиционных обществах не существовало радикального разрыва между субъектом трудовой деятельности, с одной стороны, и средствами и предметами труда — с другой. Человек как член коллектива кормился с земли — своим ли трудом или как-то иначе (например, привилегированные группы кормились благодаря чужому труду). Мать-земля давала,

а человек брал, пользовался ее дарами (хотя этот процесс не всегда был «простым», мог быть в физическом смысле тяжелым). При капитализме же мир объектов труда впервые становится по-настоящему чужеродной, «внешней» реальностью и предметом/средством манипулирования одновременно.

Исследователи, стремящиеся оценить вклад Маркса в постановку социологического диагноза модерна, отмечают: «Взаимоотношения человека и природы коммерциализируются. Из почти сакрального условия существования общности (общины) и каждого конкретного человека, естественной основы его жизни и труда она становится чем-то представляющим чисто инструментальный интерес... Природа как самостоятельный сложноорганизованный организм, элементом которого выступал человек, исчезает. Наоборот, отдельные компоненты возобновимых и невозобновимых природных ресурсов становятся элементами создаваемой человеком техносферы, а сельскохозяйственное производство — разновидностью фабричного, чему сопутствует его рационализация, интенсификация и т.д. С переходом от традиционных обществ к современным качественно меняется сам тип отношений общества и природы, в них смещается точка отсчета» [19. С. 113]. Проще говоря, имеет место «инструментализация и десакрализация отношения человека к природе» [19. С. 114].

Зиммель в «Философии денег» и сопутствующих эссе движется если не по стопам Маркса (8), то в сходном направлении. Он рассуждает о деньгах вполне в марксовом духе, хотя специфическая политэкономическая фразеология здесь уступает место более широкой — философско-социологической. Но смысл остается тем же: все то, что выражено в количественной монетарной форме, теряет уникальность и качественный характер, приравнивается ко всему прочему, что может быть выражено в деньгах. Ценность редуцируется к цене. Ключевое зиммелевское концептуальное описание сущности денег — «в себе и для себя чистое отображение ценностных отношений вещей, они равно доступны любой стороне, в денежных делах все люди равноценны, но не потому, что ценен каждый, а потому, что ни один не обладает ценностью, а только деньги» [28. С. 483]. «Принцип денег устраняет всякую индивидуальность явлений. Деньги спрашивают только о том, что является общим для всех соответственных явлений, а именно о меновой ценности, которая нивелирует всякое качество и всякую оригинальность под единственный критерий количества... Однообразно оценивая все разновидности вещей, выражая качественные различия между ними одним критерием количества, становясь бесцветной и безразлично общей мерой для всех ценностей, деньги становятся также самым страшным нивелирующим фактором. Деньги решительно отбрасывают ядро вещей, их своеобразность, их специфическую ценность, их несравнимые особенности. В вечно движущемся денежном потоке все вещи и ценности плавают с равным удельным весом, все они находятся на одной плоскости и отличаются лишь величиной занятого на последней пространства» [6. С. 2, 5–6]. «Где деньги стали мерилем стоимости всего, где бесконечное количество самых разнообразных предметов можно за них получить, там они приобретают такую бесцветность и

бескачественность, которая все, чему они служат эквивалентом, в определенном смысле обесценивает» [7. С. 13].

Зиммель, по-видимому, еще менее, чем Маркс, склонен к морализаторству при оценке роли денег в общественной жизни. Его рассуждения не про тлетворное влияние презренного металла, приводящее к коррозии человеческих отношений. К тому же алчность и корыстолюбие не являются отличительными чертами умонастроения человека модерна, они существенно старше. Социолог отлично понимает, что деньги не только закрепощают, но и в некотором роде освобождают. Способность объединять несходное, преодолевать различия — преимущество денег, помогающее людям интегрировать, конструктивно опосредовать их отношения в высокодифференцированных обществах. В условиях труднообозримой пестроты индивидуальных различий, требующей известной гомогенизации, деньги становятся механизмом социальной связи, почти универсальной отмычкой для многих закрытых дверей. При разложении локальных связей, расширении круга контактов и усилении мобильности они позволяют вступать в отношения миллионам незнакомцев. Деньги есть универсальное оружие, социальный магнит в мире, состоящем из «чужаков». Но ценой этого «условного освобождения» от порой отягощающих гемайншафтных уз оказывается утрата интимности социальной связи, ощущения уникальности разворачивающегося здесь и теперь взаимодействия, между участниками которого отныне не должно быть «ничего личного» (только бизнес), ничего «слишком человеческого» ни в хорошем, ни в плохом смысле. Чистая денежная связь в любой значимой социальной транзакции способна оскорбить индивида именно тем, что в нем перестают видеть человека.

Итак, деньги и пронизанное техницистски-инструментальным духом естествознание создают однопорядковые, согласующиеся модели работы (оперирования) с элементами природной и социальной реальности. «Настоящий хитон Несса — деньги ткнут второе тело общества, математизированное и гомогенное, в котором более нет особых, замкнутых на определенном человеке отношений. Можно сказать, картезианское общество, в котором “априорными элементами отношений являются более не индивиды с их собственными характеристиками, из которых рождается социальное отношение, но скорее сами эти отношения в качестве объективных форм — “позиций”, пустых пространств и контуров, которые индивиды должны просто заполнить каким-либо образом» [17. С. 448]. Место людей с их деньгами занимают деньги и их люди.

Примечания

- (1) В точке пересечения марксовой, зиммелевской и веберовской перспектив (с очевидным перевесом в сторону линии Маркса) находится еще один важнейший прецедентный источник — «История и классовое сознание» Д. Лукача, написанный в 1920-е годы [10].
- (2) Например, циклопа Полифема, которому, как и его собратьям, недоставало (раз)ума, чтобы играть с Одиссеем на равных, несмотря на обладание многократно превосходящей физической силой.

- (3) Сходную оценку указанной интенции новоевропейского мышления (в связи с фигурой Декарта) можно найти у учителя Хайдеггера. В «Кризисе европейских наук» [3] Э. Гуссерль отмечает: «Декарт ... некогда подтвердил, что миссия человека состоит в том, чтобы стать “господином и обладателем природы”, но взамен сам он стал такой же вещью, зависимой от техники и истории, которые порабащают его» [17. С. 421].
- (4) Этот принцип является конституирующим для капиталистической модели хозяйствования и рыночной системы обмена. Как пишет Маркс: «Общество — каким оно выступает для политэконома — есть буржуазное общество, где каждый индивид представляет собой некоторый замкнутый комплекс потребностей и существует для другого лишь постольку, — а другой существует для него лишь постольку, — постольку они обоюдно становятся друг для друга средством» [14. С. 285].
- (5) Если так, то «монета может сказать: “Я была куском дерева, я была костью, я была листком бумаги, и я была раковиной, подобранной на песке”. Ее подвижная и невидимая реальность происходит от переселения ее стоимости, которая является душой этих вещей» [17. С. 399].
- (6) Или в той же универсальной обменной логике, сближающей содержательные «противоположности», «приравнивающей неоднородное» (хотя деньги в этом шуточном предложении о сотрудничестве торговцев и писателей не фигурируют): «Я за “Милосердия эру” — Вот за что спасибо вам! — Дал две дыни офицеру И гранатов килограмм... Чтобы не было заминок (Любите кюфта-бюзбаш?) Шлите жен Центральный рынок — Полглавы барашка ваш».
- (7) Ср.: «общество, нацеленное на технологическую трансформацию природы и уже осуществляющее ее, изменяет основу господства, постепенно замещая личную зависимость (раба от господина, крепостного от владельца поместья, а последнего от дарителя феода и т.д.) зависимостью от «объективного порядка вещей» (экономических законов, рынка и т.п.)» [16. С. 189].
- (8) Значительная часть рукописного наследия Маркса при жизни Зиммеля еще не была опубликована.

Библиографический список

- [1] *Аникаева Е.А.* Основные подходы к исследованию денег в социологии // *Экономическая социология*. 2008. Т. 9. № 1.
- [2] *Бергер П.* Священная завеса. Элементы социологической теории религии. М., 2019.
- [3] *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию. СПб., 2004.
- [4] *Зарубина Н.Н.* Деньги как социокультурный феномен. М., 2011.
- [5] *Зарубина Н.Н.* Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе. М., 2006.
- [6] *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь // *Логос*. 2002. № 3.
- [7] *Зиммель Г.* Кое-что о проституции в настоящем и будущем // *Зиммель Г.* Большие города и духовная жизнь. М., 2018.
- [8] *Зиммель Г.* Философия денег (фрагмент) // *Теория общества*. М., 1999.
- [9] *Кракауэр З.* Орнамент массы. М., 2019.
- [10] *Лукач Г.* История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М., 2003.
- [11] *Маркс К.* К еврейскому вопросу // *Маркс К.* Социология. М., 2000.
- [12] *Маркс К.* Капитал. Т. 1. // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 23. М., 1960.
- [13] *Маркс К.* Экономические рукописи 1857–1859 годов // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 46. Ч. 1. М., 1968.
- [14] *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года // *Маркс К.* Социология. М., 2000.
- [15] *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест коммунистической партии // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 4. М., 1955.

- [16] Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
- [17] Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998.
- [18] Тавризян Г.М. Философы XX века о технике и «технической цивилизации». М., 2009.
- [19] Тихонова Н.Е., Аникин В.А., Горюнова С.В., Лежнина Ю.П. Концепция модернизации в работах классиков социологической мысли второй половины XIX — начала XX вв. // Социология: 4М. 2007. № 24.
- [20] Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
- [21] Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
- [22] Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
- [23] Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997.
- [24] Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1–2. М., 1993, 1998.
- [25] Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век. М., 1995.
- [26] Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001.
- [27] Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
- [28] Simmel G. Philosophie des Geldes. Berlin, 1958.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-670-696

“Dangerous modernity!”, or the shadow play of modernity and its characters: instrumental rationality — money — technology (part 1)*

D.G. Podvoyskiy

Lomonosov Moscow State University
Lomonosovsky Prosp., 27–4, GSP–1, Moscow, 119991, Russia

RUDN University
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

Institute of Sociology of FCTAS RAS
Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia
(e-mail: dpodvoiski@yandex.ru)

Abstract. The article is an essay on the critical analysis of one of the fundamental issues of social theory of the 19th — 20th centuries — alienation and its manifestations in modern societies. Alienation is interpreted not in one of its special meanings (such as alienation of labor, etc.), but in the broadest way — as the transformation of products of individual and collective activities into an independent force that subjugates a person and transfers him from the position of the subject to the position of the object of social relations. Such a definition makes alienation a ‘universal’ feature of social life. However, in different societies and in different historical periods, alienation can have variable specific forms. The historically specific manifestations of alienation in modern societies can be explained by referring to the classical theme of their genesis. The originality of their institutional organization is largely associated with the originality of their culture and spiritual life

* © D.G. Podvoyskiy, 2021

The article was submitted on 03.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

(in particular, with the radical demarcation between human and nature, subject and object in the modern era). The multifaceted phenomenon of scientific and technical rationality, the product of the post-Renaissance Western-European culture, becomes a source of social realities and practices ‘fraught with alienation’. The article illustrates it by a number of examples, including the logic and mechanisms of the capitalist money economy. The author refers to the heritage of world philosophy and social thought, which problematized and conceptualized the considered issues in various ways: the Frankfurt School, existentialist philosophers, ‘pillars’ of theoretical sociology — Karl Marx and Georg Simmel.

Key words: modern society; alienation; reification; instrumental rationality; money; quantification; commodification; technology; industrial society; critical theory; Frankfurt school; K. Marx; G. Simmel; social theory

References

- [1] Anikaeva E.A. Osnovnye podhody k issledovaniju deneg v sotsiologii [Main approaches to the study of money in sociology]. *Journal of Economic Sociology*. 2008; 9. (In Russ.).
- [2] Berger P. *Svjashhennaja zavesa. Elementy sociologicheskoy teorii religii* [The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion]. Moscow; 2019. (In Russ.).
- [3] Husserl E. *Krizis evropejskih nauk i transsentalnaja fenomenologija: Vvedenie v fenomenologicheskiju filosofiju* [The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy]. Saint Petersburg; 2004. (In Russ.).
- [4] Zarubina N.N. *Dengi kak sotsiokulturny fenomen* [Money as a Social-Cultural Phenomenon]. Moscow; 2011. (In Russ.).
- [5] Zarubina N.N. *Sotsiologija khozjajstvennoj zhizni: problemny analiz v globalnoj perspektive* [Sociology of Economic Life: Problem Analysis in the Global Perspective]. Moscow; 2006. (In Russ.).
- [6] Simmel G. Bolshie goroda i duhovnaja zhizn [The metropolis and mental life]. *Logos*. 2002; 3. (In Russ.).
- [7] Simmel G. Koe-čto o prostitutsii v nastojashhem i budushhem [Something about prostitution in the present and future]. Simmel G. *Bolshie goroda i duhovnaja zhizn* [The Metropolis and Mental Life]. Moscow; 2018. (In Russ.).
- [8] Simmel G. Filosofija deneg (fragment) [The philosophy of money (fragment)]. *Teorija obshhestva* [The Theory of Society]. Moscow; 1999. (In Russ.).
- [9] Kracauer S. *Ornament massy* [The Mass Ornament]. Moscow; 2019. (In Russ.).
- [10] Lukács G. *Istorija i klassovoe soznanie. Issledovanija po marksistskoj dialektike* [History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics]. Moscow; 2003. (In Russ.).
- [11] Marx K. K evrejskomu voprosu [On the Jewish question]. Marx K. *Sociologija* [Sociology]. Moscow; 2000. (In Russ.).
- [12] Marx K. Kapital. T. 1. [Capital. Vol. 1.]. Marx K., Engels F. *Sochinenija* [Collected Works]. Vol. 23. Moscow; 1960. (In Russ.).
- [13] Marx K. Ekonomicheskie rukopisi 1857–1859 godov [Fundamentals of a Critique of Political Economy]. Marx K., Engels F. *Sochinenija* [Collected Works]. Vol. 46 (1). Moscow; 1968. (In Russ.).
- [14] Marx K. Ekonomicheskoe-filosofskie rukopisi 1844 goda [Economic-Philosophic Manuscripts of 1844]. Marx K. *Sociologija* [Sociology]. Moscow; 2000. (In Russ.).
- [15] Marx K., Engels F. Manifest kommunisticheskoy partii [Manifesto of the Communist Party]. Marx K., Engels F. *Sochinenija* [Collected Works]. Vol. 4. Moscow; 1955. (In Russ.).
- [16] Marcuse H. *Odnomerny chelovek* [One-Dimensional Man]. Moscow; 1994. (In Russ.).
- [17] Moscovici S. *Mashina, tvorjashhaja bogov* [The Invention of Society: Psychological Explanations for Social Phenomena]. Moscow; 1998. (In Russ.).

- [18] Tavrizjan G.M. *Filosofy 20 veka o tehnike i "tehničeskoj tsivilizatsii"* [Philosophers of the 20th Century about Technology and 'Technical Civilization']. Moscow; 2009. (In Russ.).
- [19] Tikhonova N.E., Anikin V.A., Gorjunova S.V., Lezhnina Ju.P. Kontseptsija modernizatsii v rabotah klassikov sociologičeskoj mysli vtoroj poloviny 19 — nachala 20 vv. [The concept of modernization in the works of the classics of sociological thought of the second half of the 19th — early 20th centuries]. *Sociologija: 4M*. 2007; 24. (In Russ.).
- [20] Feuerbach L. *Sushhnost khristianstva* [The Essence of Christianity]. Moscow; 1965. (In Russ.).
- [21] Fromm E. *Imet ili byt?* [To Have or to Be?]. Moscow; 1990. (In Russ.).
- [22] Heidegger M. *Vremja i bytie* [Time and Being]. Moscow; 1993. (In Russ.).
- [23] Horkheimer M., Adorno T.W. *Dialektika Prosveshhenija. Filosofskie fragmenti* [Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments]. Moscow–Saint Petersburg; 1997. (In Russ.).
- [24] Spengler O. *Zakat Evropy: ocherki morfologii mirovoj istorii* [The Decline of the West]. Vol. 1–2. Moscow; 1993, 1998. (In Russ.).
- [25] Spengler O. *Chelovek i tehnika* [Man and technics]. *Kulturologija. 20 vek*. Moscow; 1995. (In Russ.).
- [26] Elias N. *Obshhestvo individov* [The Society of Individuals]. Moscow; 2001. (In Russ.).
- [27] Jaspers K. *Duhovnaja situatsija vremeni* [The spiritual situation of the time]. Jaspers K. *Smysl i naznachenie istorii* [The Origin and Goal of History]. Moscow; 1994. (In Russ.).
- [28] Simmel G. *Philosophie des Geldes*. Berlin; 1958.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-697-710

«Контрфинальность» в социологической теории: реконцептуализация понятия*

И.А. Латыпов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ул. Мясницкая, 11, Москва, 101000, Россия
(e-mail: ialatypov@hse.ru)

Аннотация. Понятие «контрфинальность» означает непреднамеренные последствия, которые возникают в результате нескоординированных действий рационально действующих индивидов. Еще до того, как это понятие было введено Ж.-П. Сартром и развито Ю. Элстером, контрфинальность в той или иной форме присутствовала в рассуждениях ученых. Одни рассматривали контрфинальность как разновидность общественных парадоксов и социальных дилемм, которые существовали с начала истории человечества. Другие характеризовали контрфинальность в терминах конкретного результата социального взаимодействия. Описание и анализ этих противоречий и парадоксов можно найти уже в трудах Гоббса, Мандевиля, Смита, Маркса и Гегеля. В XX веке тема непреднамеренных последствий стала развиваться в социологии. Ряд классических работ Р. Мертона способствовал постановке социологической проблемы непреднамеренных последствий преднамеренных действий. Последующие работы на эту тему включали множество классификаций, и почти в каждой упоминался феномен контрфинальности. Сам термин был введен Сартром для обозначения «придатка истории», непредвиденного следствия множества взаимодействий и желаний разных поколений. Социологическое толкование контрфинальности, сопряженной с категорией действия, было предложено Элстером. Его концепция имеет логическую форму и связана с рядом других теорий, которые рассматриваются в критическом ключе. Контрфинальность Элстер анализирует не в рамках функционалистской парадигмы (как Мертон), а с точки зрения методологического индивидуализма, и контрфинальность выступает как основа социальных изменений. Анализ основных положений концепции контрфинальности у Сартра, Элстера и ряда других авторов показывает, чем это понятие отличается от сходных с ним, какова его специфика в социологическом анализе действия и как можно раскрыть его эвристический потенциал. Автор делает вывод, что современное содержание концепции контрфинальности включает в себя, прежде всего, отклики на идеи Сартра и Элстера и их критику. Дальнейшие исследования целесообразно сосредоточить на условиях, характеристиках и последствиях контрфинальности, а также на их эмпирических референтах.

Ключевые слова: контрфинальность; интенциональное действие; непреднамеренные последствия; пространство; время; противоречие; рациональное действие; социальная дилемма; социологическая теория

Контрфинальность — это разновидность непреднамеренных последствий, парадокса, социальной дилеммы. Она возникает, когда рациональные индивиды преследуют одну цель, используя одни и те же средства, но

* © Латыпов И.А., 2021

Статья поступила 26.06.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

достигают противоположного этой цели результата, что объясняется отсутствием между ними координации и ложными допущениями о намерениях других. В социологической теории контрфинальность редко рассматривается как отдельная категория. Чаще всего она выступает как продолжение проблемы непреднамеренных последствий. Одним из первых тему непреднамеренных последствий преднамеренных действий систематически начал развивать Р. Мертон, обратив внимание на сходство множества терминов, описывающих проблему непреднамеренных последствий в разных контекстах [8]. Трудности научного анализа этой проблемы обусловлены широким диапазоном этих контекстов, в которых трудно усмотреть преемственность идей и целостность проблемы. Последняя предполагает, прежде всего, изучение условий, в которых совершается действие, и факторов, влияющих на его результат. Среди факторов, которые способствуют появлению непреднамеренных последствий, можно выделить: незнание, ошибку, императивность интереса, озвученные публично предсказания — в этих факторах Мертон видел основу дальнейшего анализа проблемы непреднамеренных последствий.

После Мертона появилось немало работ, которые имеют своим объектом непреднамеренные последствия [4; 9; 21; 24; 27; 28; 32; 33]. За всю историю идей накопилось немало описаний, которые позволяют их классифицировать [11; 15; 16; 25; 30]: позитивные и негативные, ожидаемые и неожиданные, созидательные и разрушающие. Непреднамеренные последствия различаются по пространственно-временным характеристикам и по масштабности. Среди конкретных видов непреднамеренных последствий можно выделить побочные эффекты, обратные эффекты, «невидимую руку», отчуждение, контрфинальность, субоптимальность и другие механизмы воспроизводства институциональных практик [25. С. 23–36]. Как и другие понятия, контрфинальность описывает определенный класс социальных явлений, но не имеет систематического вида и часто уступает место другим понятиям. При этом проблема контрфинальности имеет собственную концептуальную историю, которая будет реконструирована в статье.

Почему проблема контрфинальности требует отдельного рассмотрения и почему следует различать проблемы непреднамеренных последствий и контрфинальности? Во-первых, исследование непреднамеренных последствий — лишь начальный этап в постановке проблемы, на котором контрфинальность следует рассматривать как отдельную категорию [4; 15; 18; 31]. Во-вторых, на теоретическом уровне контрфинальность имеет ряд атрибутов, которые непреднамеренные последствия не имеют, и эти отличия требуют иного аналитического подхода — более комплексного и точного. Например, контрфинальность связана с логической ошибкой композиции, которую Элстер вводит для изучения социальных противоречий, и является источником социальных изменений. Э. Гидденс усматривает в контрфинальности основу для конфликта [4. С. 430]. Природа контрфинальности сочетает множество компонентов, комбинации которых не до конца изучены, но их анализ необходим для понимания целого ряда социальных феноменов.

Современный этап развития социологической теории действия характеризуется несколькими особенностями. Во-первых, на смену монотеоретическим взглядам приходят так называемые «интегральные», часто дуальные теории, основанные не на нескольких монотеоретических подходах [4]. Во-вторых, вместе и за счет развития дуальных теорий идет активный пересмотр «прежних», классических теорий действия, поэтому «старые» проблемы и решения обретают новые интерпретации. Однако проблема контрфинальности не получила систематического объяснения ни в проектах интегральных теорий, ни в метатеории. Анализ контрфинальности и выработка новых теоретических ресурсов для ее исследования (эмпирического в том числе) позволит по-новому описать результат действия и объяснить переход к социальным изменениям.

Общетеоретические предпосылки исследования контрфинальности

Социальные (и социологические) трактовки контрфинальности имеют предысторию и концептуальные основания в разных философских идеях. Еще до того, как понятие «контрфинальность» вошло в социологическую теорию, многие философы указывали на такие последствия действий, которые противоречат изначальным целям, являются парадоксами и побочными эффектами. В «Левиафане» Гоббса контрфинальность описана в терминах «естественного состояния», «войны всех против всех» и достижения общественного договора. Гоббс полагал, что все люди по природе своей равны, что создает равенство надежд на достижение целей [5. С. 86]. Но когда несколько человек хотят достичь одной цели, они становятся врагами, так как не могут достичь ее одновременно. Поскольку главная цель человека в естественном состоянии войны всех против всех — сохранить себе жизнь, никто не может быть уверен, что ему это удастся. Естественное состояние есть контрфинальность, так как, воюя против всех, ты не обеспечиваешь себе безопасность, а наоборот, создаешь опасность вокруг себя. Поэтому, чтобы ликвидировать такую контрфинальность, люди заключают мирный договор. Иными словами, решение проблемы социального порядка посредством договора создает условие для преодоления базовой контрфинальности, которая основана на пороках и страстях человека. В современных интерпретациях отмечается, что естественное состояние не исчезает после создания государства, и даже в гражданском обществе человек имеет право защищать себя любыми способами при серьезной опасности для жизни [35. С. 142].

Продолжение темы естественного состояния, которое не исчезает в гражданском обществе, можно найти у Мандевилля в басне о пчелах. В аллегорической форме описывая жизнь пчел, которые сначала были полны пороков, но в один момент стали честными, чтобы достичь мира и согласия, он показывает, что противоречия и зло не могут быть отброшены и лишь в сочетании с добром порождают единственно возможный порядок. Контрфинальность представлена в намерении пчел жить честно ради мира, стабильности, процветания и

справедливости, но абсолютная честность приносит им больше войн и нищеты, чем естественное состояние, полное лжи и пороков. По Мандевиллю, лишь сочетание добра и зла (при всем его вреде обществу) может предотвратить ту контрфинальность, которую порождает желание одного лишь добра [6. С. 21].

Свой взгляд на непреднамеренные последствия совокупности действий в духе историзма предложил и Г.В.Ф. Гегель: во всемирной истории, помимо тех результатов, которые являются последствиями действий индивидов, имеются результаты, которые изначально не входили в намерения индивидов. [3. С. 84]. Гегель вводит понятие «хитрости/уловки разума» для обозначения таких последствий, и оно становится одним из прародителей понятия контрфинальности [18. С. 106].

В обществе люди, действуя в индивидуальных интересах, часто приходят (все вместе и непреднамеренно) к результатам, которых невозможно было бы достичь, если бы они действовали намеренно. А. Смит указывает на «невидимую руку» — она ведет людей к общественному благу, когда каждый стремится лишь к благу собственному. И наоборот — те, кто стремится к благу общества, менее эффективно способствуют ему, чем те, кто не намеревался этого делать [10. С. 443]. Указывая на «невидимую руку», Смит говорит о контрфинальности, которая может наступить, если люди будут действовать целенаправленно во благо общества. «Невидимая рука» ведет к положительным непреднамеренным последствиям (каждый, действуя в собственных интересах, продвигает интересы общества), в то время как контрфинальность означает негативные непреднамеренные последствия (каждый, действуя в интересах общества, эти интересы не продвигает как планировалось).

К. Маркс, критикуя Смита, утверждал, что частные интересы индивидов по содержанию, форме и средствам достижения уже являются общественными, так как люди вплетены в социальные отношения, и общество диктует и навязывает им интересы, цели и средства. С тем же успехом, по Марксу, можно описать и противоположную ситуацию, схожую с контрфинальностью: «Из этой абстрактной фразы можно было бы с таким же успехом вывести, что каждый индивид взаимно блокирует утверждение интересов других, так что вместо общего утверждения эта война всех против всех порождает общее отрицание» [7. С. 101–102].

В социологии одной из первых работ о непреднамеренных последствиях можно назвать труд М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» [2] — это исследование непреднамеренного результата — констелляции/«схождения» многих линий развития, прежде всего, протестантской этики и рационального аскетизма, в закреплении капитализма. Люди, которые сознательно и целенаправленно отказываются от многих вещей ради спасения души, становятся богаче и развивают капиталистическое хозяйство, хотя это не входило в их планы. По сути, описанные Вебером процессы являются и парадоксом, и непреднамеренными последствиями, и даже контрфинальностью,

так как протестантская этика не предполагала в своих нормативных предписаниях тех результатов, к которым привела [21; 26; 29; 30; 32].

В исторической перспективе описания контрфинальности заметно отсутствие ее четкого определения, поскольку контрфинальность не выступала главным объектом исследования. Только начиная с Мертона можно говорить о целенаправленном изучении непреднамеренных последствий, хотя контрфинальность — не то же самое. И непреднамеренные последствия, в отличие от контрфинальности, в последние десятилетия часто становились объектом анализа [4; 15; 25; 29; 30]. Чтобы обозначить отличие контрфинальности от непреднамеренных последствий, далее мы остановимся на двух исследованиях контрфинальности — в концепции Сартра и в дуальной теории изменений Элстера.

Контрфинальность в философии Сартра

Понятие «контрфинальность» вводится Сартром для описания последствий истории капиталистического общества. В книге 1960 года «Критика диалектического разума» Сартр предлагает взглянуть на «пассивное действие» — результат влияния материальности на человека и его историю, когда практика превращается в анти-практику, и действия людей возвращаются к ним в форме контрфинальности [31. С. 124]. По Сартру, каждая практика — это инструментализация материальной реальности [31. С. 161]: практика, вписанная в материю, трансформирует естественные силы в пассивные действия — это результат истории, когда люди действуют в определенных обстоятельствах, в определенный момент исторического развития и не предвидят отдаленные от их действий последствия, противоречащие их целям в данный момент истории.

Первый пример Сартра связан с историей Китая: на протяжении многих тысяч лет китайские крестьяне вырубали деревья, чтобы обработать почву для посева. Позитивный момент такой деятельности в том, что они могли выращивать то, что им требовалось, в нужном количестве, негативный — в отсутствии деревьев: из-за того, что холмы и равнины очищены от деревьев, развивается эрозия почв, что приводит к повышению уровня воды в реках и, как следствие, к затоплениям. Таким образом, история китайских наводнений — результат непреднамеренно созданного механизма [31. С. 162]. Конечно, когда крестьяне производили вырубку деревьев, они не рассчитывали на такой конечный результат — контрфинальность стала результатом длительной истории, где каждый крестьянин действовал рационально, исходя из индивидуальной необходимости, но в совокупности эти действия приводят к последствиям, которые подрывают изначальные цели. В этом примере контрфинальность есть компиляция ряда действий, и ее жертвами являются, прежде всего, сами крестьяне, хотя, скорее всего, и более широкие круги. Этот пример стал классическим, на него ссылаются многие исследователи контрфинальности [13; 34], но она может иметь и несколько иной вид.

По Сартру, первая промышленная революция в Англии породила множество контрфинальных результатов. Во-первых, привела к загрязнению воздуха для постоянно растущего городского населения. Вред от грязного воздуха, которым приходилось дышать сконцентрированным на больших заводах рабочим, влиял на их здоровье и работоспособность. Для буржуазии индустриализация принесла иную контрфинальность — поддержание нормального уровня частоты в городах требует огромных средств [31. С. 194]. Если в первом примере мы точно знаем цели крестьян и как они были подорваны теми же действиями, которые вели к целям, то в этом примере понятие контрфинальности оторвано от целей рабочих и буржуазии — это скорее негативные издержки, атрибут классовой борьбы.

Контрфинальность есть результат действий людей, но она возникает не только по вине людей. Сартр выделяет три условия контрфинальности: первое условие состоит в некоей диспозиции материи — она не зависит от целей человека, поэтому есть условия, в которых действия людей в лучшем случае могут лишь способствовать снижению и отдалению контрфинальных последствий. Например, наводнения в Китае происходили не только потому, что крестьяне вырубали деревья. Чтобы предотвратить наводнения, им, наоборот, нужно было сажать деревья, но это было невозможно, потому что им надо было чем-то питаться. Вторым условием контрфинальности является инертность человеческой практики, т.е. она должна стать регулярной (повторяемой). Деревья в Китае могли быть уничтожены и пожарами, но крестьяне ускорили достижение контрфинальности. И, в-третьих, такая практика должна быть повсеместной — каждый крестьянин должен был заниматься вырубкой леса. В этих трех условиях заключена попытка теоретического обоснования понятия «контрфинальность»: 1) объективные условия, которые под воздействием людей порождают контрфинальность; 2) повторяемость и абсолютность деятельности человека (временная перспектива — контрфинальность может производиться сотни, а то и тысячи лет); 3) пространственное расположение практики или действующих людей. Эти три условия — объективность, регулярность и пространственность — образуют хоть и размытую, но связную характеристику, на которую ориентируются исследователи контрфинальности сартрианского толка [14; 36].

Сартровская трактовка контрфинальности вызывает некоторые затруднения: она толкуется и как «проклятие, которое преследует человеческие действия» [20. С. 136], и как «скрытый смысл истории» [14]. В то же время контрфинальность — контингентное свойство истории, необходимое и даже и неизбежное [31. С. 124]. Однако многие идеи Сартра о контрфинальности играют важную роль для ее социологической концептуализации: в частности, его взгляды на пространственно-временные характеристики контрфинальности могут быть использованы в изучении социальных взаимодействий и функциональных последствий контрфинальности.

Социологическое определение контрфинальности как социального противоречия и фактора социальных изменений

Спустя восемнадцать лет после выхода работы Сартра попытка концептуализации контрфинальности была предпринята Элстером. В небольшой статье 1976 года, посвященной критике Р. Будона, Элстер использует понятие «контрфинальность» для обозначения противоречий и парадоксов, ссылаясь на Сартра, но интерпретируя понятие по-новому: контрфинальность — «отрицательные непреднамеренные последствия, которые возникают, когда каждый актер в группе действует на основе не универсальных предположений о поведении других» [17. С. 733]. Через два года, в 1978 году, выходит книга Элстера «Логика и общество», где пятая глава посвящена анализу социальных противоречий: Элстер дает не только более фундаментальное определение контрфинальности, но и помещает понятие в отличный от Сартра контекст. Если у Сартра контрфинальность — это придаток истории, то у Элстера — результат взаимодействия рациональных индивидов в определенных ситуациях. Элстер дает два определения контрфинальности: непреднамеренные последствия, вызванные несоординированными действиями [18. С. 96], и непреднамеренные последствия того, что каждый человек в группе действует на основе такого предположения о своих отношениях с другими, что при обобщении они дают противоречие в выводе (ошибка композиции), хотя антецедент истинен [18. С. 106].

Во-первых, здесь сделан акцент на непреднамеренных последствиях, однако контрфинальность у Элстера — более узкое и сложное понятие, чем просто феномен непреднамеренных последствий. Во-вторых, определение в этом плане более информативно: «каждый человек действует в группе», «противоречие» и «ошибочность композиции» — в этих понятиях обнаруживается принципиальное отличие определения контрфинальности Элстера от описаний Сартра. Остановимся на каждом из них подробнее.

Акцент на возникновении контрфинальности, прежде всего, из действий акторов, а не каких-то других сил и обстоятельств, выражает позицию Элстера как сторонника методологического индивидуализма, согласно которому социальные явления объяснимы только с точки зрения действий, целей и убеждений индивидов. Эта позиция часто критикуется на том основании, что действия людей — социально сконструированное следствие сложности социальных отношений [12. С. 8]. Поэтому индивидуальные действия основаны скорее на социальных отношениях, а не только на целях и средствах, которые выбирают действующие индивиды, поэтому людям сложно предсказать все последствия своих и чужих действий (такова критика теорий рациональных действий).

Э. Гидденс также усматривает ограничения в приверженности Элстера принципам методологического индивидуализма. По его мнению, контрфинальность как социальное противоречие — неотъемлемая характеристика структурных условий воспроизводства системы [4. С. 426]. Поэтому позиция

Элстера весьма ограничена, но дополнение его идей позволить наметить подход, более значимый для социальной теории и открывающий широкие возможности эмпирического исследования. Гидденс предлагает в качестве такого дополнения свою теорию структурации.

Контрфинальность, по Элстеру, есть социальное противоречие, которое, тем не менее, связано с логическим противоречием, поэтому он вводит в свое определение понятие «ошибка композиции». Под ним подразумевается ошибочность вывода о том, что то, что возможно для каждого отдельного человека, должно быть возможным для всех одновременно. Такое утверждение теоретической связи между социальными и логическими противоречиями оказалось смелым, но уязвимым. Критики отмечают, что связь социальных противоречий с логическими противоречиями — поверхностный риторический прием [37. С. 599]. Контрфинальность — это, по сути, противоречие между ожидаемым результатом и фактическим, и здесь не требуется никакого логического противоречия. Менее радикальный взгляд на позицию Элстера подразумевает пояснения и уточнения «ошибки композиции». В этом понятии, а, следовательно, и в определении контрфинальности подразумевается наличие ограничений [23. С. 167] — прежде всего структурных, которые порождают контрфинальность. Иначе говоря, имеются обстоятельства и ситуации, которые не зависят от человека и порождают условия для контрфинальности. Например, рынок налагает определенные ограничения на производство: имеется предел, преодолевая который можно получить эффект контрфинальности.

Существует несколько вариантов интерпретации «ошибки композиции». Тот вариант, которого придерживается Элстер, исходит из одновременности убеждений, т.е. ошибка композиции возникает, если каждый индивид придерживается таких убеждений о других, которые не могут быть устойчивы, если таких убеждений придерживаются все одновременно. Контрфинальность возникает, потому что по самой своей природе такие убеждения могут быть эффективны, только если их придерживаются один или несколько человек, но не все одновременно [12. С. 6–7]. Однако такой подход видится ряду авторов нереалистичным, потому что нет оснований полагать, что люди будут придерживаться таких убеждений. Элстер опирается на теорию игр, когда приводит примеры контрфинальности, поскольку игры не представляют собой часто повторяющиеся действия и потому существуют как бы в замкнутой системе. Однако большинство реальных взаимодействий представляют собой повторяющиеся действия, на которых люди учатся и могут менять убеждения и действия, поэтому в примерах Элстера люди выглядят весьма наивными [12. С. 8].

Ошибка композиции может иметь и альтернативную форму, если за основу берутся не убеждения, а прогнозы о последствиях действий. Человек может предсказать последствия своих действий, но сложность социальных отношений такова, что однозначно предсказать результаты и последствия

множества одновременных действий нельзя [12. С. 8] — это аргумент ограничений.

Помимо нескольких определений контрфинальности можно выделить четыре концептуальных замечания. Во-первых, фраза «действуют на основе такого предположения» не обязательно должна интерпретироваться в психологической манере [18. С. 108]. Можно строить предположения о положении дел на рынке или об изменении политической системы, которые не зависят от поведения конкретных индивидов. Еще три замечания относительно определения контрфинальности касаются ограничений понятия «непреднамеренные последствия»: 1) контрфинальность ограничивается теми непреднамеренными последствиями, которые возникают вместо предполагаемого результата, а не в дополнение к нему (контрфинальность — это всегда противоположность изначальным интенциям и целям акторов); 2) контрфинальность означает непреднамеренные последствия, которые влияют и на самих участников действия, а не только на других людей (важный предикат «не только» означает, что контрфинальность не обязательно ощущается только участниками действия, но иногда и другими, хотя участники действия полностью включены в «группу жертв» контрфинальности, а в некоторых случаях идентичны ей); 3) контрфинальность — результат статистического суммирования определенного количества индивидуальных (и рациональных) действий, которые приводят к непреднамеренным последствиям иным способом, чем в индивидуальных случаях (непреднамеренные последствия индивидуальных действий возникают по причине «отсутствия понимания технических отношений “цель–средство”»), а контрфинальность есть следствие «неправильных предположений об исходных условиях») [18. С. 109].

Эти три отличия понятия «контрфинальность» от типичных представлений о непреднамеренных действиях выглядят как ее важные свойства, но не вполне корректны для эмпирического описания реальных противоречий. Элстер приводит множество примеров контрфинальности, которые можно найти практически во всех сферах взаимодействия акторов, но эти примеры — только иллюстрации. Если проанализировать их с точки зрения тех теоретических ограничений, о которых пишет Элстер, то можно получить более детальное представление о контрфинальности. Разберем несколько примеров.

«В лекционном зале, где каждый встает на ноги, чтобы лучше видеть докладчика, никто не сможет его увидеть» [18. С. 110]. В этом примере индивидуальные действия людей выглядят рациональными — чтобы лучше видеть докладчика, можно приподняться. Если это делает один человек, то нет ничего страшного помимо того, что он может мешать другим слушателям. Тогда они тоже могут встать и создавать неудобства другим. В конце концов все слушатели встанут, и их индивидуальные рациональные действия приведут к многочисленным нерациональным последствиям, которые представляются вполне логичными. Но давайте зайдём в аудиторию и посмотрим, что произойдет, если все слушатели встанут одновременно. Все ли они не смогут

увидеть докладчика? Очевидно, что нет: те слушатели, кто будут сидеть в первом ряду, независимо от того, стоят они или сидят, будут хорошо видеть докладчика. Даже те, кто сидит во втором, возможно, даже в третьем ряду, также будут хорошо видеть докладчика. В итоге только часть действующих акторов пострадает от контрфинальности. Но без тех, кто сидит в первых рядах, контрфинальность не смогла бы наступить: они — важные участники производства контрфинальности, но не являются ее жертвами. Получается, что контрфинальность касается, прежде всего, тех, кто принимал активное участие в процессе ее производства: жертвами контрфинальности являются, прежде всего, участники процесса ее производства — полностью или частично, в большей или в меньшей степени.

Другой пример связан с работой банковской системы: «Когда все одновременно хотят снять деньги с депозита, никто не может получить то, что хочет» [18. С. 110]. Контрфинальность происходит, потому что банковская система не позволяет всем людям одновременно получить деньги. Банк зарабатывает на том, что люди вкладывают в него деньги, и если все вкладчики захотят снять деньги одновременно, да еще с процентами, то банк просто не сможет выдать все вклады — банковская система устроена таким образом, что эти вклады не лежат в сейфе и не ждут своего дня. Банк выдает из этих сумм кредиты и ипотеки, таким образом зарабатывая и себе и вкладчикам. Это пример контрфинальности, где важную роль играют структурные ограничения. Конечно, множество действий в совокупности приводят к противоположным результатам, но сами эти результаты связаны именно со структурными ограничениями. В этом примере, помимо действий клиентов банка и структурных ограничений, имеются информационный фон, который касается работы банковской системы, и ограничения во времени действия.

Элстер также приводит иллюстрации контрфинальности из политической сферы, экономической теории и марксистской традиции. Такое разнообразие примеров позволяет лучше понять его подход, но в то же время создает впечатление одностороннего анализа [19. С. 140]. Например, когда Элстер пишет о падении нормы прибыли и объясняет это действиями капиталистов, которые хотели повысить прибыль за счет снижения заработной платы, он прав, но, с другой стороны, падение нормы прибыли обеспечивается теми обстоятельствами, при которых действуют капиталисты, т.е. данное противоречие является структурным свойством системы капиталистического производства, и тогда контрфинальность следует объяснять как системное противоречие [19. С. 141].

Наконец, следует сказать о связи контрфинальности с социальными изменениями. Главная идея Элстера такова: «Аргумент затрагивает связь между изменением, противоречиями, структурными условиями и политическими действиями. Основной тезис заключается в том, что при определенных структурных условиях, таких как пространственная близость членов группы или низкий уровень текучести внутри группы, противоречия, как правило, порождают коллективные действия с целью преодоления противоречий. Эти

коллективные действия могут привести к изменениям или же к их прекращению, если преодолеваемое противоречие является движущей силой изменений. Если, с другой стороны, противоречия — стабильные черты общества, политический процесс приведет к изменениям в случае его успеха. Поэтому, поскольку коллективное действие может как предотвращать, так и генерировать изменения, условия такого действия могут действовать как условия стабильности и как условия изменений. В этом смысле я предлагаю дуальную теорию социальных изменений» [18. С. 134].

Таким образом, все теоретические построения вокруг реальных противоречий касаются, прежде всего, задачи создания новой теории изменений, которая по сути является реакцией на эти противоречия (они имеют негативный характер и пагубно влияют на позитивные цели акторов). Когда группа не может достигнуть своей цели, она старается разобраться в проблеме, чтобы в следующий раз поступать иначе. Сосредотачиваясь на этих изменениях, подход Элстера представляется однонаправленным — только на работу с последствиями контрфинальности, хотя она сама является последствием других, не менее важных событий. Чтобы понять, что такое контрфинальность, нужно более детальное описание условий ее производства, но Элстер ничего не говорит о процессе производства контрфинальности, о том, что не только действия людей приводят к ней, но и другие ограничения — во времени, пространстве, информации и т.д.

Резюмируя идеи Элстера, следует отметить, что контрфинальность — это не только логический конструкт, объект философских рассуждений, а реальное противоречие, феномен социальной жизни, который встречается повсеместно. Контрфинальность — это непреднамеренные последствия, возникающие не только как результат статистического суммирования индивидуальных рациональных действий, но и как характеристика пространства и времени, структурных условий и информационных систем.

Все высказанные выше замечания касаются не только определения контрфинальности Элстером, но и ее социологической интерпретации в целом. В современной социологии и других социальных науках немало работ, посвященных теоретическим исследованиям контрфинальности, и все чаще она рассматривается и эмпирически — не как негативные последствия истории, а как частный аспект социальной жизни. Контрфинальность можно наблюдать и в политике [13], и в информационных технологиях [22], и в повседневной городской жизни [1]. Все это свидетельствует о том, что анализ контрфинальности не только не потерял актуальности, но и получил развитие, требуя сосредоточения на условиях ее возникновения и включения в структуру социальных действий. Будущие исследования контрфинальности должны быть направлены на детальное описание условий и факторов ее производства. Несмотря на то, что концепция контрфинальности несколько отличается от теории непреднамеренных последствий, те первоначальные аспекты, что учитывал в изучении последних Мертон, релевантны и для контрфинальности (пространственно-временные характеристики, структура ситуации, информационный фон, а также роль интенциональности).

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-697-710

‘Counterfinality’ in sociological theory: Reconceptualization of the concept*

I.A. Latypov

National Research University Higher School of Economics
Myasnitskaya St., 11, Moscow, 101000, Russia
(e-mail: ialatypov@hse.ru)

Abstract. Counterfinality is defined as unintended consequences of the uncoordinated actions of rationally acting individuals. Even before the concept was introduced by Sartre and developed by Elster, counterfinality was considered by many scholars. Some defined counterfinality as a type of social paradoxes and dilemmas, others — as an outcome of social interaction. Description and analysis of such social contradictions and paradoxes can be found in the works of Hobbes, Mandeville, Smith, Marx and Hegel. In the 20th century, sociologists also considered the issue of unintended consequences. Many classic papers of Merton contributed to the sociological analysis of the unintended consequences of intentional actions. Subsequent works focused on their classifications, and the phenomenon of counterfinality was highlighted in almost every classification. The term ‘counterfinality’ was introduced by Sartre as an ‘appendage of history’, an unforeseen consequence of many interactions. The sociological study of counterfinality was initiated by Elster. He analyzes counterfinality not within the functionalist paradigm, but in the methodological individualism perspective, and for him, counterfinality acts as a basis for social change. The author’s analysis of the main ideas of Sartre, Elster and other authors on counterfinality reveals its distinctive features in general and in the sociological analysis of social action in particular. The author argues that today the counterfinality theory consists mainly of responses and criticism of the ideas of Sartre and Elster, and that further sociological research should focus on conditions, features and consequences of counterfinality, and on its empirical indicators.

Key words: counterfinality; intentional action; unintended consequences; space; time; contradiction; rational action; social dilemma; sociological theory

Библиографический список / References

- [1] Баньковская С. Понятие гетеротопичной среды и экспериментирование с ней как с условием устойчивого нецеленаправленного действия // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1–2 / Bankovskaya S. Ponyatie geterotopichnoy sredy i eksperimentirovanie s ney kak s usloviyem ustoychivogo netselenapravlennoogo deystviya [The concept of heterotopic environment and experimentation with it as a condition of the stable purposeless action]. *Russian Sociological Review*. 2011; 1. (In Russ.).
- [2] Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения. М., 1990 / Weber M. *Protestantskaja etika i duh kapitalizma. Izbrannye proizvedeniya* [Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism]. Moscow; 1990. (In Russ.).
- [3] Гегель Г.Ф. Лекции по философии истории. СПб., 2000 / Hegel G.F. *Lektsii po filosofii istorii* [Lectures on the Philosophy of History]. Saint Petersburg; 2000. (In Russ.).
- [4] Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуризации. М., 2005 / Giddens A. *Ustroenie obshhestva: Ocherk teorii strukturatsii* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration]. Moscow; 2005. (In Russ.).

* © I.A. Latypov, 2021

The article was submitted on 26.06.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

- [5] Гоббс Т. Левиафан. М., 2001 / Hobbes T. *Leviathan* [Leviathan]. Moscow; 2001. (In Russ.).
- [6] Мандевиль Б. Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — блага для общества. М., 2000 / Mandeville B. *Basnja o pchelakh, ili Poroki chastnyh lits — blaga dlja obshhestva* [The Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits]. Moscow; 2000. (In Russ.).
- [7] Маркс К. Экономические рукописи 1857–1861 гг. Ч. 1. М., 1980 / Marx K. *Ekonomicheskie rukopisi 1857–1861 gg.* [Economic Manuscripts of 1857–1861]. Part 1. Moscow; 1980. (In Russ.).
- [8] Мертон Р.К. Непреднамеренные последствия преднамеренного социального действия // Социологический журнал. 2009. № 2 / Merton R.K. *Neprednamerennye posledstviya prednamerennogo sotsialnogo deystviya* [Unanticipated consequences of the purposive social action]. *Sotsiologicheskij Zhurnal*. 2009; 2. (In Russ.).
- [9] Поннер К. Нищета историцизма. М., 1993 / Popper K. *Nishheta istoritsizma* [Poverty of Historicism]. Moscow; 1993. (In Russ.).
- [10] Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2007 / Smith A. *Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov* [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations]. Moscow; 2007. (In Russ.).
- [11] Baert P. Unintended consequences: A typology and examples. *International Sociology*. 1991; 6 (2).
- [12] Barnes T.J., Sheppard E. Is there a place for the rational actor? A geographical critique of the rational choice paradigm. *Economic Geography*. 1992; 68 (1).
- [13] Baugh B. The inertia of the arms race: A Sartrean perspective. *Journal of Value Inquiry*. 1992; 26 (1).
- [14] Boria D. Creating the Anthropocene: Existential social philosophy and our bleak future. Hanna P. (Ed.). *Anthology of Philosophical Studies*. Vol. 10. Athens; 2016.
- [15] Boudon R. *The Unintended Consequences of Social Action*. London; 2016 (1982).
- [16] De Zwart F. Unintended but not unanticipated consequences. *Theory and Society*. 2015; 44 (3).
- [17] Elster J. Boudon, education and the theory of games. *Social Science Information*. 1976; 15 (4–5).
- [18] Elster J. *Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds*. Chichester; 1978.
- [19] Giddens A. *Central Problems in Social Theory*. London; 1979.
- [20] Hadari S.A. Unintended consequences in periods of transition: Tocqueville’s ‘Recollections’ revisited. *American Journal of Political Science*. 1989; 33 (1).
- [21] Hirschman A.O. *The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy*. Cambridge — London; 1991.
- [22] Kaasbøll J.J. How evolution of information systems may fail: Many improvements adding up to negative effects. *European Journal of Information Systems*. 1997; 6 (3).
- [23] Lebowitz M.A. Analytical Marxism and the Marxian theory of crisis. *Cambridge Journal of Economics*. 1994; 18 (2).
- [24] Mennell S. ‘Individual’ action and its ‘social’ consequences in the work of Norbert Elias. Korte H. (Ed.). *Human Figurations. Essays for Norbert Elias*. Amsterdam; 1977.
- [25] Mica A. *Sociology as Analysis of the Unintended: From the Problem of Ignorance to the Discovery of the Possible*. London; 2018.
- [26] Mica A. Weber’s ‘essential paradox of social action’: What can sociology of the unintended learn from public policy analysis? *Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja*. 2014; 23.
- [27] Nozick R. *Anarchy, State, and Utopia*. New York; 1974.
- [28] Nozick R. Invisible-hand explanations. *American Economic Review*. 1994; 84 (2).
- [29] Portes A. *Economic Sociology: A Systematic Inquiry*. Princeton — Oxford; 2010.
- [30] Portes A. The hidden abode: Sociology as analysis of the unexpected: 1999 presidential address. *American Sociological Review*. 2000; 65 (1).

- [31] Sartre J.P. *Critique of Dialectical Reason. Vol. 1: Theory of Practical Ensembles*. London; 2004 (1960).
- [32] Schneider L. *The Sociological Way of Looking at the World*. New York — St. Louis; 1975.
- [33] Sieber S. *Fatal Remedies. The Ironies of Social Intervention*. New York — London; 1981.
- [34] Snedeker G. Reviewed work(s): The work of Sartre by István Mészáros. *Science & Society*. 2014; 78 (2).
- [35] Sorrel T. Hobbes's moral philosophy. Springborg P. (Ed.). *Cambridge Companion to Hobbes's Leviathan*. Cambridge; 2007.
- [36] Turner Ch. The Return of Stolen Praxis: Counter-Finality in Sartre's Critique of Dialectical Reason. *Sartre Studies International*. 2014;20(1):36–44.
- [37] Van Parijs Ph. Perverse Effects and Social Contradictions: Analytical Vindication of Dialectics? Ed. by R. Boudon, J. Elster. *British Journal of Sociology*. 1982; 33 (4).



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-711-721

Проблема демаркации мифологических сообщений в коммуникативном пространстве современной культуры: междисциплинарный подход*

О.Н. Стрельник

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198
(e-mail: strelnik-on@rudn.ru)

Аннотация. В статье анализируется миф как элемент социальных коммуникаций, воспроизводимый в архаике и в современности. Цель анализа — поиск критериев, по которым можно выделить мифологические сообщения в общем корпусе коннотативных сообщений. Эмпирическим «полем» выступает сфера масс-медиа. Автор придерживается междисциплинарных принципов исследования и представляет в статье экспозицию различных подходов к изучению мифа, некоторые идеи которых могут быть объединены в междисциплинарном синтезе. В современной культуре миф остается одним из актуальных способов конструирования смысла. И в современном, и в архаическом мифе выражает себя единый тип мышления, логика которого не сводится к «логике эмоций» или научной нормативности. В статье проводится различие между нормальными и «превращенными» формами мифа и утверждается, что проблема демаркации мифологического возникает исключительно в отношении «превращенных» форм. В остальных случаях миф, при всей его видимой вездесущности, остается побочным продуктом коммуникаций, не искажает их основного содержания и не «паразитирует» на их форме. В статье проводится аналогия между тем, как функционирует мифологическое мышление в архаике, и способами формирования мифологического содержания в сообщениях современных средств массовой информации (далее — СМИ). Автор приходит к выводу, что в мифологических сообщениях искажается исходная функциональная направленность СМИ: функция информирования в «превращенной» форме (масс-медиа + миф) подменяется функцией мотивирования. Код масс-медиа «информация/не информация» искажается, ценностно-нагруженные смыслы выдаются за системы фактов, а образ реальности — за саму реальность. Задача демаркации мифологических сообщений решается путем фиксации искажения содержания исходной формы культуры и подмены ее функций. Наличие такой трансформации является необходимым, хотя и недостаточным критерием отграничения мифологических сообщений в коммуникативном пространстве современной культуры.

Ключевые слова: миф; коммуникация; мифологическое мышление; мифологическое сообщение; функции мифа; мифотворчество; «превращенная» форма мифа; квази-форма; масс-медиа; культурная форма; код, междисциплинарный подход

Теоретические основания решения проблемы демаркации мифологических сообщений

Прояснение природы мифа трудно назвать новой задачей. Миф и мифологическое остаются предметами осмысления на протяжении всей истории

* © Стрельник О.Н., 2021

Статья поступила 22.05.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

философии. В «критике» мифа философия устремляется к некоторому внешнему для нее предмету и проясняет собственную специфику, происхождение и границы. Философский анализ формы мифа, а не его конкретного содержания или эффективности частной мифотворческой технологии остается актуальной теоретической задачей, которая может решаться на путях междисциплинарного синтеза. Исследования мифа и мифологического мышления проводились на разных дисциплинарных основаниях, и, вероятно, междисциплинарный диалог способен продвинуться в понимании этого предмета дальше, чем описание эффективности разного рода манипулятивных технологий. Далее представлены ключевые концепции мифа, которые классифицированы по «дисциплинарному» принципу (возможны иные основания классификации при решении других исследовательских задач).

Антропологический подход объединяет исследователей, которые рассматривают миф исключительно как элемент первобытного сознания. Миф может пониматься по-разному: выражение бессознательной фантазии древнего человека и одушевление природы (Э.Б. Тайлор) [24], проявление дологического мышления (Л. Леви-Брюль) [10], «теоретический» аспект магии, выраженный в виде ритуального текста, «слепок» ритуала (Д.Д. Фрэзер) [26], переживаемая первобытным человеком реальность доисторических событий, воспроизводимая в обрядах и ритуалах (Б. Малиновский) [16].

Представителей *лингвистического подхода* объединяет взгляд на миф как на языковой феномен: язык предшествует мифу, миф произведен от языка. Миф может пониматься как «болезнь языка» (М. Мюллер), как производная по отношению к языку система, специфическое словесное произведение, простейший акт познания, в котором субъективный образ вещи не отделяется от самой вещи (А.А. Потебня) [22. С. 240–243, 259], как истолкование природных явлений путем перенесения на них психических свойств человека (миф существует только в рамках религиозного культа и представляет собой не только языковой, но и психологический феномен (А.Н. Веселовский) [2. С. 302]).

Социологический подход «выводит» миф из социальной коммуникации, понимая его как отражение социального устройства, «коллективную галлюцинацию», первую форму коллективного понимания и переживания социальной реальности, т.е. мифологическое мышление сосредоточено в коллективных представлениях (Э. Дюркгейм) [32], инспирируемых группой у ее членов. Мифология — результат рубрикации мира, основанный на социальной детерминации, классификация, которая черпает свои принципы в религиозных верованиях, а не в научных понятиях.

Философско-психологический подход рассматривает миф как первобытную синкретическую форму сознания, результат объективации аффектов и эмоций, которые не осознаются как субъективная деятельность и переносятся на природу (олицетворяющая апперцепция) (В. Вунд) [4]. Мифологическое мышление объединяет в себе чувственно-образные и абстрактно-понятийные компоненты, и есть допонятийное мышление образами (В.М. Найдыш) [19].

Субъект такого мышления «не обладает способностью соотносить себя с объектом, не осознает себя как носителя сознания, не включает себя в процесс познания, не умеет мысленно преобразовывать ту систему координат, в которой находится, и вносить в результат познания поправки на особенность своей позиции» [18. С. 33]. Миф предстает как неразвитая форма сознания, преодолена в рамках общей логики развития культуры от «мифа к логосу» (Ф.Х. Кессиди) [8. С. 41], но может воспроизводиться в массовом сознании в кризисные моменты.

Философско-культурологический подход — это линия теоретической реабилитации мифа. Его представителей объединяет отношение к мифу как к самоценному способу бытия и восприятия действительности, основанию культуротворчества. Миф рассматривается как поэтическая мудрость древнейших времен, в которой знание не отделено от умения (В. Вико) [3]; повторение процесса природы в человеческом сознании (Ф.В. Шеллинг) [28]; способ бытия (А.Ф. Лосев) [12] и система мышления (К. Хюбнер) [27], которые имеют непреходящую ценность, и потому этот опыт следует постигать из него самого; сакральная реальность и история — источники жизненных сил культуры (М. Элиаде) [29]; «упакованная» в образы и метафоры традиция (М.К. Мамардашвили) [17]; имагинативный объект мифа не только выдумка, но и познанная тайна объективного мира (Я.Э. Голосовкер) [5]. Добавим, что названных философов объединяет и то, что для них миф, будучи культурным, социальным и антропологическим феноменом, все же отчасти тайна.

Символический подход представлен концепцией Э. Кассирера: в отличие от представителей философско-культурологического подхода, он строит не онтологию, а гносеологию, понимая миф как автономную форму культуры с особой логикой. Миф — замкнутая самодостаточная символическая система, форма мышления, в которой происходит исторически первое упорядочение реальности. Мифологическое мышление — особый способ объективации чувственных данных, когда мысль остается в плену чувственного (ощущений и восприятий) [7], что, впрочем, не умаляет ценности мифа как одной из форм культуры.

Психоаналитический подход рассматривает миф как результат функционирования бессознательного, но далее позиции различаются. Миф понимается как коллективная фантазия невротического происхождения (З. Фрейд) [25], параноидальная структура, символически замаскированные остатки социально неприемлемых желаний и фантазий наций (О. Ранк) [23], воплощение коллективного бессознательного, высказывание бессознательной души о самой себе (К.Г. Юнг) [30], выражение архетипических стадий формирования сознания (Э. Нойманн) [21], общая матрица личностного роста, которая неизменно воспроизводится в обрядах инициации, древних мифологиях, сказках и снах отдельных людей (Дж. Кэмпбэлл) [9].

Семиологический подход определяет миф как один из способов означивания реальности, феномен одновременно всеобщий и повседневный, внутри- и

внелингвистический. Миф понимается как первичный язык, с помощью которого человек моделирует мир и самого себя (Ю.М. Лотман) [13], как язык, в котором смысл отделился от языковой основы, и суть мифа — рассказанная в нем история, а смысл определяется не отдельными элементами, а способом их комбинации (К. Леви-Строс) [11], как вторичная семиологическая система, которая надстраивается над естественным языком, деформируя и «похищая» его (Р. Барт) [1].

Социально-политический (политологический) подход является основой большинства современных исследований мифа, в которых акцентируется социальная специфика мифа, прежде всего мифа политического (П.С. Гуревич, А.М. Цуладзе, Н.И. Шестов, В.С. Полосин, А.Н. Савельев, А.М. Лобок, С.Г. Кара-Мурза, Г.Г. Почепцов, А.Н. Колев, А.В. Веретевская, Д.И. Гигаури, К.Ф. Завершинский и др.). Зарубежные авторы изучают приемы политического PR и пропаганды, медиа-манипуляции, мифотворчество в рекламе, политических и рекламных коммуникациях, т.е. исключительно в прикладном ключе. Миф в рамках этого подхода понимается как скрытая часть идеологии, средство манипуляции сознанием, система ложных «фактов», которые в массовом сознании предстают как истина, а мифотворчество интерпретируется как практика создания, распространения и поддержания политических иллюзий.

Эвристический потенциал многих из перечисленных концепций мифа не исчерпан и может быть реализован в междисциплинарном исследовании вопросов, связанных с функционированием мифа в современной культуре, в частности, при решении проблемы демаркации мифологических сообщений в общем корпусе коннотативных сообщений на примере сферы масс-медиа. Но прежде — несколько тезисов, на которых базируется наша интерпретация. Во-первых, попытки выдворить миф в сферу иллюзорного, вымышленного и «ложного» приводят к тому, что философия и наука обнаруживают давно отвергнутого, казалось бы, противника в собственных рядах. Подлинное ограничение власти мифологического начинается с признания роли мифа не только в архаике, но и в современности (философско-культурологический, символический и семиологический подходы).

Во-вторых, миф не является «недоразвитой» формой сознания, но, напротив, остается одним из способов конструирования человеческой реальности и устойчивым типом социальной коммуникации, одним из способов конструирования смысла (социологический, социально-политический и семиологический подходы).

В-третьих, в мифе (архаическом и современном) выражает себя единый тип мышления, логика которого не сводится к «логике эмоций» или нормативности научного мышления (символический подход Э. Кассирера).

В-четвертых, миф — это сообщение (семиологический подход), расшифровка и понимание смысла которого требуют прежде отграничения мифологических сообщений от любых других (языковых, религиозных, политических и пр.) в контексте социальной коммуникации, понимания их

специфики и функций. Семиологическая концепция Р. Барта предлагает эффективные методологические инструменты, будучи, с одной стороны, теорией медиа и массовой коммуникации, а, с другой, концепцией современного искусственно конструируемого мифа. Однако слабым местом модели Барта является отождествление всех коннотативных сообщений с мифологическими, что не позволяет выявить специфику именно мифологических сообщений [1. С. 243–249].

В-пятых, миф — элемент социальной коммуникации, воспроизводимый и в архаике, и в современности. «Выведение» мифа из социальной коммуникации характерно для социологического подхода, например, для Н. Лумана: «Для всех подсистем общества границы коммуникации... являются внешними границами общества. В этом и исключительно в этом подсистемы согласованы друг с другом. К этой внешней границе может и должна подсоединяться всякая внутренняя дифференциация, учреждая для отдельных подсистем различные коды и программы... Отличаясь в своих способах осуществления коммуникации, они отличаются и друг от друга» [15. С. 82].

В-шестых, необходимо различать нормальные и «превращенные» формы мифа: в первом случае миф находится в собственной сфере и выполняет свои культурные функции, во втором случае происходит смешение различных форм культуры, искажение их содержания и функций. В качестве примера «превращенной» формы культуры можно рассматривать политический миф, как он описан в работе Э. Кассирера «Миф о государстве» [31]. Политический миф появляется в результате оскудения или блокады символической способности, это своеобразный кентавр, возникающий из смешения трех элементов — мифа, технических навыков и политической силы, тогда как нормальное состояние культурного универсума предполагает автономное существование этих символических форм. Другими примерами «превращения» и смешения мифа с иными формами в современной культуре являются квазинаука (миф + наука) и квазилитература (миф + философия), где наблюдается существенное изменение базовых форм (наука, философия), смена их оснований, структуры и содержания, утрата основополагающих функций и в итоге не совсем очевидная роль. Отличить исходную форму от ее квазиформы без специальной теоретической рефлексии сложно, тем более что границы между ними часто относительны, а возможность «перетекания» одной в другую не исключена [20. С. 72].

В-седьмых, проблема демаркации мифологического возникает исключительно в отношении «превращенных» форм культуры, и ее решение находится посредством фиксации и анализа искажений содержания и функций культурных форм — когда используются чуждые для подсистемы общества (формы культуры) коды и программы. Так, современный миф традиционно сосуществует с религией и искусством, маскируется под науку (квазинаука), идеологию (политический миф), искажая исходную культурную форму, завоевывает пространство масс-медиа и социальных медиа. Кроме того, в современной

культуре появились «сегменты», где мифологические сообщения стали базовыми, например, реклама и отчасти PR. Все это — многообразные проявления мифологического. Проблема демаркации возникает исключительно в отношении «превращенных» форм мифа, когда происходит наложение, искажение или замена кодов. В остальных случаях миф либо находится «в собственной сфере», либо остается побочным продуктом коммуникаций, не искажая их основного содержания и не «паразитируя» на их форме.

Таким образом, решение проблемы демаркации мифологических сообщений следует искать на базе междисциплинарного синтеза идей символического семиологического и социологического подходов.

Мифотворчество в сфере масс-медиа и критерии демаркации мифологических сообщений

Миф — начальная фаза развития культуры, а потому он менее всего знаком современному человеку в том смысле, что в современности мы чаще имеем дело с его «превращенными» формами. У мира непосредственного опыта современного человека, мира повседневных практик, множество мифологических черт. Мифологические мотивы обнаруживаются «вплоть до структуры нашего мировосприятия, т.е. вплоть до той области, которую мы с наивной точки зрения обычно считаем собственно “действительностью”» [7. С. 27]. Сфера медиа — именно тот случай, когда нормальная и «превращенная» формы культуры сосуществуют в едином пространстве, перетекание одной в другую происходит почти незаметно, и лишь при специальном анализе можно зафиксировать использование чуждых кодов, искажение содержания и подмену функций.

Миф в современности, если речь не идет о его «превращенных» формах, при всей видимости его вездесущности, есть побочный продукт медийных коммуникаций. Он является подчиненным элементом сообщений социальных медиа, книг, фильмов, телерепортажей, фотографий и пр., он не вытесняет полностью их содержания и не паразитирует на их форме. В случае «превращенных» форм, напротив, миф становится основным продуктом коммуникации, мифотворчество — самоцелью, миф узурпирует культурную форму (медиа), вносит свой код и «наполняет» ее собственным содержанием.

Отталкиваясь от теоретического фундамента того философского анализа, который провел Кассирер, можно выделить несколько существенных свойств мифологического мышления и, используя метод аналогии, сформулировать критерии, которые позволяют маркировать мифологические сообщения в общем универсуме коннотативных сообщений масс-медиа.

Во-первых, в научном мышлении образование понятий происходит путем схватывания устойчивых существенных свойств вещей, сравнение и извлечение общего, понятие — это форма мысли, в которой обобщены и выделены предметы по общим и значимым для них признакам. Однако эмпирические данные могут быть упорядочены разными способами в зависимости от точки

зрения, с которой они рассматриваются, считает Кассирер, а понятие — это не продукт сходства вещей, а условие полагания такого сходства. В мифологическом мышлении в процессе формирования понятий реализуется неосознаваемая функция выделения отдельного, бросающегося в глаза свойства вещи или явления и фиксации внимания на нем. Кассирер называет ее функцией «замечаемости». Такое «выхватывание» фиксирует внимание на определенном содержании, что создает основу для его познания. «Эта черта обособленности, этот характер “необычайности” существенны для каждого содержательного элемента мифологического сознания как такового, они прослеживаются от низшей до высшей ступени, от магического мирозерцания... до чистейших проявлений религии» [7. С. 90].

Мифологическое понятие формируется на основе выхватывания отдельных необычных, но не существенных свойств вещи, и кристаллизации смысла вокруг них. Аналогично осуществляется спонтанное и сознательное мифотворчество в масс-медиа. В недифференцированном информационном целом СМИ выхватывают частное неординарное событие, которое тиражируется и подается как общая «естественная» норма. СМИ в данном случае как автономная сфера современного общества решают задачу самовоспроизводства, что невозможно без интереса публики к медийному контенту. Именно неординарность представляемого и тиражируемого события привлекает внимание аудитории. Иными словами, решая задачу самосохранения, СМИ конструируют мифологические сообщения, в которых единичное и неординарное подается как естественный закон, общее правило или норма.

Во-вторых, сущностной особенностью мифологического мышления является «смешение» уровня образов и представлений, с одной стороны, и уровня вещей, с другой [6. С. 76]. Аналогично возникает мифологический эффект в работе СМИ, причем даже без специального умысла мифотворчества. Многократное повторение картинки, которую предлагают масс-медиа, и текста, который ее сопровождает, приводит к тому, что представление о реальности, которое фиксируется в визуальном образе и тексте, воспринимается как сама реальность, а образ и слово не обозначают, а существуют. Как в архаическом мифе нет противопоставления изображения и вещи, так и в мифологических сообщениях, конструируемых и транслируемых СМИ, нет противопоставления картинки и реальности. Там, где рациональное мышление видит игру слов и образов, мифологическое мышление (современное или архаическое) обнаруживает тождество сущностей. Отсутствие у потребителя медийного контента дистанции по отношению к предлагаемому образу приводит к тому, что конвенциональное маскируется под естественное. Чем сложнее система масс-медиа, тем больше у нее возможностей создания «реальности», далекой от объективного мира, своеобразной «трансцендентальной иллюзии» [14. С. 13], которую публика воспринимает как мир как он есть сам по себе.

В-третьих, принцип подведения единичного под общее — одно из оснований теоретического научного мышления, а основная его тенденция —

постепенное расширение содержания, движение от единичного и особенного к общему. Принцип мифологического мышления — напротив, сжатие содержания, и все, что не попадает в фокус, не замечается, остается для такого мышления невидимым. Аналогичный механизм — селекция тем (сжатие содержания) — обнаруживается и в производстве сообщений СМИ. Масс-медиа могут осветить любые факты, однако в информационную повестку попадают только некоторые из них. Из миллиона событий в фокус попадают сотни, выбор определяется ценностными фильтрами, которые искажают реальность, выдавая ограниченный набор фактов и их интерпретаций за полную картину происходящего, т.е. СМИ не фиксируют данное, а определяют, что именно «дано». Масс-медиа маркируют реальность, задавая сначала то, что будет считаться интересным, а затем через череду повторений — истинным. Подобное «сжатие содержания» происходит и в сознательном мифотворчестве, и без такой цели, когда не сами участники процесса (личности) диктуют информационную повестку, а повестка «диктует» им. «Сжатие содержания» и последующая мифологизация происходят и на уровне индивидуального восприятия. Человек замечает и отдает приоритет тем событиям и интерпретациям, которые подтверждают его привычную точку зрения, соответствуют сложившимся ценностям. Все, что не укладывается в эту схему, воспринимается в лучшем случае болезненно, в худшем — отбрасывается. «Сжатие содержания» происходит и при создании мифологических сообщений, и при их восприятии — это проявление того же процесса маскировки ценностного под естественное, «истории» — под «природу», смысла — под факт или систему фактов.

У медиа нет функции познания реальности, они «руководствуются не кодом истинное/ложное, но даже в их когнитивных программных областях подчиняются коду информация/не информация... Исключение неистинного не является существенным. В отличие от научной, масс-медийная информация не подвергается такой рефлексии, при которой... неистинное должно быть исключено еще до того, как утверждается истина» [14. С. 62]. Эта особенность обнаруживается и в мифологических сообщениях: исключение неистинного в них не играет никакой роли. Функция мифологических сообщений — ценностное означивание, в результате которого некоторый смысл выдается за систему фактов. Этот смысл связан с определенными ценностями и целями, он маркирует нечто как реальное, фиксируя как объективное и естественное то, что является лишь образом (картиной) реального. В мифологических сообщениях мы всякий раз имеем дело с маскировкой ценностного содержания под естественное и безусловное, не с описанием действительности и представлением вещей, а с эмоциональным воздействием и трансляцией ценностей. Мифологические сообщения обращены к эмоциям и подталкивают к действиям, их главная цель — не информировать или развлекать, а мотивировать.

Масс-медиа являются весьма эффективным инструментом конструирования мифологических сообщений и трансляции мифологического содержания в силу того, что создают правдоподобную символическую реальность, у

которой может не оказаться оснований в объективной действительности. Однако из-за многократного повторения символическая реальность воспринимается как гиперреальная. Посредством повторяющихся сообщений медиа вовлекают людей в общее смысловое пространство, которое формирует восприятие, а затем мотивирующие установки и действия.

В контексте социальных коммуникаций мифологические сообщения могут быть одновременно средством общения и передачи информации, но главным образом они являются инструментом влияния. Таким образом трансформируется и содержание, и исходная функция медиа: информирование в квазиформе заменяется мотивированием. Наличие подобной трансформации можно считать необходимым, хотя и недостаточным критерием демаркации мифологических сообщений в коммуникативном пространстве современной культуры. Достаточным можно было бы считать обнаружение определенного кода или кодов, которые формируют мифологическое сообщение.

Библиографический список

- [1] *Барт Р.* Мифологии. М., 2000.
- [2] *Веселовский А.Н.* Историческая поэтика. М., 1989.
- [3] *Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. М., 2018.
- [4] *Вунд В.* Проблемы психологии народов. М., 2018.
- [5] *Голосовкер Я.Э.* Логика мифа. М., 1987.
- [6] *Кассирер Э.* Философия символических форм. Т. 1. М., 2002.
- [7] *Кассирер Э.* Философия символических форм. Т. 2. М., 2011.
- [8] *Кессиди Ф.Х.* От мифа к логосу: Становление греческой философии. СПб., 2003.
- [9] *Кэмпбэлл Дж.* Тысячелетний герой. СПб., 2017.
- [10] *Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 2015.
- [11] *Леви-Строс К.* Структурная антропология. М., 2011.
- [12] *Лосев А.Ф.* Диалектика мифа. М., 2008.
- [13] *Лотман Ю.М.* Статьи по семиотике культуры и искусства. М., 2002.
- [14] *Луман Н.* Реальность массмедиа. М., 2005.
- [15] *Луман Н.* Общество как социальная система. М., 2004.
- [16] *Малиновский Б.* Магия, наука и религия. М., 2015.
- [17] *Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М.* Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. М., 1997.
- [18] *Найдыш В.М.* Мифотворчество в деятельности сознания // Вопросы философии. 2017. № 5.
- [19] *Найдыш В.М.* Философия мифологии XIX — начало XXI в. М., 2004.
- [20] *Наука и квазинаука.* М., 2008.
- [21] *Нойманн Э.* Происхождение и развитие сознания. М., 1998.
- [22] *Потебня А.А.* Слово и миф. М., 1989.
- [23] *Ранк О.* Миф о рождении героя. М., 2020.
- [24] *Тайлор Э.Б.* Первобытная культура. М., 1989.
- [25] *Фрейд З.* Психология масс и анализ человеческого «Я». СПб., 2018.
- [26] *Фрэзер Д.Д.* Золотая ветвь. М., 2019.
- [27] *Хюбнер К.* Истина мифа. М., 1996.
- [28] *Шеллинг Ф.В.* Философия мифологии. Т. 1. СПб., 2013.
- [29] *Элиаде М.* Аспекты мифа. М., 1996.
- [30] *Юнг К.-Г.* Душа и миф: Шесть архетипов. Киев, 1997.
- [31] *Cassirer E.* Der Mythos des Staates. Frankfurt a. M.; 1994.
- [32] *Durkheim E.* The Elementary Forms of Religious Life. Oxford; 2008.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-711-721

On the demarcation of mythological messages in the communicative space of contemporary culture: An interdisciplinary approach*

O.N. Strelnik

RUDN University
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198
(e-mail: strelnik-on@rudn.ru)

Abstract. The article considers myth as an element of social communication reproduced in both archaic and modern times. The author seeks criteria for identifying mythological messages in the general corpus of connotative messages. The empirical ‘field’ of the search is the mass media. The author follows the interdisciplinary research principles and presents a combination of various approaches to the study of myth. In the contemporary culture, myth remains one of the most relevant ways for constructing meaning. In both modern and archaic myths, there is a single type of thinking, the logic of which is not limited to the “logic of emotions” or scientific normativity. The author distinguishes normal and ‘transformed’ myths, and argues that the demarcation of the mythological is needed exclusively for ‘transformed’ myths. In other cases, despite its obvious ubiquity, myth remains a by-product of communications, does not distort their main content and does not ‘parasitize’ on their form. The article draws an analogy between how mythological thinking functions in the archaic and the methods for forming mythological content in the contemporary mass media. The author comes to the conclusion that the initial functional orientation of the mass media is distorted in mythological messages: in the ‘transformed’ media (media + myth), the function of informing is replaced by the functions of motivation. The mass media code ‘information/not information’ is distorted, values are presented as systems of facts, and the image of reality as reality itself. The demarcation of mythological messages can be achieved by identifying the distortion of the content and functions of the original form of culture. Such a transformation is a necessary but insufficient criterion for identifying mythological messages in the communicative space of contemporary culture.

Key words: myth; communication; mythological thinking; mythological message; functions of myth; myth-making; ‘transformed’ form of myth; quasi-form; mass-media; cultural form; code; interdisciplinary approach

References

- [1] Barthes R. *Mifologii* [Mythologies]. Moscow; 2000. (In Russ.).
- [2] Veselovsky A.N. *Istoricheskaya poetika* [Historical Poetics]. Moscow; 1989. (In Russ.).
- [3] Viko G. *Osnovaniya novoj nauki ob obshhej prirode natsij* [Principles of the New Science Concerning the Common Nature of Nations]. Moscow; 2018. (In Russ.).
- [4] Wundt W. *Problemy psikhologii narodov* [Psychology of Nations]. Moscow; 2018. (In Russ.).
- [5] Golosovker Ya.E. *Logika mifa* [The Logic of the Myth]. Moscow; 1987. (In Russ.).
- [6] Cassirer E. *Filosofiya simvolicheskikh form. T. 1* [The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. 1]. Moscow; 2002. (In Russ.).
- [7] Cassirer E. *Filosofiya simvolicheskikh form. T. 2* [The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. 2]. Moscow; 2011. (In Russ.).

* © O.N. Strelnik, 2021

The article was submitted on 25.05.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

- [8] Cassidy F.Kh. *Ot mifa k logosu: Stanovlenie grecheskoj filosofii* [From Myth to Logos: The Formation of Greek Philosophy]. Saint Peterburg; 2003. (In Russ.).
- [9] Campbell J. *Tysyacheliky geroj* [The Hero with a Thousand Faces]. Saint Petersburg; 2017. (In Russ.).
- [10] Levy-Bruhl L. *Sverhestestvennoe v pervobytnom myshlenii* [The Supernatural in Primitive Thinking]. Moscow; 2015. (In Russ.).
- [11] Levi-Strauss K. *Strukturnaya antropologiya* [Structural Anthropology]. Moscow; 2011. (In Russ.).
- [12] Losev A.F. *Dialektika mifa* [The Dialectics of the Myth]. Moscow; 2008. (In Russ.).
- [13] Lotman Yu.M. *Statyi po semiotike kultury i iskusstva* [Articles on the Semiotics of Culture and Art]. Moscow; 2002. (In Russ.).
- [14] Luhmann N. *Realnost massmedia* [The Reality of the Mass Media]. Moscow; 2005. (In Russ.).
- [15] Luhmann N. *Obshchestvo kak sotsialnaya sistema* [Society as a Social System]. Moscow; 2004. (In Russ.).
- [16] Malinowski B. *Magiya, nauka i religiya* [Magic, Science, and Religion]. Moscow; 2015. (In Russ.).
- [17] Mamardashvili M.K., Pyatigorsky A.M. *Simvol i soznanie. Metafizicheskie rassuzhdeniya o soznanii, simvolike i yazyke* [Symbol and Consciousness. Metaphysical Reasoning about Consciousness, Symbolism, and Language]. Moscow; 1997. (In Russ.).
- [18] Najdysh V.M. Mifotvorchestvo v deyatelnosti soznaniya [Myth-making in the activity of consciousness]. *Voprosy Filosofii*. 2017; 5. (In Russ.).
- [19] Najdysh V.M. *Filosofiya mifologii XIX — nachalo XXI v.* [The Philosophy of Mythology in the 19th — Early 20th Century]. Moscow; 2004. (In Russ.).
- [20] *Nauka i kvazinauka* [Science and Quasi-Science]. Moscow; 2008. (In Russ.).
- [21] Neumann E. *Proiskhozhdenie i razvitie soznaniya* [The Origin and History of Consciousness]. Moscow; 1998. (In Russ.).
- [22] Potebnya A. A. *Slovo i mif* [Word and Myth]. Moscow; 1989. (In Russ.).
- [23] Rank O. *Mif o rozhdenii geroya* [The Myth of the Birth of the Hero]. Moscow; 2020. (In Russ.).
- [24] Tylor E.B. *Pervobytnaya kultura* [Primitive Culture]. Moscow; 1989. (In Russ.).
- [25] Freud S. *Psikhologiya mass i analiz chelovecheskogo 'Ya'* [Group Psychology and the Analysis of the Ego]. Saint Petersburg; 2018. (In Russ.).
- [26] Frazer J.G. *Zolotaya vetv* [The Golden Bough]. Moscow; 2019. (In Russ.).
- [27] Hubner K. *Istina mifa* [The Truth of Myth]. Moscow; 1996. (In Russ.).
- [28] Schelling F.W. *Filosofiya mifologii. T. 1* [The Philosophy of Mythology. Vol. 1]. Saint Petersburg; 2003. (In Russ.).
- [29] Eliade M. *Aspekty mifa* [Aspects of the Myth]. Moscow; 1996. (In Russ.).
- [30] Jung K.-G. *Dusha i mif: Shest arhetipov* [Soul and Myth: Six Archetypes]. Kiev; 1997. (In Russ.).
- [31] Cassirer E. *Der Mythos des Staates*. Frankfurt a. M.; 1994.
- [32] Durkheim E. *The Elementary Forms of Religious Life*. Oxford; 2008.



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-722-738

Личностные характеристики участников фокус-группового исследования как фактор повышения качества данных*

Ж.В. Пузанова¹, Т.И. Ларина¹, А.Т. Гаспаршвили^{1,2,3},
К.В. Радкевич¹, С.В. Захарова⁴

¹Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ленинские горы, 1, Москва, 119234, Россия

³Институт социологии ФНИСЦ РАН
ул. Кржижановского, 24/35, Москва, 117218, Россия

⁴Клинский институт охраны и условий труда
ул. Дзержинского, 6а, Клин, 141607, Россия

(e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru; larina-ti@rudn.ru; gasparishvili@yandex.ru;
radkevich-kv@rudn.ru; svetlanochka.zakharova@gmail.com)

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на поиск методологических путей повышения качества социологической информации, получаемой в ходе фокус-группового обсуждения. Современная научная сфера меняется — наряду с появлением новых методов уже существующие, в том числе в пограничных научных областях, адаптируются под конкретные цели исследователей. Актуальным направлением совершенствования социологических методов является внедрение приемов анализа психологических аспектов поведения респондентов в ходе фокус-групп, так как неосознаваемые реакции могут указать исследователю на потенциальные смещения информации и повлиять на качество результатов проекта. На базе РУДН был проведен трехэтапный методический эксперимент с применением психологической методики «7 радикалов», системы кодирования специфического аффекта (SPAFF) и метода личностного дифференциала. На первом этапе целью эксперимента было изучение способности людей без специальных знаний в области психотипирования определить доминирующие радикалы в характере. На втором этапе целью стала оценка представителями разных психотипов друг друга для выработки рекомендаций по рассадке участников фокус-группы. На третьем этапе оценивалось качество данных, полученных в фокус-группах, где модератор имеет или не имеет специальные навыки (знание психотипов, FACS и SPAFF). В результате были разработаны рекомендации для модераторов, направленные на повышение эффективности работы с участниками фокус-групп и, как следствие, на повышение качества социологической информации. В статье дается оценка перспективам внедрения психологических методик в систему обучения модераторов фокус-групп и представлены рекомендации для модераторов, сформулированные по итогам многоэтапного эксперимента. Его результаты частично решают проблему качества данных, получаемых в ходе

* © Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Гаспаршвили А.Т., Радкевич К.В., Захарова С.В., 2021
Статья поступила 28.07.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

фокус-групп, за счет обучения модератора междисциплинарным приемам (SPAFF и психотипирование участников).

Ключевые слова: социологическая информация; фокус-группа; модератор; психотип; SPAFF; методика «7 радикалов»; метод личностного дифференциала

Особенность метода фокус-групп — вовлеченность одновременно нескольких участников в обсуждение проблемы. В ходе фокус-группового интервью происходит два важных процесса [1]: дифференциация участников по отношению к обсуждаемому предмету; интеграция, в результате которой выясняется это отношение к предмету. Эти процессы могут оказать на процесс взаимодействия как позитивный, так и негативный эффект. Положительное влияние групповой динамики заключается в возможности получения более глубокой и разносторонней информации об объекте исследования. Отрицательный эффект групповой динамики связан с получением неполной, недостоверной информации. Проблемы фокус-групп как метода получения разброса мнений о проблеме в ходе групповой беседы в формате коммуникации «модератор-участник» и «участник-участник» с максимальным сохранением естественности беседы можно классифицировать по нескольким признакам: 1) зависящие от модератора, 2) возникающие при анализе вербальных аспектов (интерпретация и т.д.), 3) возникающие при анализе невербальных проявлений («молчаливое согласие», жесты и позы респондента и т.д.).

В ходе фокус-групповой дискуссии модератору необходимо стремиться к достижению двух основных целей: во-первых, способствовать вовлеченности всех участников в обсуждение, чтобы получить качественную информацию в соответствии с целями исследования; во-вторых, управлять групповым процессом, нейтрализуя влияние деструктивных участников, т.е. выполнять функцию лидера группы, несмотря на равную позицию с другими участниками, способствующую естественности обсуждения. К основным функциям ведущего фокус-группы относятся [2. С. 332–334]: поддержание равной степени активности всех участников, сдерживая наиболее активных во избежание возникновения обособленного обсуждения между ними, а также стимулирую наименее активных участников во избежание потери интереса к дискуссии и, как следствие, части информации (наблюдение за вербальными и невербальными реакциями респондентов, что оптимизировано в рамках SPAFF); погашение конфликтов — при возникновении конфликта обсуждение становится неконтролируемым и влечет за собой снижение качества информации, модератор должен вовремя заметить и предотвратить негативную ситуацию (при наличии информации об уровне конфликтности, причинах конфликтной ситуации и тенденциях поведения представителей различных психотипов модератор сможет успешно прогнозировать и предотвращать подобные ситуации); возврат дискуссии в контекст обсуждаемых проблем в случае ее отклонений от темы; запуск дискуссии — при исчерпании интереса респондентов модератору необходимо возобновить дискуссию путем перехода к другой тематике или возврата к уже обсужденным проблемам.

Высокий профессионализм и опыт модератора не всегда является залогом успеха, потому что результат фокус-группы зависит и от самих участников обсуждения. М. Шоу выделил пять категорий личностных черт участников фокус-групп [17]: ориентация на межличностное общение (одобряющая, располагающая, избегающая); отзывчивость (социальная сензитивность — эмпатия, социальное понимание, социальность); стремление к власти как желание доминировать, обусловленное самооценкой (агрессивность, упорство, стремление к превосходству); надежность (ответственность, уверенность в себе, самоуважение); эмоциональная устойчивость (тревожность и личностное приспособление). Помимо личностных особенностей, существует ряд психологических характеристик участников, оказывающих влияние на их статус в группе [8. С. 85–89]: аффиляция — способность к взаимодействию с другими людьми, выраженная в стремлении к общению и получению удовольствия от него; экстраверсия — открытость по отношению к внешнему миру и окружающим людям; интроверсия — замкнутость по отношению к внешнему миру и окружающим людям; конформность — приверженность наиболее распространенному в группе мнению независимо от собственной позиции; доминантность — стремление распространить свою точку зрения среди всех участников группы; тревожность — проявление осторожности и беспокойства в ситуации фокус-группового обсуждения, что препятствует высказыванию собственного мнения.

Перечисленные характеристики влияют на степень вовлеченности респондентов в дискуссию и на качество информации. Распознаванию психологических особенностей респондентов могут способствовать такие методики, как «7 радикалов», система кодирования специфического аффекта и личностный дифференциал. Многие исследователи разрабатывали классификации участников групповых обсуждений по стилю поведения в группе, основанному на психологических аспектах. Среди наиболее общих типов респондентов можно назвать «эксперта», «лидера» и «застенчивого».

Мы использовали классификацию типов личности В.В. Пономаренко — методику «7 радикалов», которая пересекается с типологией К. Леонгарда [6], А.Е. Личко [7] и А.П. Егидеса [4], но имеет ряд преимуществ: включает меньше типов — семь, и они сформированы на основании константных характеристик поведения, в отличие от категорий Э. Кречмера [5] и У.Г. Шелдона [18]. Основным достоинством методики является возможность определения психотипа без специальной квалификации в данной области.

Характер — это «способ адаптации индивидуума к социальной среде» [10. С. 23], составляющими элементами характера являются тенденции поведения, присущие тому или иному типу личности — психотипу. В основе психотипа лежат радикалы, т.е. однородные по происхождению внутренние психические условия, носящие врожденный характер или усваиваемые в процессе социализации [10. С. 8]. В характер человека может входить несколько радикалов, но проявляться они будут в разной степени. Психотип — это ведущий «радикал», т.е. самые яркие черты: согласно правилу определения психотипа, чем

ярче конкретные черты радикала, тем более он доминантен [10. С. 194]. Методика «7 радикалов» содержит информацию о следующих психотипах: истероидный, эпилептоидный, паранойяльный, эмотивный, шизоидный, гипертимный, тревожный, и каждый респондент может обладать поведенческими качествами всех психотипов [10. С. 169], но модератору фокус-группы необходимо определить доминирующий тип личности и на данном основании строить коммуникацию.

Следующей психологической методикой, адаптированной под социологические цели, стала система кодирования специфического аффекта «SPAFF». Основная ее идея заключается в наблюдении за эмоциональными проявлениями в ходе межличностного взаимодействия. На основании негативного или позитивного характера аффектов можно сделать вывод о том, будет ли успешен результат интеракции, а также влиять на ход общения посредством управления эмоциональными проявлениями. При использовании системы кодирования специфического аффекта учитываются как вербальные, так и невербальные проявления, что является преимуществом перед схожими системами (MICS, FAST, CISS), учитывающими лишь отдельные эпизоды интеракций [11. С. 88].

Поскольку система кодирования специфического аффекта базируется на системе кодирования лицевых движений (FACS), разработанной П. Экманом и У. Фризенем [16], в ней содержится описание основных мимических реакций (AU — Action Unit), упомянутых в характеристиках аффективных проявлений. Несмотря на то, что в рамках фокус-групповой дискуссии затруднительно обращать на них внимание, ознакомление с данной информацией может быть полезно для управления эмоциональными проявлениями модератора, видимыми участникам фокус-группы, а также для фиксации наиболее ярких реакций со стороны участников с целью наиболее точного определения аффекта.

В рамках фокус-группового исследования возможно использовать SPAFF в нескольких направлениях [11. С. 91]: анализ значимых этапов фокус-группы, что позволит проследить развитие и характер групповой динамики; коэффициент успешности фокус-группы может считаться для отдельных смысловых блоков, что позволит выявить чувствительные аспекты целевых групп; оценка мастерства модератора фокус-группы; оценка качества рекрута — некоторые критерии аффектов (например, «совместные воспоминания») могут указывать на факт знакомства участников. Система кодирования специфического аффекта включает 18 категорий возможных реакций респондентов [15]: 5 позитивного характера (расположение, подтверждение, юмор, энтузиазм, интерес), 12 — негативного (злость, воинственность, презрение, критика, оборона, отвращение, доминирование, страх/напряжение, печаль, «каменная стена», угрозы, нытье) и нейтральность.

Для проверки возможности применения описанных психологических методик в социологии был осуществлен методический эксперимент, цель которого — выяснение, какие особенности поведения, обусловленные

психотипом участников фокус-групп, влияют на качество предоставляемой информации.

Эксперимент проводился в несколько этапов: 1) методы — эксперимент, проективный метод; цель — изучить возможность или невозможность для людей без особенных знаний в области психотипирования определять доминирующие радикалы; стимульный материал — изображения известных людей, подобранные согласно методике В.В. Пономаренко. Одной группе респондентов, рекрутированных случайным образом (30 человек), предлагалось охарактеризовать представителей разных типов личности (психотипы заданы), высказать свои впечатления по предложенным категориям (описание, цветовая гамма, черты характера, внешность, сфера профессиональной деятельности) в форме открытых ответов. Другой аналогичной по составу группе было предложено сгруппировать представителей психотипов по схожести личностных качеств и внешним признакам на интуитивном уровне (психотипы не заданы). Изображения были идентичны с изображениями, предложенными первой группе, но не были упорядочены.

2) Метод — личностный дифференциал; цель — оценка представителей разных психотипов друг другом для разработки рекомендаций по рассадке участников в рамках фокус-группы. 3) Методы — фокус-группа, эксперимент, анализ данных при помощи FACS и SPAFF; цель — измерение качества данных в группах, где модератор обладает специальными навыками (знание психотипов, FACS и SPAFF) и где не обладает. Проведено 2 контрольных и 2 экспериментальных фокус-группы. В первой группе модератор не знал психотипы участников, не соблюдал результаты расчетов по методу личностного дифференциала для рассадки участников, игнорировал проявление аффектов. Во второй группе модератор знал психотипы, контролировал аффекты и соблюдал размещение в соответствии с результатами личностного дифференциала.

Были выдвинуты следующие гипотезы: для каждого психотипа определенные поведенческие свойства, которые могут проявляться в ситуации фокус-группового интервью; аффекты респондентов могут влиять на ход фокус-группы, направляя ее в положительную или отрицательную сторону; зная характерные для психотипов аффекты, модератор сможет прогнозировать и контролировать их проявление и тем самым воздействовать на групповую динамику.

Первый этап. Для проверки возможности использования концепции психотипов в социологии сначала была реализована процедура апробации методики «7 радикалов». Проблемная ситуация заключалась в незнании, возможно ли выделить характерные черты психотипов, не имея специальных знаний. Дополнительной задачей выступила необходимость выяснить, какие характеристики психотипов являются наиболее общими для «обывателя». Были выдвинуты следующие предположения: среди основных качеств визуального восприятия психотипов будут названы следующие: яркость, привлечение внимания, неискренность, эгоизм (истероиды); смелость, агрессивность,

требовательность, спортивность (эпилептоиды); лидерство, целеустремленность, жестокость, уверенность (параноялы); доброта, спокойствие, сочувствие, альтруизм (эмотивы); высокий интеллект, обидчивость, бестактность, неадекватность (шизоиды); юмор, общительность, оптимизм, непостоянство (гипертимы); боязливость, скромность, консерватизм, невзрачность (тревожные); большинство респондентов сможет корректно сгруппировать хотя бы половину изображений с представителями психотипов.

Были отобраны респонденты, не имеющие специальной подготовки в области психотипов (30). Сначала респондентам предлагалось охарактеризовать представителей разных психотипов — описать 7 наборов изображений, на которых были сгруппированы представители каждого психотипа, дав свои ассоциации по категориям: описание, цветовая гамма, черты характера, внешность, сфера профессиональной деятельности. Изображения были поделены на цветные и черно-белые для изучения различия в визуальном восприятии. Было выявлено, что ассоциативные описания респондентов соответствуют теоретической базе В.В. Пономаренко (Табл. 1). При анализе пункты «общее описание» и «черты характера» были объединены, так как часто совпадали. Выяснилось, что наличие цвета в изображениях не влияет на восприятие психотипа. Таким образом, гипотеза о возможности выделения наиболее общих черт на основе визуального восприятия частично подтвердилась: респонденты упоминали большую часть психотипических «эталонных» свойств. Только 21% предполагаемых качеств не были упомянуты (6 из 28 — требовательность, спокойствие, обидчивость/бестактность, непостоянство, консерватизм у эпилептоидов, эмотивов, шизоидов, гипертимов, тревожных соответственно).

Другой группе респондентов из 30 человек было предложено объединить представителей психотипов по схожести личностных качеств и внешним признакам на интуитивном уровне, без специальных знаний о типах личности. Изображения были идентичны с первым шагом данного этапа, но не были упорядочены. В результате была подтверждена гипотеза, что большинство респондентов верно распределит хотя бы половину изображений: почти 80% сгруппировали более чем половину изображений.

Результаты этапа доказали возможность использования методики «7 радикалов» без специальной подготовки, т.е. рекомендации не будут требовать дополнительных финансовых и временных ресурсов для обучения модераторов основам применения теории психотипов. Представленных в рекомендациях описаний будет достаточно для быстрого определения типа личности респондента.

Второй этап. Цель — оценка представителями разных психотипов друг друга для выяснения разницы в мировоззрении и, соответственно, разработки рекомендаций по распределению респондентов в рамках фокус-группы. «Мировоззрение» в данном контексте включает в себя неосознаваемое отношение (коннотативные смыслы) к субъекту как представителю определенного психотипа.

Таблица 1

Описание типов личности на основании визуального восприятия респондентами

Психотип	Описание/ Черты характера	Цветовые ассоциации	Внешность	Сфера деятельности
Истероидный	Скандальность, привлечение внимания	Желтый, фиолетовый, оранжевый	Яркая, привлекательная	Эстрада, шоу-бизнес
Эпилептоидный	Брутальность, жесткость, агрессия	Коричневый, синий	Спортивный стиль одежды короткие волосы	Спорт
Паранояльный	Власть, лидерство, целеустремлен- ность	Черный, красный	Официально- деловой стиль одежды	Управление
Эмотивный	Доброта, открытость, искренность	Желтый, голубой	Улыбчивость	Благотворитель- ность
Шизоидный	Высокий интеллект, стремление изобретать	Белый, серый	Странная	Наука
Гипертимный	Общительность, чувство юмора,	Оранжевый	Стильная	Развлечения
Тревожный	Нерешительность, застенчивость	Серый, коричневый	Невзрачная	Исполнители, сфера обслуживания

Методом личностного дифференциала, который процедурно совпадает с методом семантического дифференциала, было выяснено, как следует располагать респондентов для получения более качественных результатов. Опросный лист включал в себя обращение к респонденту, описание психотипа, понятное человеку, не знакомому с теорией психотипов, и список 21 антонимичной шкалы (методика В. Бехтерева). Стимул выглядел следующим образом: «Перед Вами 7 психологических типов людей. Скорее всего, каждого из них Вы встречали в течение жизни. Оцените, пожалуйста, данные типы с помощью следующих пар прилагательных от -3 до $+3$, где значение со знаком « $-$ » относится к левому столбцу, а « $+$ » — к правому. При этом « -3 » наиболее близко к левому столбцу; « $+3$ » — к правому. Основывайтесь на своем понимании предложенных описаний». Пример описания: «Демонстративный тип: яркий оригинальный стиль, любит находиться в центре внимания, присуща неискренность и лесть». Так были отобраны 133 респондента (по 19 представителей каждого психотипа) и выявлены близость и отдаленность характеров. Выяснилось, что тревожные имеют наиболее схожее мировоззрение с шизоидами, а эмотивы — с гипертимами, что говорит о возможности расположения представителей данных типов рядом в рамках фокус-группы. Рекомендуется избегать пространственной близости шизоидов и тревожных с параноялами, а эмотивов — с истероидами.

Третий этап. Было проведено 4 фокус-группы, и после каждой (контрольной и экспериментальной) для оценки качества данных были использованы анкеты для модераторов и участников. Валидизирующая анкета для участников включала в себя вопросы: насколько понравилось участие в фокус-группе; комфортно ли было участвовать; какие положительные и отрицательные моменты они могут выделить; какие вопросы показались непримлемыми; с кем из участников было приятно контактировать, а с кем нет; устроили ли соседи по группе. Валидизирующая анкета для модератора экспериментальных групп включала вопросы: насколько сложно или легко было вести группу; общая оценка успешности группы; положительные и отрицательные моменты при ведении группы; легкость/сложность в определении психотипов участников; помогло ли знание психотипов при ведении группы; удачно ли было расположение каждого участника. Валидизирующая анкета для модератора контрольных групп включала вопросы: насколько сложно или легко было вести группу; общая оценка успешности группы; положительные и отрицательные моменты при ведении группы; встречались ли в группе «сложные» респонденты; помогло ли знание теории психотипов.

На основании валидизирующего теста с респондентами можно сказать, что средние оценки участниками фокус-группы друг друга (комфорт участия) различаются в экспериментальной и контрольной группах — 4,8 и 4,3 соответственно, что указывает на успешность эксперимента. На оценку участников оказывало влияние схожесть/различие мнений с другими респондентами. Результаты валидизирующего теста экспериментальной и контрольной групп с точки зрения модератора значимо не различаются, что может быть связано с уровнем профессионализма и опытом модераторов. Среди психотипов, которые было трудно или невозможно распознать, модераторы экспериментальной группы выделили эмотивный и шизодный. Так как в исследовании участвовали студенты РУДН, проявление аффектов могло сдерживаться в силу уважительного отношения к модератору, толерантности и других причин. В связи с этим рекомендации для модераторов содержат только проявленные в ходе эксперимента тенденции поведения, а также теоретическую основу для проверки остальных тенденций (расположение, критика, печаль, «каменная стена», угрозы и нытье не вошли в эксперимент, так как не были проявлены в ходе групповых обсуждений).

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп показало, что соотношение негативных и позитивных аффектов, проявляемых в процессе фокус-группового обсуждения, различается, что указывает на большую эффективность фокус-групп, проводимых с применением знаний о психотипах. В рамках экспериментального группового интервьюирования в 39% случаев были проявлены позитивные аффекты, в 61% — негативные, контрольная группа респондентов показала 29% позитивных поведенческих проявлений против 71% негативных. В процессе обработки данных было выяснено влияние аффектов на ход фокус-группы (Табл. 2).

Таблица 2

Поведенческие проявления представителей разных психотипов

Психотип	Проявляемые аффекты (кол-во)	Признаки аффекта	
<i>Экспериментальная группа (с применением знаний о психотипах)</i>			
Фокус-группа 1			
Истероидный	Оборона (1)	Извинения с целью переноса вины	
	Доминирование (3)	Запутывание, признание несостоятельности, нравочужения и патернализм	
	Воинственность (1)	Язвительные вопросы	
	Подтверждение (1)	Прямое выражение понимания	
Гипертимный	Доминирование (1)	Нравочужения и патернализм	
	Юмор (1)	Остроумие	
	Оборона (1)	Минимизация	
	Презрение (1)	Сарказм	
Тревожный	Страх/напряжение (3)	Нарушение речи, волнение, нервный смех	
	Юмор (1)	Добродушное поддразнивание	
Шизоидный	Воинственность (1)	Язвительные вопросы	
Эмотивный	Подтверждение (2)	Прямое выражение понимания	
Общее количество негативных/ позитивных/ всего аффектов	12/5/17	Соотношение, %	70%/30%
Фокус-группа 2			
Эпилептоидный	Доминирование (2)	Нравочужения и патернализм, беспрестанная речь	
	Презрение (1)	Сарказм	
	Подтверждение (1)	Обратная связь	
Эмотивный	Отвращение (1)	Непроизвольное отвращение	
	Энтузиазм (1)	Предвкушение	
	Злость (1)	Злые вопросы	
	Юмор (2)	Остроумие, добродушное поддразнивание	
Гипертимный	Страх (1)	Нервный смех	
Паранояльный	Доминирование (1)	Нравочужения и патернализм	
	Подтверждение (4)	Прямое выражение понимания, парафраз	
	Презрение (1)	Сарказм	
Шизоидный	Отвращение (1)	Непроизвольное отвращение	
	Юмор (1)	Остроумие	
	Доминирование (1)	Нравочужения и патернализм	
Общее количество негативных/ позитивных/ всего аффектов	10/9/19	Соотношение, %	52%/47%
Всего аффектов:	Общее количество негативных аффектов	Общее количество позитивных аффектов	Соотношение (%)
36	22	14	61%/39%

Психотип	Проявляемые аффекты (кол-во)	Признаки аффекта	
<i>Контрольная группа (стандартная фокус-группа)</i>			
Фокус-группа 1			
Эпилептоидный	Подтверждение (2)	Парафраз, прямое выражение понимания	
	Оборона (2)	Извинения с целью переноса вины	
Гипертимный	Доминирование (2)	Нравоучения и патернализм	
	Подтверждение (1)	Парафраз	
Тревожный	Оборона (1)	Извинения с целью переноса вины	
	Страх/напряжение (3)	Нарушение речи, волнение	
	Доминирование (1)	Нравоучения и патернализм	
	Подтверждение (1)	Прямое выражение понимания	
Паранояльный	Доминирование (1)	Нравоучения и патернализм	
	Подтверждение (1)	Парафраз	
Общее количество негативных/ позитивных/ всего аффектов	10/5/15	Соотношение, %	67%/33%
Фокус-группа 2			
Эпилептоидный	Доминирование (6)	Нравоучения и патернализм, беспрестанная речь, признание несостоятельности	
	Страх/напряжение (1)	Волнение	
Эмотивный	Подтверждение (1)	Прямое выражение понимания	
Тревожный	Юмор (1)	Забава и преувеличение	
Общее количество негативных позитивных/ всего аффектов	7/2/9	Соотношение, %	78%/22%
Всего аффектов:	Общее количество негативных аффектов	Общее количество позитивных аффектов	Соотношение (%)
24	17	7	71%/29%

Удалось установить влияние аффектов на групповую динамику (Табл. 3). Так, паранояльному психотипу, наряду с истероидным, свойственно проявлять доминирование, гипертимному — юмор, тревожному — страх/напряжение и оборону. Некоторые из аффектов не были проявлены или не соответствовали предполагаемым психотипам (например, представители эмотивного психотипа не проявляли расположения, а шизоидного — нытье или «каменную стену»). Наиболее часто проявляемыми поведенческими свойствами доминирования также обладают эпилептоиды, подтверждения — эмотивы. У шизоидов не было выявлено характерной тенденции поведения, так как не было повторяющихся реакций. Эмотивы почти не проявляют поведенческих тенденций, т.е. их поведение по большей части соответствует нейтральному аффекту. Количество проявленных аффектов: истероиды — 6, эпилептоиды — 15,

параноялы — 8, эмотивы — 8, шизоиды — 4, гипертимы — 8, тревожные — 11. Таким образом, тревожные проявляли аффекты наравне с параноялами и в большей степени, чем истероиды. Наиболее активными в данном контексте оказались представители эпилептоидного психотипа, наименее — шизоидного.

Таблица 3

Влияние проявленных аффектов на групповую динамику и ход фокус-группы

Аффект	Влияние аффекта
Нейтральность	Соответствие обсуждения естественным условиям
Проявления позитивного характера	
Подтверждение	Стимуляция получения более полной информации за счет внутригруппового обсуждения
Юмор	Снятие напряженности внутри группы
Энтузиазм	Внесение позитивного контекста в обсуждение
Интерес	Проявляется со стороны модератора для стимуляции активности респондента или дискуссии в целом
Проявления негативного характера	
Злость	Постановка границ для других участников в связи с нежеланием продолжать обсуждение затронутой темы
Воинственность	Выстраивание негативной коммуникации с участниками фокус-группы, нарушение групповой динамики за счет стимуляции конфликта
Презрение	Выстраивание негативной коммуникации с другими участниками, нарушение групповой динамики
Оборона	Стимуляция обвинений в свой адрес и направление дискуссии в формат спора
Отвращение	Выражение неприязни к объекту обсуждения
Доминирование	Введение участников и модератора фокус-группы в заблуждение, влияние на уровень активности участников за счет убеждения в своей правоте
Страх/Напряжение	Пассивное участие в обсуждении, неполнота информации

Успешные результаты эксперимента подтверждают возможность применения системы кодирования специфического аффекта в рамках социологического исследования, что позволяет разработать рекомендации модераторам. Основная идея предлагаемой методики заключается в умении распознать психотип респондента посредством наблюдения в ходе вводного этапа фокус-группы. Для этого модератору необходимо учитывать особенности поведения каждого участника и его внешний вид, а также руководствоваться кратким описанием типов личности. Методика подразумевает несколько этапов подготовки модератора: получение информации о существующих типах личности с целью распознавания доминирующего психотипа; получение информации о характерных поведенческих свойствах каждого типа, а также других возможных аффектах и их роли в контексте фокус-группового исследования; определение типов личности участников конкретной фокус-группы на основе наблюдения в ходе вводной части; прогнозирование поведенческих свойств участников и управление групповой динамикой посредством подавления негативных аффектов (при их возникновении) позитивными.

При изучении психотипов модератору следует обратить внимание на ситуации, которые могут спровоцировать представителей психотипов на конфликт [9. С. 7–9] (Табл. 4). Данные стимулы связаны с основными признаками психотипа, а их критика может, с одной стороны, вызвать негативные проявления участников фокус-группы, а, с другой, вернуть модератору лидерство при переходе к доминирующим участникам.

Таблица 4

Перечень конфликтогенных ситуаций в соответствии с психотипами

Психотип	Конфликтогенная ситуация
Истероид	Задевание самолюбия; равнодушие со стороны окружающих или игнорирование; критика достижений, способностей и таланта; вынужденное одиночество; невозможность проявить себя; попадание в нелепое или смешное положение; отсутствие ярких событий и возможности проявить способности; вынужденное пребывание в постоянном напряжении; удары по эгоцентризму
Эпилептоид	Изменение устоявшихся порядков и установленных правил; жесткая конкуренция со стороны сильных и энергичных людей; ограничение возможности проявлять авторитет, власть над другими; критика действий и недостатков; рутинная работа при отсутствии возможности выделиться; ущемление прав и интересов; неподчинение; предательство близкого человека
Паранойял	Эмоциональное отвержение со стороны значимых людей; изменение привычек; неожиданные поручения, просьбы, требования, противоречащие настроению; предъявление претензий; притеснения и неудачи; психические нагрузки
Эмотив	Несправедливые подозрения или обвинения; критика поведения; открытое соперничество; постоянные проверки деятельности или поведения; недоброжелательное внимание; вынужденное одиночество; угроза репутации; невозможность поделиться своими переживаниями
Шизоид	Смена устоявшихся стереотипов или привычек; необходимость устанавливать неформальные контакты; необходимость интимного разговора; необходимость руководить; необходимость выполнения интеллектуальной работы по заранее спланированным схемам и правилам; групповая и коллективная деятельность; вторжение посторонних людей во внутренний мир
Гипертим	Лишение свободного и разнообразного общения; внешнее ограничение двигательной активности; необходимость подчинения систематическим требованиям; вынужденный отказ себе в чем-то интересном; однообразная обстановка или монотонный труд; вынужденное безделье
Тревожный	Необходимость принятия самостоятельных решений и быстрой смены обстановки/вида деятельности; выполнение заданий без четких указаний и инструкций; прямая критика; длительные нагрузки; возложение ответственности

Рекомендации модераторам:

- Необходимо пространственное распределение участников в соответствии с результатами личностного дифференциала при возникновении конфликтных ситуаций. Близкие по мировосприятию типы будут испытывать комфорт, находясь рядом или в поле зрения друг друга (напротив), и, следовательно, предоставлять более качественную информацию. Различных по мировосприятию респондентов следует распределять так, чтобы они не имели пространственного контакта (например, между тревожным и паранойялом можно посадить эмотива).

- Необходима фиксация вербальных и невербальных проявлений участников, указывающих на тот или иной аффект, с целью определения характера фокус-группы, на основании чего будут сделаны выводы об успешности/неуспешности обсуждения и качестве полученных данных. Можно использовать шаблон регистрации:

Участник	Психотип участника	Аффект	Вербальное проявление	Невербальное проявление	Стимул
1. Имя					
2. ...					

- Модератору необходимо контролировать проявление аффектов со своей стороны, чтобы не стать источником конфликтной ситуации.
- Модератор может использовать знание о психотипе (Табл. 5) наряду с классификациями участников фокус-группы и подбирать рекомендации в соответствии с проявляемой тенденцией поведения. В качестве примера представлено сопоставление категорий респондентов согласно М. Дебюс [3] с типами личности (Табл. 6).

Таблица 5

Описание психотипов, включенное в рекомендации для модераторов

Психотип	Описание	Черты личности	Цветовая гамма	Внешность
Истероид	стремление демонстрировать окружающим иллюзорно благополучную модель мира, в которой центральное место занимает он сам	яркость, привлечение внимания, неискренность, эгоизм	желтый, фиолетовый, оранжевый	яркая, привлекательная
Эпилептоид	подавление потенциальной угрозы за счет установления формального порядка и контроля ситуации	смелость, агрессивность, требовательность, спортивность	коричневый, синий	спортивный стиль одежды, короткие волосы
Паранойял	настойчивое продвижение собственной модели переустройства мира с целью ее совместной реализации	лидерство, целеустремленность, жестокость, уверенность в себе	черный, красный	официально-деловой стиль одежды
Эмотив	гуманизация и гармонизация внутреннего и внешнего мира	доброта, спокойствие, сочувствие, альтруизм	желтый, голубой	улыбчивость
Шизоид	нестандартный взгляд на мир	высокий интеллект, обидчивость, бестактность, неадекватность	белый, серый	странная
Гипертим	оптимистическое восприятие ситуации	юмор, общительность, оптимизм, непостоянство	оранжевый	стильная
Тревожный	проявление осторожности и консерватизма	боязливость, скромность, консерватизм, невзрачность	серый, коричневый	невзрачная

– Следует учитывать роль каждого аффекта в контексте фокус-группы, что будет способствовать более успешному управлению групповой динамикой.

Таким образом, модератору необходимо обладать информацией по трем направлениям: психотип респондента; поведенческие свойства (аффекты); проксемический компонент (расположение респондентов согласно личностному дифференциалу).

Таблица 6

Классификация «сложных» участников фокус-группы по теории психотипов

Тип респондента	Психотип
доминирующий	истероид, параноял, эпилептоид
робкий	тревожный
эксперт	параноял, эпилептоид
многословный	гипертим
неадекватный	шизоид
незавершенный	тревожный
смущенный	тревожный
слишком позитивный	гипертим, эмотив
негативно настроенный	эпилептоид
враждебный	эпилептоид
прерывающий	шизоид, эпилептоид
спрашивающий	гипертим

Исследование доказало возможность применения теории психотипов совместно с системой кодирования специфического аффекта для совершенствования социологических методов и позволило разработать рекомендации по их внедрению в фокус-групповую дискуссию. Плюсом предложенной методики является ее естественность в части психотипирования, которое, как показал первый этап эксперимента, интуитивно понятно даже людям, незнакомым с теорией «7 радикалов», однако этого нельзя сказать о системе кодирования специфического аффекта (SPAFF), на обучение которой придется потратить время. Знание психотипов позволит модератору легче управлять групповой дискуссией, однако SPAFF обладает большим эвристическим потенциалом и открывает для модератора прогностические возможности и доступ к более глубокой аналитике, если он сам работает с транскриптами и отчетом.

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках госзадания № 075-00167-20-03 «Социогуманитарные основы противодействия экстремизму».

Библиографический список

- [1] Белановский С.А. Метод фокус-групп. М., 1996.
 [2] Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью. М., 1993.

- [3] Дебюс М. Качественные методы в социальных исследованиях. Фокус-группа. Барнаул, 1995.
- [4] Егидес А.П., Сугрובה Н.Ш. Как научиться разбираться в людях. Алма-Ата, 1991.
- [5] Кречмер Э. Строение тела и характер. Киев, 1924.
- [6] Леонгард К. Акцентуированные личности. М., 1989.
- [7] Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Психология индивидуальных различий. СПб., 2010.
- [8] Мельникова О.Т. Фокус-группы: Методы, методология, модерирование. М., 2007.
- [9] Платонов Ю.П. Психотип как фактор конфликтного поведения // Ученые записки СПбГИПСР. 2008. № 2.
- [10] Пономаренко В.В. Практическая характерология. М., 2017.
- [11] Пузанова Ж.В., Ларина Т.И. Использование системы кодирования аффектов (SPAFF) в фокус-групповых исследованиях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. № 4.
- [12] Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Захарова С.В. Рекомендации интервьюерам при проведении социологических опросов: практическое использование теории психотипов и анализа невербальных реакций респондентов // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. № 1.
- [13] Троцук И.В. Как возможна социология эмоций, и что она дает для понимания счастья и справедливости // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 3.
- [14] Троцук И.В., Королева К.И. Неочевидные ограничения социологической оценки благополучия: результаты методического эксперимента // Социальная политика и социология. 2020. Т. 19. № 1.
- [15] Coan J., Gottman J. The Specific Affect (SPAFF) coding system // Handbook of Emotion Elicitation and Assessment. N.Y., 2007.
- [16] Ekman P., Friesen W. Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement. Palo Alto, 1978.
- [17] Shaw M. Group Dynamics: The Psychology of Small Group Behavior. N.Y., 1981.
- [18] Sheldon W. The Varieties of Human Physique: An Introduction to Constitutional Psychology. N.Y., 1940.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-722-738

Personal characteristics of the focus group participants as a factor of the data quality*

Zh.V. Puzanova¹, T.I. Larina¹, A.T. Gasparishvili^{1,2,3},
K.V. Radkevich¹, S.V. Zakharova⁴

¹RUDN University

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

²Lomonosov Moscow State University

Leninskie Gory 1, Moscow, 119991, Russia

³Institute of Sociology of FCTAS RAS

Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia

⁴Klinsky Institute for Labor Protection and Conditions

(e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru; larina-ti@rudn.ru; gasparishvili@yandex.ru;
radkevich-kv@rudn.ru; svetlanochka.zakharova@gmail.com)

Abstract. The article presents the results of the search for methodological ways to improve the quality of sociological information obtained in the focus group discussion. Today the scientific

* © Zh.V. Puzanova, T.I. Larina, A.T. Gasparishvili, K.V. Radkevich, S.V. Zakharova, 2021
The article was submitted on 28.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

sphere is changing, and, in addition to the development of new methods, the existing interdisciplinary ones are being adapted to the specific research goals. An important way for improving sociological methods is the study of psychological aspects of respondents' behavior during focus groups, since unconscious reactions can indicate the potential information bias and affect the quality of the project results. In the RUDN University, a three-stage methodological experiment was conducted based on the psychological technique “7 radicals”, the Specific Affect Coding System (SPAFF) and the personal differential method. At the first stage, the experiment aimed at examining the ability of respondents without special knowledge in the field of psychotyping to identify the dominant radicals. At the second stage, representatives of different psychotypes assessed each other so that the researchers would develop recommendations for the seating of focus group participants. At the third stage, the quality of the data obtained in focus groups was assessed depending on the moderator's special skills (knowledge of psycho-types, FACS and SPAFF). Thus, the recommendations for moderators were developed — to increase the efficiency of work with focus group participants and to improve the quality of sociological data. The moderator needs knowledge in three areas: respondents' psycho-types, affects in SPAFF, and the proxemic component (seating of respondents). The authors assess the prospects for introducing psychological techniques into the training system for focus group moderators and provide recommendations for moderators based on the results of the multi-stage experiment. Its results partially solve the problem of the quality of the focus group data by explaining the need to teach moderators interdisciplinary techniques (SPAFF and psychotyping of the focus-group participants).

Key words: sociological information; focus group; moderator; psychotype; SPAFF; 7 radicals technique; personal differential method

Funding

The article was prepared within the state assignment No. 075-00167-20-03 “Social-humanitarian foundations for countering extremism”.

References

- [1] Belanovsky S.A. *Metod fokus-grupp* [Focus Group Method]. Moscow; 1996. (In Russ.).
- [2] Belanovsky S.A. *Metodika i tekhnika fokusirovannogo interviyu* [Method and Techniques of the Focused Interview]. Moscow; 1993. (In Russ.).
- [3] Debus M. *Kachestvennye metody v sotsialnykh issledovaniyakh. Fokus-gruppa* [Qualitative Methods of Sociological Research: Focus Group]. Barnaul; 1995. (In Russ.).
- [4] Egides A.P., Sugrobova N.Sh. *Kak nauchitsya razbiratsya v lyudyah* [How to Learn to Understand People]. Alma-Ata; 1991. (In Russ.).
- [5] Kretschmer E. *Stroenie tela i karakter* [Physique and Character]. Kiev; 1924. (In Russ.).
- [6] Leonhard K. *Aktsentirovannyye lichnosti* [Personality Accentuation]. Moscow; 1989. (In Russ.).
- [7] Lichko A.E. *Psihopatii i aktsentuatsii haraktera u podrostkov. Psihologiya individualnykh razlichij* [Teenagers' Psychopathies and Character Accentuations. Psychology of Individual Differences]. Saint Petersburg; 2010. (In Russ.).
- [8] Melnikova O.T. *Fokus-gruppy: Metody, metodologiya, moderirovanie* [Focus-Groups: Methods, Methodology, Moderating]. Moscow; 2007. (In Russ.).
- [9] Platonov Yu.P. Psihotip kak faktor konfliktного povedeniya [Psycho-type as factor of conflict behavior]. *Nauchny Zhurnal SPbGIPSr*. 2008; 2 (10). (In Russ.).
- [10] Ponomarenko V.V. *Prakticheskaya karakterologiya* [Practical Characterology]. Moscow; 2007. (In Russ.).
- [11] Puzanova Zh., Larina T. Ispolzovanie sistemy kodirovaniya affektov (SPAFF) v fokus-gruppovykh issledovaniyakh [SPAFF in the focus group research]. *Zhurnal Sotsiologii i Sotsialnoy Antropologii*. 2016; 4. (In Russ.).
- [12] Puzanova Zh.V., Larina T.I., Zakharova S.V. Rekomendatsii interviyueram pri provedenii sotsiologicheskikh oprosov: prakticheskoe ispolzovanie teorii psikhotipov i analiza neverbalnykh reaktsiy respondentov [Recommendations for interviewers conducting

- sociological surveys: The use of the psycho-types theory and analysis of respondents' nonverbal reactions]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018, 18 (1). (In Russ.).
- [13] Trotsuk I.V. Kak vozmozhna sotsiologiya emotsiy, i chto ona daet dlya ponimaniya schastiya i spravedlivosti [How sociology of emotions is possible, and how it helps to understand happiness and justice]. *RUDN Journal of Sociology*. 2021; 21 (3). (In Russ.).
- [14] Trotsuk I.V., Koroleva K.I. Neochevidnye ogranicheniya sotsiologicheskoy otsenki blagopoluchiya: rezultaty metodicheskogo eksperimenta [Non-obvious limitations of the sociological assessment of well-being: Results of the methodological experiment]. *Sotsialnaya Politika i Sotsiologiya*. 2020; 19 (1). (In Russ.).
- [15] Coan J., Gottman J. The Specific Affect (SPAFF) coding system. *Handbook of Emotion Elicitation and Assessment*. New York; 2007.
- [16] Ekman P., Friesen W. Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement. Palo Alto; 1978.
- [17] Shaw M. *Group Dynamics: The Psychology of Small Group Behavior*. New York; 1991.
- [18] Sheldon W. *The Varieties of Human Physique: An Introduction to Constitutional Psychology*. New York; 1940.



СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-739-754

Состояние и динамика массового сознания и поведенческих практик россиян в условиях пандемии covid-19*

М.К. Горшков, И.О. Тюрина

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН
ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5, Москва, 117218, Россия
(e-mail: m_gorshkov@isras.ru; irinal-tiourina@yandex.ru)

Аннотация. Экспансия covid-19 привела к возникновению новой пандемической социальной реальности. Фактически впервые в новейшей истории человечество столкнулось с глобальным кризисом, порожденным не явлениями геополитического и экономического порядка, но заболеванием, распространение которого, охватив большинство стран и все континенты и выйдя за пределы чрезвычайной ситуации международного значения, приобрело масштаб пандемии, серьезно повлияло на текущие социально-экономические процессы и прогнозы, выявило и усилило острейшие общественные проблемы, трансформировало функционирование и бытие современного социума и в целом оказалось полной неожиданностью для мирового и национальных сообществ, причем неожиданностью не столько медицинской и эпидемиологической, сколько социальной. Едва ли не на заре пандемии в позициях исследователей ее вероятных социальных последствий наблюдалось противостояние двух подходов. Одни эксперты полагали, что пандемия радикально и необратимо изменит социум, трансформирует социальные институты, «переформатирует» повседневность, и «мир никогда не будет прежним». Другие были убеждены, что новые социальные практики не затронут глубинные основы устоявшегося социального порядка, который позже восстановится в прежнем доковидном облики [10]. Какая из позиций ближе к истине — пока сложно сказать, но очевидно, что вызванные пандемией глобальные общественные потрясения влекут за собой масштабные социальные последствия, настоятельно требующие описания и анализа, в том числе посредством установления того, как по прошествии почти двух лет влияние коронавируса на важнейшие сферы и аспекты жизни оценивают граждане. В статье на основе результатов общероссийского социологического исследования дается комплексная многоаспектная оценка жизнедеятельности российского общества в условиях распространения covid-19. Приводятся данные о динамике материального и социального положения россиян, раскрывается воздействие пандемии на социально-психологическое самочувствие, общественные умонастроения и духовную атмосферу. Особое внимание уделяется поведенческим практикам

* © Горшков М.К., Тюрина И.О., 2021

Статья поступила 02.07.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

разных групп российского населения, связанным с адаптацией к новым социально-экономическим условиям, сохранением и наращиванием человеческого потенциала, видению россиянами будущего страны.

Ключевые слова: российский социум; пандемия covid-19; социальные последствия; масквидные духовно-психологические образования; поведенческие практики; адаптация; удовлетворенность жизнью; социально-психологическое состояние общества; Россия будущего

Масштабные и уникальные по своим качественным и количественным характеристикам общественные потрясения (и пандемия covid-19 не является исключением) и их социальные последствия необходимо оценивать с трех позиций: диалектической — позволяющей фиксировать и анализировать причинно-следственные связи глобальных явлений и процессов и сопутствующих им проблем; ситуативной — учитывающей сложившийся в конкретный момент времени социально-экономический и духовно-психологический ресурс общества; социально-исторической — принимающей в расчет традиции и ценности народа.

В доковидный период в российском обществе сформировался значительный ресурс консолидации в сложных ситуациях, опирающийся на вековые традиции и ценности россиян, которые всегда объединяли и мотивировали их на профессиональные и душевные усилия, нередко на грани возможного. За время пандемии, признаваемой сегодня по многим параметрам и показателям глобальной социальной проблемой, «социальной трагедией», нарушившей многочисленные тактические и стратегические планы, вмешавшейся в функционирование экономики, вынудившей бросить масштабные силы на напряженную борьбу с невидимым врагом [4] и, по сути, обрушившей привычный образ жизни миллионов людей и сформировавшей новую социальную реальность, это убедительно продемонстрировали и общество в целом, и отдельные профессиональные группы, прежде всего работники медицинских учреждений. И если материальной опорой, несколько смягчившей (не во всем) удар коронавирусной волны, явилась достигнутая в стране в 2010-е годы экономическая стабилизация, то своего рода коллективной сестрой и братом милосердия стало широкое волонтерское движение по поддержке нуждающихся в персональной помощи.

Глобальность и неопределенность сложившейся ситуации, отсутствие прецедентов и опыта по ее действенному разрешению осложняют возможности более-менее точных прогнозов на будущее. Однако скорее всего изменения, вошедшие в повседневную жизнь россиян на фоне пандемии, будут сопровождать их в долгосрочном перспективе. Многие продолжают и дальше тревожиться по поводу возможных новых волн заболевания, а, следовательно, испытывать страх за здоровье — свое и близких, ограничивать межличностные контакты, стратегии поведения, модели досуга и отдыха. Чем дальше, тем острее будут ощущаться не только медицинские, но и социально-экономические и духовно-психологические последствия пандемии, противоречиво сказывающиеся на состоянии и проявлениях массовидных

образований, поведенческих практиках различных групп и в целом влияющие на самочувствие социума, предопределяющие его установки.

Отсюда актуальными (особенно для институтов управления) становятся вопросы: как после полуторагодичного периода жизни в условиях массового распространения коронавируса россияне воспринимают ситуацию в стране и уровень социальной напряженности в обществе; как оценивают уровень своего материального положения и ущерб, нанесенный им пандемией; какими аспектами повседневной жизни удовлетворены в большей, а какими в меньшей степени; каково нынешнее социально-психологическое состояние российского общества, и какие социальные чувства в нем преобладают; в чем россияне видят для себя (своего ближайшего окружения) и страны последствия пандемии и как оценивают будущие перспективы.

Без социологических замеров, главным образом мониторингового характера, ответить на эти вопросы невозможно. Здесь следует согласиться с позицией исследователей Фонда «Общественное мнение» (руководитель — А.А. Ослон), согласно которой пандемия коронавируса — не столько медицинская и эпидемиологическая, сколько социальная и даже социологическая проблема, поскольку глобальные и уникальные по природе и масштабу общественные потрясения не могут не породить далеко (и глубоко) идущих последствий — столь значительных, что впору поднять вопрос об особом направлении исследований «социология пандемии» [10. С. 4]. В 2020 году Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИС ФНИСЦ РАН) начал и продолжает до сих пор проводить периодические социологические замеры состояния и динамики российского социума в контексте его адаптации к условиям новой пандемической социальной реальности.

В сентябре 2020 года и в марте 2021 года Институт провел общероссийские опросы репрезентативной многоступенчатой районированной выборки с квотным отбором респондентов на последней ступени. Районирование осуществлялось по федеральным округам Российской Федерации на основе данных Росстата. Объем выборки — 2000 респондентов, репрезентирующих взрослое (старше 18 лет) население по параметрам пола, социально-профессионального статуса, образования и типа населенного пункта. Опросы были проведены в 22 российских регионах и охватили 112 поселений, в том числе 2 мегаполиса, 19 административных центров субъектов, 35 районных центров, 19 поселков городского типа и 37 сел. В отличие от массовых опросов, которые в условиях пандемии реализуются социологическими службами в онлайн-форматах, в опросах Института сбор данных осуществлялся методом очного личного интервью с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Перед тем, как обратиться к анализу результатов мониторинговых исследований, отметим, что за почти двухгодичный пандемический период появилось немало научных трудов (экспертные интервью, статьи, монографии), рассматривающих разные аспекты коронавирусной проблематики [см., напр.:

1; 2; 3; 4; 6; 7; 11; 12 и др.]. Вместе с тем среди них практически отсутствуют публикации, в которых анализировалось бы внутреннее состояние российского социума в единстве экономического, социального, психологического и духовно-нравственного его аспектов, а также его поведенческие реакции на новые социальные реалии. Опросы Института позволяют провести социологическую диагностику происходящего и представить всеобъемлющую и многофакторную картину состояния России в условиях второго года пандемии.

Согласно данным на Рисунке 1, пандемия значительно повлияла на общественную ситуацию, но не представляет в массовом сознании россиян катастрофической опасности. Чаще всего ее последствия видятся респондентам существенными, но не трагически-губительными. Особенно это заметно, когда речь заходит об ущербе, нанесенном пандемией не стране в целом, а конкретному индивиду и его ближайшему окружению.



Рис. 1. Как россияне оценивают ущерб, нанесенный эпидемией коронавируса стране, 2020–2021 годы, %

Наиболее ощутимые для большинства россиян социально-экономические последствия пандемии связаны с ростом расходов на продукты питания и медикаменты (55%), а также с сокращением текущих доходов (31%). Причем если снижение доходов устойчиво отмечала в 2020–2021 годы треть населения, то доля заявляющих о росте расходов возросла к весне 2021 года в 1,5 раза. Каждый пятый указал, что за последний год ему пришлось потратить большую часть сбережений.

Анализ перечня последствий происходящего показал, что они связаны с важными аспектами повседневной жизни людей и состоянием их здоровья. Так, 32% заявили, что в течение года переболели коронавирусом, почти 30% не смогли получить медицинскую помощь по проблемам «нековидного» характера. Свыше четверти населения отказались от планов на отпуск и привычных

форм досуга, у многих повысились трудовые и психологические нагрузки. Лишь 10% не столкнулись ни с какими последствиями пандемии.

Разумеется, важно знать не только общий характер последствий пандемии, но и то, как они сказались на разных группах населения, как их представители восприняли новую социальную реальность и стали приспосабливаться к ней, используя разные поведенческие, прежде всего, экономические практики. Чтобы выяснить это, был применен кластерный анализ, позволивший выделить четыре группы россиян, для которых последствия пандемии имеют свою специфику (Табл. 1). В наиболее многочисленную группу (43%) входят те, кто заявляет об отсутствии каких-либо личных последствий пандемии или отмечает их наличие, главным образом, для ближайшего окружения, и мало в чем отказывается от привычных стандартов жизни. Эта группа в целом сохранила достигнутое ранее стабильное положение. Вторая группа (19%), вопреки сокращению доходов, более частой трате сбережений и отказу от привычных моделей жизни, в целом адаптировались, прежде всего экономически, к новым реалиям. Третья группа (11%) состоит преимущественно из тех, кто столкнулся с существенными изменениями режима работы и оказался в авангарде «дистанционки» (11%) — они чаще других осваивали навыки, необходимые для перехода «на удаленку» или поиска новой работы, им пришлось пересмотреть планы на жизнь, смириться с возросшей нагрузкой. Четвертая группа (27%) — наиболее пострадавшие от пандемии, т.е. испытывающие широкий спектр негативных последствий пандемии и находящиеся в неблагоприятном положении.

Таблица 1

Особенности проявления последствий пандемии в разных группах,
март 2021 года, %

Последствия	Сохранившие свое положение (43%)	Экономически адаптировавшиеся (19%)	Дистанционки (11%)	Пострадавшие (27%)
Возросли расходы на продукты питания и медикаменты	38	48	69	83
Переболели коронавирусом	16	43	50	42
Сократился доход (зарплата)	6	37	27	70
Не смогли получить необходимую медпомощь по проблемам, не связанным с covid-19	12	18	24	62
Отказались от планов на отпуск	4	82	42	20
Отказались от привычного досуга	7	67	52	20
Потратили большую часть сбережений	11	26	24	30

Таким образом, на втором году пандемии в наиболее благоприятном положении оказалась та группа россиян, которая в контексте негативных последствий covid-19 сумела аккумулировать имеющиеся у нее ресурсы (прежде всего, финансовые сбережения и человеческий потенциал) и адаптироваться к

ситуации, сохранив позитивный социально-психологический настрой. Особое значение при этом имеют уровень образования и профессиональной квалификации, специфические навыки или способность оперативно их нарабатывать и т.п., что характерно, главным образом, для той части населения, которая смогла приспособиться к новым реалиям без серьезного ущерба для себя и, наоборот, по большей части не свойственно тем, на чью долю пришелся комплекс негативных последствий пандемии.

Безусловно, на характер, специфику и успешность адаптации разных групп к условиям новой реальности повлияли не только последствия пандемического периода, но и их текущее социально-экономическое положение, что очевидно при рассмотрении его в динамике. Вместе с тем здесь обнаруживается противоречие: с одной стороны, официальная статистика не вызывает особых опасений — по данным Росстата, в 2015–2020 годы положение населения оставалось не простым, но достаточно стабильным. Более того, доходы россиян, приходящиеся на одного члена семьи в месяц, возросли за указанный период с 30 до 35 тысяч рублей, а численность бедных сократилась с 19,6 до 18,1 млн человек. Не наблюдалось и существенных колебаний показателей доходных неравенств: децильный коэффициент фиксировался в пределах 15,4–15,6, а индекс Джини — 0,411–0,413 (1). С другой стороны, показатели субъективного благополучия (как оценивают свои доходы россияне в репрезентативных массовых опросах) говорят об иных тенденциях. Согласно данным Института, в течение рассматриваемого периода доходы наших сограждан были ниже и менее стабильны (Табл. 2).

Таблица 2

Основные показатели уровня жизни населения в 2015–2020 годы, руб.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	окт.	окт.	окт.	окт.	июнь	сент.	март
Среднедушевые доходы (среднее по стране)	16 025	16 718	17 642	18 430	19 802	21 157	21 912
Личные доходы (среднее по стране)	21 230	22 667	22 766	23 590		27 542	29 335

В условиях рецессии 2014–2016 годов в 1,5 раза возросло число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума (14% и 21% — в 2013 и 2015 году соответственно), т.е. последствия замедления темпов экономического роста довольно продолжительно сказывались на уровне доходов наименее обеспеченных слоев. Благодаря целенаправленной борьбе с бедностью и мерам поддержки все же удалось снизить долю бедных: в 2020 году — до 18%, к весне 2021 года — до 17%.

Поскольку «не хлебом единым жив человек», оценка того, как складывается жизнь в целом, в том числе в пандемический период, имеет многоаспектный характер. Согласно данным в Таблице 3, одной из болевых точек текущей повседневности стала доступность качественной медицинской

помощи. На протяжении многих лет существующее в этой области неравенство воспринимается россиянами как беспредельно несправедливое, и с возрастом доля негативных оценок растет. Так, среди молодежи 18–24 лет указанный аспект жизни оценивают негативно 18%, в возрастной категории 25–45 лет доступностью качественных медицинских услуг недоволен каждый третий (31%), а среди пожилых — 40%. С 2018 года в медицине отмечается улучшение показателей — снижение негативных и рост положительных оценок, что можно считать одним из значимых достижений второй половины 2010-х годов, но все равно проблема продолжает фигурировать в ряду трех наиболее острых.

Каждый третий россиянин недоволен тем, что не может обеспечить себе и своей семье нормальный отдых в период отпуска, и ситуация усугубилась вследствие принудительной изоляции и закрытия границ. Более четверти опрошенных не довольны тем, что не имеют возможности изъяснить свою политическую волю и выразить гражданскую позицию, — здесь произошел двукратный рост негативных оценок. Основными аспектами повседневной жизни, характеризующими ее качество (отношения с родными и друзьями, качество питания, условия проживания), россияне в целом довольны, и наметился позитивный тренд в удовлетворенности жилищными условиями (немалую роль сыграли меры социальной политики, направленные на поддержку россиян, приобретающих жилье).

Анализ удовлетворенности/неудовлетворенности россиян разными аспектами жизни показал, что теми из них, что укрепляют положение человека, определяют шансы на стабильность его занятости и доходов, респонденты чаще не довольны — это доступность необходимого для работы образования, шансы реализоваться в профессии, ситуации на работе: в ранжированном по убыванию доли положительных оценок списке все они оказываются в его нижней половине. Вероятно, именно поэтому общие оценки того, как складывается их жизнь, в целом «нейтральны», а доволен ею лишь каждый четвертый опрошенный [9. С. 15–17]. Важно подчеркнуть: самооценки удовлетворенности/неудовлетворенности разными аспектами повседневной жизни обуславливают психоэмоциональные состояния индивидов, а это основа формирующихся в обществе массовидных образований — общественных (умо)настроений, социальных чувств, духовной атмосферы, волевых побуждений [5].

Согласно данным Института, представленным на рисунке 2, психоэмоциональное состояние россиян в до- и пандемический периоды остается достаточно стабильным. Доминирующими типами личного социально-психологического самочувствия выступают «спокойствие, уравновешенность» (43%–45%) и тревожность (25%–29%). Интегральное социально-психологическое самочувствие общества сегодня можно оценить скорее позитивно, чем негативно, но все же примерно равное соотношение позитивного и негативного в психоэмоциональном состоянии общества — свидетельство неопределенности и противоречивости социального самочувствия россиян.



Рис. 2. Динамика оценок россиянами личного социально-психологического состояния, 2018–2021 годы, %

Таблица 3

Динамика позитивных и негативных оценок удовлетворенности разными аспектами собственной жизни, 2015–2021 годы, % (2)

Аспекты жизни	Хорошо				Плохо			
	2015	2018	2020	2021	2015	2018	2020	2021
Уровень социальной защищенности в случае потери работы			8	9			51	49
Возможность отдыха в период отпуска	21	22	17	16	32	27	35	35
Доступность качественной медицинской помощи		12	14	14		42	38	34
Возможность выражать свои политические взгляды	23	23	17	15	13	19	22	27
Возможности проведения досуга	28	33	26	25	20	18	21	21
Возможность реализовать себя в профессии	28	26	25	27	19	18	22	21
Материальная обеспеченность	14	17	10	14	24	23	28	20
Возможность получения необходимого образования	26	27	25	24	18	17	19	19
Ситуация на работе	28	27	22	24	15	13	19	17
Состояние здоровья	31	30	25	28	15	16	15	11
Одежда	24	29	26	28	11	11	11	8
Питание	32	37	32	34	8	7	7	7
Жилищные условия	32	37	37	42	11	11	9	7
Возможность общения с друзьями	52	53	49	45	4	5	7	7
Отношения в семье	57	59	55	59	4	4	5	4
Жизнь в целом складывается	28	28	23	25	7	8	10	6

Это подтверждается и анализом тех социальных самоощущений, которые были наиболее распространены в российском обществе весной 2021 года.

С одной стороны, более трети россиян часто испытывали за прошедший год опасения заболеть коронавирусом (44%), чувствовали беспомощность и невозможность повлиять на события (38%), а также несправедливость происходящего вокруг (36%). С другой стороны, они ощущали надежную поддержку близких и коллег, были убеждены, что в случае необходимости им помогут (56%). Именно чувство взаимопомощи и поддержки наиболее распространено в обществе. Вполне ожидаемо, что опасения, связанные с пандемией, — наиболее частотные самоощущения: тревога за свое здоровье усугубляется осознанием невозможности повлиять на происходящее и проявлениями несправедливости (Табл. 4).

Таблица 4

**Распространенность чувств, испытываемых россиянами за последний год,
март 2021 года, % (3)**

Чувства	Часто	Иногда (не реже одного раза в месяц)	Практически никогда
Негативно окрашенные			
Испытывали опасения заболеть коронавирусной инфекцией	44	37	19
Чувствовали собственную беспомощность повлиять на происходящее	38	38	24
Чувствовали несправедливость всего происходящего вокруг	36	43	21
Испытывали страх перед будущим из-за ситуации на работе, % от числа работающих	29	38	33
Чувствовали, что дальше так жить нельзя	26	37	37
Чувствовали стыд за нынешнее состояние страны	25	37	38
Позитивно окрашенные			
Чувствовали надежную поддержку близких и коллег, знали, что они придут на помощь, если понадобится	56	36	8
Испытывали чувство гордости за достижения страны в деле создания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции	29	41	30
Испытывали удовлетворенность тем, как справились с трудностями в прошедшем году	24	52	24
Были довольны, что дела идут по плану	20	48	32
Чувствовали, что остается потерпеть еще немного, и жизнь наладится	16	43	41
Испытывали удовлетворенность поддержкой со стороны государства	10	34	56

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, в 2020 году 38% опрошенных не ощущали стыда за состояние страны, а 37% полагали, что жизнь в сложившихся условиях вполне приемлема. 29% часто испытывали гордость за достижения России — создание отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Таким образом, судя по оценкам пережитого за прошедший год, россияне оказались умеренно пессимистичны. Скорее всего, это обусловлено присущей им психологической

устойчивостью, предпринимаемыми ими действиями и распространенным в обществе чувством поддержки со стороны ближайшего окружения.

Уже в первые недели пандемии не без участия авторитетных масс-медиа и экспертов в публичном пространстве стали активно распространяться мнения о грядущем кардинальном изменении смысложизненных координат человека и общества, смене их целеполагания. Как показали исследования Института, базовые смысложизненные цели, ценности и установки россиян продемонстрировали свою устойчивость. Определенные изменения имели место, но главный тренд допандемийного периода сохранился — рост распространенности ориентации на собственные силы, инициативу и предприимчивость, что, в свою очередь, повлияло на усиление значимости ценности свободы как ключевой предпосылки успешной реализации установок на инициативу и личную ответственность.

В целом можно утверждать, что коронавирус усилил прежние долгосрочные тренды эволюции нормативно-ценностной системы. Однако ограниченность возможностей россиян в плане собственной активности в сложных условиях, прежде всего в контексте следующих друг за другом экономических кризисов, способствовала тому, что тенденции роста личной ответственности и инициативности начали сочетаться с сохранением устойчивой доли тех, кто ставит на первое место среди факторов, определяющих их жизнь, внешние обстоятельства. Более того, за последнее время доля стремящихся «не высовываться» и «жить как все» даже выросла. Подобное сочетание, как правило, нехарактерное для эволюции нормативно-ценностных систем в современную эпоху, выглядит на первый взгляд парадоксальным. Объяснить его можно, видимо, жесткими структурными ограничениями, хотя и непреднамеренно, но формирующими барьеры для проявления активности граждан и сдерживающих их возможности адаптации к новым условиям и улучшения собственного положения.

Если обратиться к оценке соотношения в массовом сознании инструментальных ценностей, то наиболее характерной их особенностью является рост значимости чистой совести в противовес ценностям материального благополучия и карьеры. Это не означает, что россияне не хотели бы иметь надежное материальное обеспечение или сделать карьеру, но в массе своей они не готовы достигать этих целей любой ценой. Коронавирус внес вклад и в этот сформировавшийся задолго до него тренд. За годы, прошедшие с благополучного досанкционного 2013 года, соотношение приверженцев установок на чистую совесть и соблюдение моральных норм, с одной стороны, и ориентированных на материальное благополучие и карьеру любой ценой — с другой — вместо 0,99:1 стало 1,24:1. При этом молодежь до 25 лет характеризуется несколько большим, нежели среднестатистический, этическим релятивизмом, но разница эта сравнительно невелика, и уже после 30 лет у россиян начинает доминировать неготовность жертвовать чистой совестью ради материального благополучия или профессионального успеха.

Проведенные исследования установили важную закономерность: жизненные цели россиян корреспондируют с их ценностями. Наиболее распространены среди последних такие, как честно прожить свою жизнь, создать счастливую семью, обладать отдельной квартирой или домом, иметь надежных друзей и воспитать хороших детей. В число жизненных целей большинства россиян в принципе не входят такие, как стать знаменитым, получить доступ к власти, попасть в определенный круг людей, организовать собственный бизнес и оказывать влияние на происходящее в обществе в целом или в месте проживания. Наибольший скепсис в отношении возможности их реализации вызывают такие важные цели, как получение хорошего заработка, обретение престижной работы, посещение разных стран мира, богатство — цели, характеризующие не «нормальную», а «очень хорошую» для современной России жизнь.

Учитывая выявленную модель жизненных целей россиян и взгляды на возможность их достижения, вполне предсказуемо, что недовольство собственным положением не затрагивает у большинства тех глубинных ценностных оснований, которые делают повседневную жизнь приемлемой даже при наличии ряда проблем в условиях пандемии. Хотя за последнее десятилетие резко выросла доля россиян, винящих в невозможности реализовать свои жизненные планы сложившиеся в стране порядки, на фоне значимого сокращения доли тех, кто винит в нереализованности личных планов самих себя. Подобная тенденция свидетельствует об усилении ощущения непреодолимости структурных ограничений, препятствующих реализации индивидуальных устремлений, а также о накоплении социального недовольства. Как правило, это ощущение сильнее проявляется у той части молодежи, которая не надеется получить хорошее образование и устроиться на престижную работу: доля считающих, что им не удастся реализовать свои планы потому, что в современной России это практически невозможно, составляет половину.

В то же время нельзя утверждать, что претензии к управленческим институтам по поводу невозможности реализовать свои жизненные планы достигли критического уровня: в том, что задуманное не состоялось из-за факторов макроуровня, убеждены менее трети россиян. Каждый девятый считает, что ему просто не повезло; более чем у трети замыслы либо уже свершились, либо они ни к чему особо и не стремились. Остальные винят в нереализованности планов самих себя или ближайшее окружение. Все это свидетельствует о том, что ситуация пока не является необратимой даже с учетом того, что объективные возможности реализации достаточно скромных запросов подавляющего большинства россиян в последние годы сократились, а количество барьеров, связанных, прежде всего, со структурой экономики и ситуацией на рынке труда, выросло.

В контексте анализа социальных последствий пандемии представляет особый интерес вопрос о том, как россияне относятся к тому новому, что появилось в нашей жизни и, возможно, приобретет устойчивый характер. Согласно Рисунку 3, наиболее позитивное отношение у россиян вызывают:

внимание к своему здоровью, соблюдение социальной дистанции (4), обязательное ношение масок и регулярные вакцинации. Безусловно, откровенно, что две трети россиян заявляют о повышенном внимании к своему здоровью. Однако анализ данных о распространенности самосохранительных практик показывает, что, с одной стороны, в период пандемии многие носили маски и сократили количество контактов, но, с другой стороны, не считают нужным делать частью повседневной жизни занятия физкультурой и спортом, здоровое питание и другие самосохранительные практики, способные долгие годы поддерживать здоровье в хорошем состоянии. Таким образом, распространенное реактивное отношение российского населения к своему здоровью, при котором заботиться о нем начинают только после его ухудшения, при наличии проблем в системе отечественного здравоохранения и отсутствии достаточных средств на платную медицинскую помощь, ставит под сомнение реализацию программы активного долголетия и в перспективе окажется дополнительным вызовом для рынка труда, пенсионной системы и медицины.

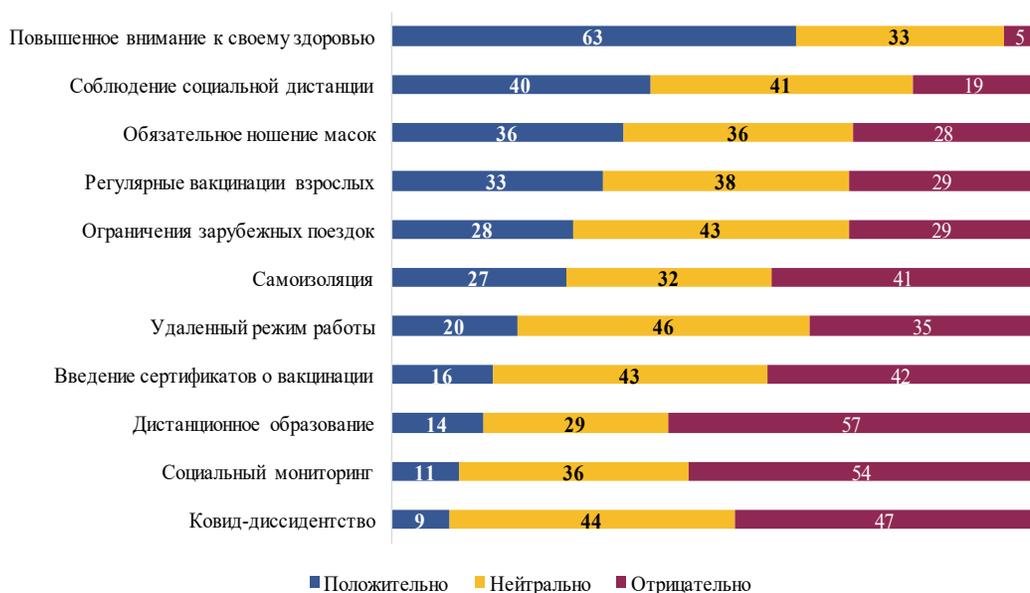


Рис. 3. Как россияне относятся к новому, появившемуся в условиях пандемии, что, возможно, сохранится в будущем, март 2021 года, %

Что касается наиболее негативного отношения россиян к тому, что активно вошло в повседневную жизнь с пандемией, то это, в первую очередь: дистанционное образование, социальный мониторинг, ковид-диссидентство, самоизоляция и сертификаты о вакцинации. Тот факт, что лидером негативного отношения оказалось дистанционное образование, можно оценивать по-разному, но очевидно, что непосредственный, живой, личный контакт в образовательном процессе не может быть полностью заменен опосредованным, к тому же на длительный период времени.

И в условиях пандемии важное место во внутреннем мире россиян продолжают занимать мысли о будущем: о своих личных перспективах задумываются свыше 90%, о будущем России — около 80%. Эмоциональная тональность подобных размышлений различна, но в целом позитивна, хотя о судьбе страны респонденты думают с большей тревогой, нежели о своей. Полное спокойствие и твердую уверенность в завтрашнем дне страны выразили 18% — почти столько же сомневаются в благоприятных для нее перспективах (доминирующая массовая оценка: страну ждут трудные времена). Видение будущего страны разделило россиян на две равные группы — оптимистов и пессимистов. Однако даже среди *видящих* «завтра» России в позитивных тонах уверенных в этом меньшинство — большинство на это только надеется. Соответственно, общее результирующее умонастроение — неопределенность, а ее главный фактор — коронакризис, его реальные и мнимые издержки и последствия. В то же время списывать подобные массовые настроения исключительно на пандемию неправильно — многие обусловлены допандемическими оценками социально-экономического положения страны в последние пять лет как «стабильности без развития», способствующей консервации бедности и снижению уровня жизни.

Проведенные опросы выявили некоторый сдвиг приоритетов по вопросу о том, какой людям хотелось бы видеть Россию будущего. Если в предыдущие годы на первое место выдвигался принцип равенства граждан перед законом, то в последнее время, при сохранении высокой значимости этого принципа, главным становится требование социальной справедливости. К числу важных для россиян характеристик России будущего относятся также сохранение национальных традиций, проверенных временем нравственных и религиозных ценностей, укрепление международных позиций страны как великой державы, объединяющей различные народы, сильная власть, обеспечивающая порядок и устойчивое развитие страны, высокотехнологичная наукоемкая экономика, достойное финансирование социальных статей бюджета. По сути, ориентация общества на такие приоритеты отражает и государственное целеполагание.

Примечания

- (1) Здесь и далее данные Росстата взяты из раздела «Официальная статистика — Население» официального сайта Федеральной службы государственной статистики; данные по 2020 год — из раздела «Срочная информация и справки по актуальным вопросам» (URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/10705>, https://gks.ru/bgd/free/B04_03/Main.htm).
- (2) Данные приводятся по состоянию на 2021 год в порядке убывания плохих оценок. В таблице не указаны давшие ответ «удовлетворительно» и затруднившиеся с ответом, поэтому общая сумма ответов по строке может быть меньше 100%.
- (3) Проранжировано по доле часто испытывавших соответствующее чувство.
- (4) Авторы статьи разделяют мнение академика РАН А.В. Торкунова: «термин “социальная дистанция” можно считать явно неудачным, поскольку он фактически обосновывает идею разобщения людей и разделения общества, дает возможность для дискриминации и ксенофобии... Лучше использовать понятие “физическая дистанция” как средство предотвращения распространения вируса» [8. С. 7].

Информация о финансировании

Статья подготовлена при поддержке РФФ. Проект № 20-18-00505 «Влияние нематериальных факторов на консолидацию российского общества в условиях новых социокультурных вызовов и угроз».

Библиографический список

- [1] *Абрамов А.В., Багдасарян В.Э., Бышок С.О. и др.* Пандемия covid-19: Конец привычного мира? // Вестник Московского государственного областного университета. 2020. № 2.
- [2] *Волков Ю.Г., Курбатов В.И.* Глобальная социология пандемии: отечественные и зарубежные сценарии и тренды послекоронавирусного мира // Гуманитарий Юга России. 2020. Т. 9. № 2.
- [3] Вызовы пандемии covid-19: психическое здоровье, дистанционное образование, интернет-безопасность. Т. 1 / Сост.: В.В. Рубцов, А.А. Шведовская. М., 2020.
- [4] *Гафиятулина Н.Х., Касьянов В.В., Самыгин П.С., Самыгин С.И.* Российское общество в условиях самоизоляции. Социальные эффекты и последствия пандемии covid-19. М., 2020.
- [5] *Горшков М.К.* К вопросу о социологии массовидных духовных образований (теоретико-методологический аспект) // Социологические исследования. 2021. № 2.
- [6] *Гришин В.И., Домащенко Д.В., Константинова Л.В. и др.* Жизнь после пандемии: экономические и социальные последствия // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2020. Т. 17. № 3.
- [7] Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с covid-19 в России. М., 2020.
- [8] Пандемия covid-19: Вызовы, последствия, противодействие / Под ред. А.В. Торкунова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова; вступ. слово А.В. Торкунова. М., 2021.
- [9] Российское общество в условиях пандемии: год спустя (опыт социологической диагностики). Информационно-аналитический бюллетень (ИНАБ). 2021. № 2.
- [10] Социология пандемии. Проект коронаФОМ / Рук. авт. колл. А.А. Ослон. М., 2021.
- [11] *Тощенко Ж.Т.* Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт теоретического и эмпирического анализа). М., 2020.
- [12] *Ярлова Т.В., Сидяков Д.Ю.* Социальные последствия пандемии новой коронавирусной инфекции в контексте качественного развития современного российского общества // ЕСУ. 2020. № 7.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-739-754

The state and dynamics of the Russian mass consciousness and behavioral practices under the covid-19 pandemic*

M.K. Gorshkov, I.O. Tyurina

Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of RAS
Krzhizhanovskogo St., 24/35–5, Moscow, 117218, Russia
(e-mail: m_gorshkov@isras.ru; irinal-tiourina@yandex.ru)

Abstract. The expansion of the covid-19 has created a new pandemic social reality. In fact, for the first time in modern history, mankind faces a global crisis determined not by geopolitical or economic challenges but by a disease which spreads in most countries and all continents as a

* © М.К. Горшков, И.О. Тюрин, 2021

The article was submitted on 02.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

pandemic, which affects the current social-economic processes and development forecasts, reveals and intensifies the most acute social problems, and significantly transformed the functioning of the contemporary society. The pandemic was a complete surprise for the world and national communities — a surprise not so much medical or epidemiological as social. Already at the beginning of the pandemic, there was an opposition of two approaches to its probable social consequences. Some experts believed that it would change the society radically and irreversibly, would transform social institutions and change everyday life, and “the world will never be the same”. Others argued that the new social practices would not affect the deepest foundations of the established social order which would be later restored in its pre-coronavirus form [10]. However, it is obvious that the global and extraordinary social upheavals caused by the pandemic would have large-scale social consequences that need to be described and analyzed, in particular the impact of the coronavirus on the most important spheres and aspects of life as assessed by the people. The article is based on the results of the all-Russian sociological study and presents a comprehensive analysis of the Russian life under the pandemic. The authors provide data on the dynamics of material and social situation of Russians, explain the impact of the pandemic on the social-psychological well-being, public mentality and spiritual atmosphere. The authors pay particular attention to the behavioral practices of different groups of the Russian population according to their adaptation to new social-economic conditions, preservation and development of human potential, and view of the country’s future.

Key words: Russian society; covid-19 pandemic; social consequences; collective spiritual phenomena; behavioral practices; adaptation; everyday life satisfaction; social-psychological state of society; future of Russia

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 20-18-00505 “Mass attitudes, values and beliefs as factors offsetting social-cultural challenges and threats to social cohesion in the contemporary Russian society”.

References

- [1] Abramov A.V., Bagdasaryan V.E., Byshok S.O., et al. Pandemiya covid-19: konets privychnogo mira? [Covid-19 pandemic: The end of the familiar world?]. *Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Oblastnogo Universiteta*. 2020; 2. (In Russ.).
- [2] Volkov Yu.G., Kurbatov V.I. Globalnaya sotsiologiya pandemii: otechestvennye i zarubezhnye stsennari i trendy poslekoronavirusnogo mira [Global sociology of pandemic: Russian and foreign scenarios and trends of the post-coronavirus world]. *Gumanitarny Yuga Rossii*. 2020; 9 (2). (In Russ.).
- [3] *Vyzovy pandemii covid-19: psikhicheskoe zdorovie, distantsionnoe obrazovanie, internet-bezopasnost* [Challenges of the covid-19 Pandemic: Mental Health, Distance Education, Internet Safety]. Vol. 1. Moscow; 2020. (In Russ.).
- [4] Gafiatulina N.Kh., Kasyanov V.V., Samygin P.S., Samygin S.I. *Rossiyskoe obshchestvo v usloviyakh samoizolyatsii. Sotsialnye efekty i posledstviya pandemii covid-19* [Russian Society in Self-Isolation. Social Effects and Consequences of the Covid-19 Pandemic]. Moscow; 2020. (In Russ.).
- [5] Gorshkov M.K. K voprosu o sotsiologii massovidnyh duhovnyh obrazovaniy (teoretiko-metodologicheskyy aspekt) [On sociology of collective spiritual phenomena (theoretical-methodological aspect)]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2021; 2. (In Russ.).
- [6] Grishin V.I., Domashchenko D.V., Konstantinova L.V., et al. Zhizn posle pandemii: ekonomicheskie i sotsialnye posledstviya [Life after the pandemic: Economic and social consequences]. *Vestnik REU im. G.V. Plexanova*. 2020; 17 (3). (In Russ.).
- [7] *Obshchestvo i pandemiya: opyt i uroki borby s covid-19 v Rossii* [Society and Pandemic: Experience and Lessons Learned in the Fight against the covid-19 Pandemic in Russia]. Moscow; 2020. (In Russ.).

- [8] *Pandemiya covid-19: Vyzovy, posledstviya, protivodejstvie* [Covid-19 Pandemic: Challenges, Consequences, Counteraction]. Moscow; 2021. (In Russ.).
- [9] Rossijskoe obshchestvo v usloviyah pandemii: god spustya (opyt sotsiologicheskoy diagnostiki) [Russian society under the pandemic: One year later (an example of sociological diagnostics)]. *Informatsionno-Analitichesky Byulleten (INAB)*. 2021; 2. (In Russ.).
- [10] *Sotsiologiya pandemii. Proekt koronaFOM* [Sociology of Pandemic. Project CoronaFOM]. Moscow; 2021. (In Russ.).
- [11] Toshchenko Zh.T. *Obshchestvo travmy: mezhdru evolyutsiei i revolyutsiei (opyt teoreticheskogo i empiricheskogo analiza)* [Society of Trauma: Between Evolution and Revolution (A Theoretical-Empirical Analysis)]. Moscow; 2020. (In Russ.).
- [12] Yarovova T.V., Sidiyakov D.Yu. Sotsialnye posledstviya pandemii novej koronavirusnoj infektsii v kontekste kachestvennogo razvitiya sovremennogo rossijskogo obshhestva [Social effects of the new coronavirus pandemic for the development of the contemporary Russian society]. *ESU*. 2020; 7. (In Russ.).



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-755-768

Compulsory vaccination: Public benefit or individual's right limitation*

O.A. Yastrebov

RUDN University

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: rector@rudn.ru)

Abstract. Mass vaccination and its controversial assessments have become key issues under the covid-19 pandemic. Outbreaks of diseases and popularity of anti-vaccination movements require a study of legal foundations for medical interventions and freedom restrictions which are considered as the result of serious risks to health and sanitary-epidemiological well-being of the population. The question is what should be prioritized — paternalistic powers of the state or individual rights and freedoms to decide what risks to take. In terms of responsibility distribution, people often consider vaccines as more dangerous than infectious diseases [17], which makes compulsory vaccination a legal phenomenon of particular importance. In the contemporary legislation, there are various national approaches to the individual autonomy and freedoms. In some countries, vaccination is directly linked to the possibility to study (USA), in others it is associated with 'public health' (Australia), financial sanctions (Poland) or freedoms' limitations (Pakistan). In terms of public health ethics, vaccination is similar to the use of seat-belts in cars, and compulsory vaccination policy is ethically justified by the same reasons as mandatory seat-belt laws [8]: at first, they were met with great opposition; later the use of seat belts acquired the significance of not only a legal but also a social norm precisely because it was made mandatory [1]. The similar approach is applicable to vaccination: the policy of compulsory vaccination can make it a social norm. However, in the legal perspective, compulsory vaccination is a compulsory medical intervention which raises the question about whether it is possible to limit individual rights and freedoms in the name of public health safety. The article considers contradictory issues in the state policy of compulsory vaccination and its legal support. The author presents a definition of compulsory vaccination, identifies its types, describes the specifics of its national legal regulation and sanctions for the refusal to be vaccinated, and explains its social necessity and expediency as a public good.

Key words: vaccination; compulsory vaccination; public interest; individual rights and freedoms; restriction of rights and freedoms; private life; public health

Legal regulation of compulsory vaccination: the choice of priorities

Vaccination is a set of measures aimed at the formation of anti-infectious immunity by injecting vaccines into the human body, which is officially recommended or prescribed due to the fact that infectious diseases pose a serious threat to the health of individuals and to the sanitary-epidemiological well-being of

* © O.A. Yastrebov, 2021

The article was submitted on 05.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

the population. Vaccination can be both voluntary and mandatory. Many states face such a phenomenon as anti-vaccination challenging the safety and effectiveness of vaccination, i.e., people refuse to vaccinate themselves or their children. However, many of them think that vaccines in general are good and even argue that people have a moral obligation to be vaccinated, but they oppose government coercion in the name of individual freedom or others value like physical inviolability.

Today the state provides an extensive system of means for individual rights protection from unreasonable restrictions. At the same time, the state is a bearer of public interest and must protect not only individual rights but the society as a whole from those large-scale threats that entail mass infectious diseases. Thereby, it is necessary to develop a state policy to harmonize the interests and rights of individuals and public. One of its instruments is *compulsory vaccination* which helps to reduce morbidity and mortality. It is also called mandatory, coercive or obligatory vaccination without focusing on semantic nuances and differences between them.

There are two main forms of such vaccination: direct and indirect. In the *direct form*, the obligation to be vaccinated is ensured by the compulsory administration of the vaccine: citizens are forced to be vaccinated by the direct legal obligation or the direct threat of adverse consequences, including criminal penalty. This is compulsory vaccination ‘in its absolute form’, i.e., by definition ignores the personal consent, infringement of physical integrity and provisions of the Article 8 of the European Convention on Human Rights [13]. The *indirect form* implies relative forms of coercion, which have negative consequences in case of the vaccination refusal but not the compulsory administration of the vaccine. This form of compulsory vaccination is chosen by the majority of states: the obligation to vaccinate is not established directly — rather by limiting the individual’s choices and by making vaccination a condition for certain services (restaurants, theaters, etc.), industries (health care, etc.) or state benefits. Thus, the state establishes legal conditions to indirectly force individuals to accept vaccination, such as ensuring negative consequences in case of vaccination refusal.

The legal term ‘compulsory’ means that vaccination becomes a legal requirement ensured directly or indirectly by the legal enforcement measures, i.e., compulsory vaccination turns into a legal regime, according to which a refusal to vaccinate is illegal and can have legal consequences. Such a legal regulation can be considered as mandatory vaccination when parents of unvaccinated children are fined or certain benefits depend on children vaccination (exclusion of children from public schools for non-medical excuses for not being vaccinated, when unvaccinated workers are suspended from work, etc.).

The study of data from 108 countries on the legal consequences for people refusing vaccination allowed to identify four types of such penalties [9]: financial (fines) — influence the financial position of the individual (32 countries); restriction of parental rights or loss of guardian status (for example, in Italy, there are procedures to temporarily revoke custody); educational penalties — limit the

access of the unvaccinated child to education; imprisonment (for up to 6 months in 12 countries, mainly in Africa). In addition to these four types of penalties, another one should be named — suspension of unvaccinated workers and limitation of access to certain services (restaurants, theaters, public transport, etc.) and benefits. Compulsory vaccination rules are applied in more than 100 countries within different legal systems.

Compulsory vaccination in the Anglo-Saxon countries (Australia and the USA)

In Australia, the compulsory vaccination model makes certain benefits dependent on vaccination. According to the 2017 Bill of Rights, everyone has the right of physical and psychological integrity (Article 12), and every child has fundamental rights and freedoms of one's age (Article 18). Moreover, the Article 3 emphasizes that rights and freedoms are subject only to such reasonable legal restrictions that can be clearly justified in a free and democratic society. Australia's No Jab, No Pay Act obliges parents to vaccinate their children and deprives them the right to freely consider the risks and benefits of such medical interventions as vaccination, which contradicts the Australian Immunization Guidelines setting the criteria for *legally valid consent* to medical intervention. Such consent must be given voluntarily in the absence of undue pressure, coercion, or manipulation and can only be given after the potential risks and benefits of the vaccine, the risks of not having it and any alternative options were explained. Thus, there is a conflict between the federal law of Australia No Jab, No Pay and the right to legally valid consent, which is still ignored by politicians and doctors.

In Australia, children must complete all vaccinations according to the Young Child Vaccination Schedule in order to get access to financial benefits. After the No Jab, No Pay Act came into force in January 2016, this schedule has expanded — diphtheria, tetanus and pertussis vaccines at 18 months (up to six doses for children) and meningococcal combination vaccine ACWY for 12-month-olds. Thus, in the name of public good, the Australian government forces its citizens, namely the parents, to vaccinate their children. There have been cases when the courts allowed a child to be vaccinated against the will at least one parent: the judges explained that they were acting 'in the best interests of the child' and based their decision on the scientific evidence, including the risk assessments by medical practitioners. For instance, the Supreme Court of Queensland considered the case when both parents refused to vaccinate a child born to a mother with chronic hepatitis B, thereby exposing the child to a 10–20% risk of infection (which would mean a 90% chance of chronic infection and a 25% chance of cirrhosis and/or hepatocellular carcinoma). The baby could not be examined until 9 months old, but it was possible to immediately vaccinate him to significantly reduce the risk of infection. The judge decided to vaccinate the child.

In the United States, a deadly smallpox epidemic swept the northeast in 1901, and the Boston and Cambridge health councils ordered all residents to be vaccinated.

Some of them refused arguing that the vaccination order violated their personal rights and freedoms guaranteed by the Constitution. In 1905, the Supreme Court made a historic decision by recognizing the government's right to 'reasonably' limit personal freedoms under the public health crisis by imposing fines on those who refused vaccination. Moreover, the court noted that the state had an obligation to use coercion to protect the lives of citizens from the threat of a fatal disease. This decision became a judicial precedent: in the early period of the covid-19 pandemic, when states issued closure orders and banned mass gatherings, several judges justified these restrictions by citing the *Jacobson v. Massachusetts* case as the last Supreme Court direct address to the state under the epidemic. Considering this precedent, it can be assumed that the lawsuits on violation of constitutional rights by compulsory vaccination will be lost in the United States. Nevertheless, the position of the US Supreme Court can be justified only under the real deadly threat and not an organized political ploy. However, the Court admitted that the threat might not be real if those who decide to vaccinate believe in vaccine effectiveness, which provides a loophole for officials.

In Texas, a lawsuit was filed by 117 hospital employees who demanded the abolition of compulsory vaccinations. In particular, the lawsuit alleged a violation of medical ethical standards known as the Nuremberg Code: this international document introduced ethical standards for scientists involved in medical experiments on humans. It includes 10 principles, the main one of which is the mandatory voluntary consent to participate in the research, i.e., the participant must be informed about its nature, duration, purpose and possible consequences, and another principle is the inadmissibility of compulsory vaccination as a must to work in the hospital. The experts immediately argued that the plaintiffs' assertion that the vaccine was experimental was controversial: tens of thousands of people underwent clinical trials of the third phase of the vaccine. Plaintiffs accused the hospital administration of violating the state law and federal health care law on the use of medical devices in emergencies, claiming that coronavirus vaccines were only allowed for emergency use, and asked the court to prohibit the hospital to fire unvaccinated employees. However, their claim was dismissed by the court. Since the pandemic determined the public health crisis, it can be assumed that the judges may recognize the right of employers to demand vaccinations from their workers.

The legal mechanism of compulsory vaccination in the United States depends on judicial precedents prevailing in different states. For instance. these are cases when the parents' refusal to vaccinate their children was considered by courts as a medical neglect (refusal to seek medical help to prevent, investigate, or treat a disease) with criminal penalties [6]; the parent may be charged with child abuse which can result in a criminal fine and imprisonment; health care neglect is a form of child neglect (not just medical) and constitutes child abuse in the US criminal law. Therefore, one of the most important government policies to support compulsory vaccination consists of treating vaccine refusal as medical neglect and to report such cases to the Child Protection Services (CPS) or similar agencies [4]

to make a child vaccinated so that he can attend a public, private or parish school, or get ‘other adequate and systematic education’ (like a home tutor). For instance, according to the Arkansas law, vaccination is a condition for attending an accredited school and does not allow any religious exception (parents’ refusal to vaccinate their child is considered a neglect).

In some states of America, health authorities have the *emergency powers* to force people to vaccinate. For example, in Wisconsin, the public health authority can take the following steps to respond to a public health emergency: order any person to be vaccinated, unless vaccination can cause serious harm or is denied for religious reasons; isolate or quarantine any person who is unable or unwilling for these reasons to be vaccinated. In Connecticut, under a public health emergency declared by the Governor, his commissioner can order vaccination of all residents of the area as a reasonable and necessary measure to prevent the spread of an infectious disease. The commissioner must inform such residents on benefits and risks of the vaccine and on the possibility to refuse vaccination for any reason. No child can be vaccinated without a parent’s or guardian’s written consent. However, the commissioner can issue a quarantine or isolation order for any person or group unable or unwilling to be vaccinated. In New Mexico, under a public health emergency, to prevent the spread of an infectious disease, the Minister of Health can isolate or quarantine a person unable or unwilling to be vaccinated.

Compulsory vaccination in the EU countries

Article 3 of the EU Charter of Fundamental Rights (CFR) guarantees the right of personal physical and mental integrity. In the field of medicine and biology, it means the free and informed consent to medical intervention. However, according to Article 35 of the Health Charter, “everyone has the right to access preventive health care and the right to receive health care in accordance with the conditions established by the national law and practice. A high level of human health protection must be ensured when defining and implementing all policies and activities of the Union”. Thus, the right of physical integrity correlates with the high value of public health in the EU, and to understand the real mechanism of this correlation and practical priorities, we should consider the relevant legal acts, such as the European Court of Human Rights (ECHR) decisions on compulsory vaccination as necessary in the democratic state.

For instance, in the decision on the group of cases *Vavříčka v the Czech Republic* (Czech families were punished for refusing to vaccinate their children), in April 2021, the ECHR declared that democracies can make vaccination compulsory, which is not a violation of democratic norms, and this decision on mandatory vaccination against childhood diseases could have implications for the covid-19 vaccination policy. The ECHR explained that in the Czech Republic, there is a general legal obligation to vaccinate children against 9 well-known diseases, which cannot be considered physical coercion. Parents who refuse vaccination without a valid reason can be fined, and their unvaccinated children are not admitted

to kindergartens (with an exception of medical recusals). The ECHR also mentioned that compulsory vaccination was an involuntary medical intervention, thus, constituting an attack on physical integrity and affecting the respect for privacy protected by Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention). However, the ECHR considered whether such an interference corresponded to a “pressing social need”, was “proportionate to the legitimate aim pursued”, and the reasons of the national authorities were relevant and sufficient. The ECHR admitted that the Czech policy pursued the legitimate aim of protecting health and rights of citizens, and that vaccination protected both vaccinated and those who could not be vaccinated for medical reasons and depended on the collective immunity.

Thus, compulsory vaccination is a response of national authorities to the clear social need to protect individual and public health and to stop the downward trend in children vaccination rates. The ECHR stated that the Czech health policy was in the best interests of children — to be protected from serious diseases by vaccination or collective immunity, i.e., there was no violation of Article 8 of the European Convention in the decision of the Czech authorities to introduce compulsory vaccination — the decision “was fully consistent with the protection of public health”.

In the similar case *Solomakhin v Ukraine*, the ECHR decided that compulsory vaccination could be justified by “the need to control the spread of infectious diseases”. The ECHR admitted that preventive vaccinations against tuberculosis, poliomyelitis, diphtheria, pertussis, tetanus and measles were mandatory in Ukraine, and the corresponding demographic groups and categories of workers, procedures and schedule of vaccination were set by the Ukrainian Ministry of Health. According to Article 2 of the Convention, Solomakhin complained about the harm to his health due to the alleged medical negligence (vaccination on November 28, 1998 resulted in a number of chronic diseases). The government representatives agreed that the mandatory vaccination constituted an intervention with the applicant’s private life, but it was justified — preventive vaccination against diphtheria was compulsory according to Article 27 of the Health and Disease Control Act 1994, and the Ministry of Health set its procedure and timing in the instructions (Order No. 14 of January 25, 1996). The government officials argued that the medical intervention pursued the legitimate aim of protecting applicant’s and public health from diphtheria as a highly contagious and dangerous disease in the difficult epidemiological situation in the country. The ECHR noted that the applicant’s allegations had been scrutinized by national courts as unsubstantiated, and national courts revealed only one minor irregularity in the vaccination procedure — administration outside the vaccination room, which did not affect the applicant’s health. Moreover, the applicant had not experienced any known side effects of vaccination (based on the sufficient medical data collected at the request of the applicant and courts), i.e., the applicant did not submit any evidence to challenge the findings of the national authorities. Therefore, the ECHR did not identify any violation of Article 8 of the European Convention.

Although the ECHR decisions can be considered precedents proving that compulsory vaccination does not contradict the European Convention, this does not mean that European countries can force people to be vaccinated — according to Article 8 of the European Convention, vaccination strategies are legal only if they are proportionate, do not become an unduly burden for those affected, and their benefits should compensate for any harm done. Compulsory vaccination can be justified only if necessary and proportionate for ensuring public health, administered by the competent authority with the right to set public-health goals and not restricting individual freedoms longer than necessary, i.e., policymakers need to constantly reevaluate the use of their powers to make sure that they remain necessary and proportionate [5].

Compulsory vaccination is one of the strategies adopted by some European countries to protect population when vaccination coverage is unsatisfactory. In Italy, in 2017, vaccination against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliovirus, haemophilus influenzae type b, measles, mumps, rubella and chickenpox became mandatory in childhood. Other European countries recommend or plan mandatory vaccines against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliovirus, hemophilus influenzae type b, measles, mumps, rubella and chickenpox [3]. In Latvia, there are 10 compulsory vaccines for children, in Bulgaria, Croatia, Czech Republic, France, Hungary, Poland and Slovakia — up to 9 mandatory childhood vaccines. All European countries recommend or introduced mandatory vaccines against tetanus, diphtheria, pertussis, hemophilus influenza B, hepatitis B, poliovirus, mumps, measles and rubella (except Iceland with no recommended vaccination against hepatitis B).

Almost all EU countries have a long tradition of developing and implementing vaccination programs differing not only in types of vaccines used, number of doses and timing of vaccination, but also in whether vaccines are recommended or compulsory (11 out of 31 countries considered have at least one mandatory vaccine). The World Health Organization (WHO) supports the intentions of individual countries to move towards compulsory vaccination programs when they face declining vaccination rates and disease outbreaks. Moreover, “WHO is very interested in learning from countries about vaccine mandate in order to better understand the impact on immunization coverage and the strengths and weaknesses of such approaches” [23]. The legal mechanism for compulsory vaccination is provided for the basic international legal treaty of the WHO — International Health Regulations (IHR) adopted in 2005. According to Paragraph 1 of Article 31, in the cases specified by them, the state has the right to require from travelers to be vaccinated, to have a certificate of vaccination, or to introduce other preventive measures. According to Paragraph 2 of Article 31, if such a traveler refuses to accept any of these measures or to provide information or documents, the state can prohibit his entry. Under the proved public health risk, the state, in accordance with the national law and to the extent necessary to control such a risk, “may compel the traveler to undergo or recommend vaccination”, other preventive or additionally

established health measures to control the spread of the disease, including isolation, quarantine or placing the traveler under medical supervision.

Thus, the general legal regulation of compulsory vaccination includes the following elements: legislative acts or judicial precedents forcing special categories of population to be vaccinated; acceptance of the informed refusal to vaccinate; adverse consequences for those who refuse vaccination as required by the national law; the right to demand vaccination in case of its absence.

Legal regulation of compulsory vaccination in Russia

In Russia, at the legislative level, there is a general rule that any preventive vaccination is voluntary, i.e., everyone has the right to refuse vaccination based on the right of the informed voluntary consent to any medical intervention according to Article 20 of the Federal Law “On the Basics of Health Protection of Citizens in the Russian Federation” of November 21, 2011 (Law No. 323-FZ). Everyone’s right to refuse vaccination is guaranteed by Article 5 of the Federal Law “On Immunoprophylaxis of Infectious Diseases” of September 17, 1998 (Law No. 157-FZ). There is no legal norm directly establishing the legal obligation of citizens to be vaccinated. However, Law No. 157-FZ introduces (without any legal definition) the concept of compulsory vaccination for preventive (routine) vaccinations for special categories of citizens against the number of diseases set in Article 9, and for preventive vaccinations under the *epidemic* for special categories of citizens (with the highest risk), the list of which is set by the federal executive body authorized by the Russian Government (Article 10). Nevertheless, citizens from both groups for compulsory vaccination also have the right (Part 1, Article 5, Law No. 157-FZ) to refuse vaccination.

According to the WHO recommendations, vaccinations are divided into routine and emergency. Under the epidemic level with no collective immunity (at least 60% of the adult population), in the first half of 2021, the Russian Government started the mass emergency vaccination, which raised two important issues: expanding the vaccination activity of citizens under the lack of the direct legal obligation to vaccinate, and ensuring the efficient compulsory vaccination mechanism for all categories of citizens according to the existing legal acts based on their status, type or area of activity. In legal terms, compulsory vaccination under the pandemic has acquired particular relevance due to the fact that the refusal to vaccinate would have adverse consequences for people (Part 2, Article 5, Law No 157-FZ): ban for citizens to travel to countries in which specific preventive vaccination is required; temporary refusal to admit citizens to educational organizations and health institutions; refusal to admit citizens to work or suspension from work with a high risk of infectious diseases.

Certainly, such measures entail certain restrictions of the rights of nonvaccinated citizens. However, these restrictions are established by the federal law in accordance with Part 3 of Article 55 of the Russian Constitution, which allows restrictions of civil rights and freedoms only by the federal law and on certain

grounds as health protection, rights and legitimate interests of others. In the legal basis of compulsory vaccination, by-laws and regulations adopted by executive authorities play an important part, and the challenge is to ensure the consistency of the legal regulation of compulsory vaccination within these authorities' power limits under the threat of epidemics. This challenge determined a number of court cases in the pre-covid period, whose decisions acquired particular relevance under the mass anti-covid vaccination. Thus, one company applied to the Arbitration Court with a lawsuit against the territorial department of the Rospotrebnadzor (Administration) in order to invalidate its instructions to ensure that all employees were vaccinated against influenza during the epidemic season 2020/2021. The first-instance court satisfied the claim, which was appealed by the Arbitration Court of Appeal, according to which by recognizing the instruction as invalid, "the court of the first instance rightly proceeded from the fact that trade activities are not included in the list of works with a high risk of infectious diseases and compulsory preventive vaccinations approved by the Decree of the Russian Government of July 15, 1999 No 825; the society does not have the authority to oblige employees to preventive vaccination, because according to Part 1 of Article 5 and Part 2 of Article 11 of the Law No 157-FZ, citizens have the right to refuse preventive vaccination which requires the informed voluntary consent to medical intervention", i.e., the Arbitration Court of Appeal agreed with the position of the first-instance court.

In July 2020, the Chief State Sanitary Doctor of the Russian Federation issued a decree recommending the mass immunization of employees against influenza. The Rospotrebnadzor sent instructions to organizations that did not comply with the recommendations in the decree and did not help to provide "collective immunity" due to the requirement, among other things, "to organize preventive influenza vaccination of employees with at least 60%" and provide the supporting data to the Rospotrebnadzor. One organization (the cinema network) challenged these instructions in the arbitration court: the first-instance court satisfied the lawsuit and declared them unlawful, which was supported by the Court of Appeal.

At the same time, there are other legal issues, for instance, Part 2 of Article 5 of the Law No. 157-FZ obliges the employer to suspend a non-vaccinated employee from work only if this work implies the high risk of infectious diseases. The list of such works requiring mandatory preventive vaccination is provided by the Decree of the Russian Government No. 825 of July 15, 1999. The functions of employees in the central office that ensure the operation of cinemas (financial, economic, legal, marketing, etc.), and of employees in cinemas (executives, directors, managers) are not included in this list, i.e., the organization has no reason to suspend any of them as not having preventive vaccination. Thus, the decisions of the arbitration courts point to the developing legal practice, according to which the suspension from work with a low risk of infectious diseases as based on the lack of compulsory preventive vaccination is illegal.

Under the current mass vaccination against the coronavirus infection, in the media and public discussions, there are doubts about the legality of the new list of

works and workers subject to compulsory vaccination as expanded by the Chief State Sanitary Doctor [12]. This problem is of fundamental importance for this list is associated with the implementation of the legislative norm on the refusal to hire or suspend unvaccinated employees. However, the lists of jobs and workers subject to compulsory vaccination as approved by the Chief Sanitary Doctors differ significantly from the list approved by the Federal Government by Resolution No. 825. The Chief Sanitary Doctor of Moscow adopted Resolution No. 1, in which he ordered the heads of organizations to ensure the preventive vaccination against the covid-19 for at least 60% of employees (in July 2021, the head of the WHO recommended the states to ensure vaccination of 70% of the population). The list of workers subject to compulsory vaccination in Resolution No. 1 includes more than 20 spheres (trade, public catering, public transport, taxi, etc.), while the list of works approved by the government includes only 12 categories of work with a high risk of infectious diseases and compulsory preventive vaccination, i.e., the regional list expanded the number of groups subject to compulsory vaccination (only education and healthcare workers are in both lists).

Thus, there is a question about the legality of such expansion by the Chief Sanitary Doctor, which considers the statutory competence of subjects adopting the regulation of compulsory vaccination at the sublegal level. According to Part 2 of Article 5 of the Law No. 157-FZ, the list of works with a high risk of infectious diseases and compulsory preventive vaccination is set by the federal executive body authorized by the Russian Government, and, according to Part 3 of Article 10 of the Law No 157-FZ, this is the Ministry of Health. The Russian Government has the right to provide the list of works, and the Ministry of Health approves the calendar of preventive vaccination, its timing, and the categories subject to compulsory vaccination. According to this calendar, preventive vaccination against the covid-19 is obligatory for workers of medical, educational, social-service organizations and multifunctional centers (1st level priority); employees of transport and energy organizations, rotational workers, services and military personnel (2nd level priority); civil and municipal employees, students over 18 years old, and conscripts (3rd level priority).

Thus, the lists of workers subject to compulsory vaccination against the covid-19 as established by the Ministry of Health and by the Federal Resolution No. 825 differ. And the question is which of these two federal regulations has the priority for a legally justified mechanism of compulsory mass vaccination. We believe that the priority should be given to the list in the calendar of preventive vaccinations for epidemic indications: first, the government list sets the types of work in the most general form and does not take into account the pandemic conditions; second, according to Part 3 of Article 10 of the Law No. 157-FZ, the Ministry of Health is the federal executive body authorized by the Russian Government to approve the calendar of preventive vaccinations. When adopting resolutions on preventive vaccination for certain groups for epidemic indications, the regions' chief sanitary doctors should follow the calendar of the Ministry of Health.

However, under the epidemic, the regions' executive bodies of state power can change the priority levels of groups subject to compulsory preventive vaccination

(Clause 8 of the Procedure for preventive vaccination within the calendar for epidemic indications as approved by the order of the Ministry of Health No. 125.) This normative act does not specify which regions' executive authorities have the right to make such decisions, but Part 2 of Article 10 of the Law No. 157-FZ allows this to the chief sanitary doctor, who also sets the number/share of workers for mandatory vaccination in order to prevent the spread of coronavirus. For instance, Resolution No. 1 adopted by the Chief State Sanitary Doctor of Moscow provides a list of works for compulsory vaccination within the list in the calendar of preventive vaccinations for epidemic indications as approved by the Ministry of Health. There is no expansion of the list of employees subject to compulsory vaccination, but rather its clarification in order to make the legal act clearer for the population and law enforcement officers. Therefore, within such areas as trade, public catering, public transport and others, the Chief Sanitary Doctor specifies the calendar category 'employees of service organizations' of the 2nd level priority.

Thus, in Russia, the compulsory vaccination mechanism is an exception to the current general rule of voluntary preventive vaccination. However, compulsory vaccination does not mean that the personal consent to vaccination according to the law and the calendar of preventive vaccinations for epidemic indications is not needed, i.e., compulsory vaccination in Russia, as in the majority of contemporary states, presents its indirect form. Nevertheless, even in this form, it cannot but affect the individual rights of citizens, for instance, the right to respect for one's private life as protected by Article 8 of the European Convention. However, the ECHR practice on compulsory vaccination justifies such an interference as necessary in the democratic society if based on an appropriate legal basis and a legitimate aim. The Russian compulsory vaccination mechanism against the coronavirus fully meets these criteria: there is a sufficiently developed legislative framework that allows a flexible implementation of the policy of preventive vaccinations to protect individual and public health, although it needs further improvement to eliminate some incoherence and ensure its consistency. In particular, one of the unresolved issues is the legal regulation of the list of works with a high risk of infectious diseases and compulsory preventive vaccinations, which can be resolved at the federal level by appropriate changes to the list adopted by the Russian Government. Under the pandemic, the need to use the mechanism of compulsory vaccination is less and less questioned. In addition to the educational activities of public authorities and associations, this was largely determined by the fact that mass vaccination allowed to significantly reduce the infection rate and the share of patients with severe complications.

In the democratic society, the state must protect both individual rights and the society as a whole from such large-scale threats as mass infectious diseases. This explains the need to develop a public policy of compulsory vaccination in order to increase the share of vaccinated population and to reduce morbidity and mortality. Such a policy requires a flexible and well-functioning mechanism of legal support,

a proper legal basis: legislation norms that directly or indirectly oblige people from special categories to be vaccinated; a legal procedure for obtaining an informed consent/refusal to be vaccinated; legal adverse consequences for those obliged to be vaccinated but refusing to do so; personal lawsuits in case of lack of vaccines.

Public authorities have the right to impose compulsory vaccination, but this does not mean that people can be physically forced to be vaccinated. Moreover, in contemporary states, the obligation to be vaccinated is not established directly, rather there are limitation of the individual choice (for example, vaccination is a condition for accessing certain public goods and services, for employment in certain industries, etc. By such limitations, the state indirectly makes individuals accept vaccination. Thus, compulsory vaccination can be defined as a system that implies negative legal consequences for the refusal to vaccinate, which can affect and are intended to influence the decision to be vaccinated. Compulsory vaccination is considered a public good that ensures health protection of both individuals and the population, which makes the state include the relevant legal norms in its constitutional acts, i.e., to create a legal framework for compulsory vaccination in both rational and ethical terms.

The public legal obligation to be vaccinated cannot but affect the individual rights such as the right to respect for private life protected by Article 8 of the European Convention. This right is not absolute: the Convention implies that it can be limited by the law in order to protect the health or rights and freedoms of others. According to the ECHR decisions on compulsory vaccination, such an intervention of public authorities is justified if it is necessary, has an appropriate legal basis and pursues a legitimate goal. The influence of compulsory vaccination as a preventive measure on personal privacy, rights and freedoms should be considered in the framework of protecting the health and well-being of the population, i.e., a socially fundamental and ethically justified public goal cannot be considered as a violation of individual rights.

References

- [1] Adams J. *The Efficacy of Seat Belt Legislation*. SAE; 1982.
- [2] Bajekal N. German biologist who denied measles exists ordered to pay more than 100,000. *Time World*; 2015, March 13.
- [3] Bozzola E., Spina G., Russo R. et al. Mandatory vaccinations in European countries, undocumented information, false news and the impact on vaccination uptake: The position of the Italian pediatric society. *Italian Journal of Pediatrics*. 2018; 44.
- [4] Chervenak F.A., McCullough L.B., Brent R.L. Professional responsibility and early childhood vaccination. *Journal of Pediatrics*. 2016; 169.
- [5] Covid-19 and mandatory vaccination: Ethical considerations and caveats. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Mandatory-vaccination-2021.1>.
- [6] DePasquale S. Childhood immunizations and the role of a county department of social services. *Juvenile Law Bulletin*. 2015; 1.
- [7] Giubilini A. *The Ethics of Vaccination*. London; 2019.
- [8] Giubilini A., Savulescu J. Vaccination, risks, and freedom: The seat belt analogy. *Public Health Ethics*. 2019; 12 (3).
- [9] Gravagna K., Becker A., Valeris-Chacin R. et al. Global assessment of national mandatory vaccination policies and consequences of non-compliance. *Vaccine*. 2020; 38.

вмешательства и ограничения свобод, которые стали результатом признания серьезных рисков для здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проблема сводится к расстановке приоритетов — что важнее: патерналистская власть государства или индивидуальные права и свобода решать, на какой риск идти. С точки зрения распределения ответственности люди часто воспринимают вакцины как нечто более опасное, чем сами инфекционные заболевания [17], что и объясняет важность рассмотрения обязательной вакцинации как правового феномена. В современном законодательстве оформились разные подходы к трактовке личных свобод. Одни страны напрямую увязывают вакцинацию с возможностью обучения (США), другие — скорее со «здравоохранением» (Австралия), финансовыми ограничениями (Польша) или ограничением свобод (Пакистан). С точки зрения этики здравоохранения вакцинация схожа с использованием ремней безопасности в автомобиле, т.е. обязательная вакцинация объясняется теми же причинами, что и требование пристегиваться [8]: сначала оно было воспринято резко негативно, но затем стало не только законодательной, но и социальной нормой благодаря своей обязательности [1]. Схожий подход применим к вакцинации: меры обязательной вакцинации могут превратить ее в социальную норму. Однако с юридической точки зрения обязательная вакцинация — это принудительное медицинское вмешательство, порождающее вопрос об ограничении индивидуальных прав и свобод во имя сохранения общественного здоровья. В статье рассмотрены противоречивые аспекты государственной политики обязательной вакцинации и ее нормативное обоснование. Автор предлагает определение обязательной вакцинации, определяет ее типы, описывает особенности ее законодательного обеспечения в разных странах и санкции за отказ от вакцинации, объясняет ее социальную необходимость и целесообразность как общественного блага.

Ключевые слова: вакцинация; обязательная вакцинация; общественные интересы; индивидуальные права и свободы; ограничение прав и свобод; частная жизнь; здравоохранение

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-769-782

«Новая нормальность» эпохи covid-19: возможности, ограничения, риски*

Е.Н. Гнатик

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия
(e-mail: gmatik-en@rudn.ru)

Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых актуальных аспектов трансформации социальной реальности. Подчеркивается, что объявление пандемии спровоцировало возникновение беспрецедентной ситуации: человечество столкнулось с совершенно иным концептом действительности. В частности, нынешние условия, стимулируя рывок в развитии НБИК-технологий (нано, био, новых информационных и когнитивных технологий), способствуют укреплению парадигмы, абсолютизирующей технократическое слагаемое цивилизационного развития. На фоне общей депрессии и спада экономической активности наблюдается взрывной рост в сфере биоинженерных, информационных и когнитивных исследований. «Новая нормальность» коронавирусной эпохи, связанная с невиданной прежде широтой применения систем искусственного интеллекта, технологий видеонаблюдения, геолокации и «больших данных», в необычайно короткие сроки привела к возникновению новых экзистенциальных и правовых проблем. Провозглашенная угроза здоровью населения, будучи значимым целеполаганием, стала доминантой, оправдывающей введение серьезных новшеств, которые позволяют правящим элитам блокировать гражданские права, в частности, легализовать применение систем слежения. В условиях борьбы с пандемией система идентификации личности на основе передовых технологий из средства обеспечения безопасности, стоящего на службе силовых ведомств, трансформируется в инструмент массовой социальной инженерии. Россия вплотную приблизилась к новому этапу цифровой трансформации — формированию системы управления учетными данными государственного масштаба (Единого федерального информационного регистра). В связи с опытом Китая в плане цифровой сегрегации возникают опасения: не переродится ли цифровизация по мере совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта, применения биометрического надзора и т.д. в нечто опасное? В статье подчеркивается, что сканирование внешности и сбор информации о гражданах позволяет создать гигантский массив данных, использование которых может повлечь за собой непредсказуемые последствия, и проблема их несанкционированного применения здесь не главная. Власть алгоритмов, позволяющих манипулировать человеком посредством непрерывно собираемой о нем информации, может обернуться новой, изоэренной формой геноцида.

Ключевые слова: пандемия covid-19; НБИК-технологии; права человека; трансформация социальной реальности; государственный аппарат принуждения

В настоящее время человечество оказалось в беспрецедентной ситуации: создаются новые алгоритмы существования, новая реальность. О том, что нано-, инфо-, когнитивно- и био-технологизированная среда артефактов

* © Гнатик Е.Н., 2021

Статья поступила 04.07.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

активно способствует глубинной трансформации привычного способа бытия, научный мир сигнализировал в течение последних лет. Кроме того, согласно прогнозам специалистов, рано или поздно совершенствование технологий культивирования смертоносных микроорганизмов и производство на этой основе нового вида оружия массового поражения могут привести к ослаблению контроля над ситуацией, поставив человечество перед лицом новых угроз. Однако катализатором стремительной трансформации социальной реальности внезапно послужила незащитность человека перед микроорганизмом неизвестного происхождения: «тревога пришла из мира вирусов... Научные прогнозы неутешительные. И вот почему: современный человек... изменил все свое окружение, но сам-то приспособиться к этому не смог... Мы не поняли, что в этом, как бы эволюционном, процессе самым уязвимым местом оказалась иммунная система человека и недооценка того мира вирусов, в котором человек живет... Если мы хотим спасти цивилизацию... мы должны понять, что сегодня человек уязвим, как никогда. И коронавирусная проблема лишней раз ставит вопрос о человеке и его проблемах» [15]. Огромный мир микроорганизмов до сих пор во многом остается *terra incognita*. Изобретение антибиотиков — великое научное достижение XX века и средство довольно успешной борьбы с наиболее многочисленной группой микробов. Однако, во-первых, антибактериальные средства не побеждают вирусные и грибковые инфекции, а, во-вторых, приспособляясь, микроорганизмы приобретают нечувствительность к препаратам, что способствует формированию резистентных форм бактерий. Проблема создания надежной защиты человека от агрессивных представителей микробиома остается на повестке дня современной медико-биологической науки.

Появление вируса SARS-CoV-2 в начале 2020 года принесло с собой резкое нарастание хаоса, прежде всего информационного. Люди словно оказались в сюрреалистической системе, функционирующей по законам и нормам, отличным от известных законов физики и объяснительных моделей других наук — социологии, психологии и т.д., включая право. Мир, озабоченный проблемой спасения, стал стремительно погружаться в состояние одержимости безопасностью, воцарилась максимальная медиатревога. Наиболее частотными стали выражения «глобальная угроза» и «смертельная опасность». Транслируемые средствами массовой информации сведения крайне противоречивы, поэтому практически невозможно сконструировать адекватную картину реальности. Массовые болезни всегда сопровождалась инфодемией, т.е. слухами, предрассудками, намеренной дезинформацией и необоснованными страхами, но сегодня человечество буквально в прямом эфире наблюдает за шествием напасти под названием covid-19 и ощущает свою беспомощность в попытках разобраться в хитросплетениях противоположных мнений, порой предвзятых, поверхностных точек зрения, научных гипотез и заблуждений на грани фальсификации, активно распространяющихся через официальные телеканалы и социальные сети.

Сложилась абсолютно беспрецедентная ситуация: в каком-то смысле индивиды перестали быть творцами своего персонального мира — остался лишь мир киберпространства, который не может заменить внешнюю объективную реальность. По сути, люди оказались не в состоянии контролировать собственную жизнь. За человека кто-то рисует перспективу, лишая его горизонта планирования. Граждане большинства государств вынужденно делегировали правящим элитам полную ответственность за свое существование. И неизбежно возникают вопросы: насколько глубоки социальные и личностные последствия для огромной части населения планеты, насильно разобщенного и погруженного во власть цифровых технологий? Насколько адекватны действия элит современных государств по отношению к своим гражданам? Подобные экзистенциальные вопросы выдвинулись стали актуальны для каждого мыслящего человека. Тем более, что ученых, которые являются признанными специалистами в наиболее тесно связанных с возникшей проблемой областях медицины и здравоохранения (эпидемиологов, вирусологов, иммунологов и др.), к принятию решений привлекают не слишком охотно, что бросается в глаза, вызывая недоверие к властям. В итоге выкристаллизовывается характерная черта нынешней общемировой ситуации — непредсказуемость действий и политических решений элит. Складывается ощущение, что началась реализация нового технологического, наукоемкого способа руководства массами, осуществляемого посредством информации — ее оцифровки, передачи, обработки и использования.

Мир сталкивался и с более коварными эпидемическими ситуациями, но масштабное распространение инфекционных болезней к середине XX века практически прекратилось благодаря достижениям медицины, научной обоснованности противоэпидемических мероприятий и созданию средств специфической профилактики. Исключением является грипп — «болезнь с высоким индексом контагиозности, эффективным воздушно-капельным путем передачи инфекции, часто низким уровнем напряженности коллективного иммунитета в результате антигенной изменчивости вируса, коротким инкубационным периодом» [1]. Испанский грипп, свирепствовавший столетие назад (1918–1920), стал причиной смерти от 20 до 50 миллионов человек (по другим данным — от 50 до 100 млн). Вирус SARS-CoV-2 за полтора года унес жизни как минимум в 5, а то и в 20 раз меньше (около 4 млн). Во время эпидемии азиатского гриппа (1957–1958) число жертв составило порядка 3 млн, гонконгский грипп (1967–1968) — 2 млн. Эпидемия 1977–1978 годов, вызванная так называемым «русским гриппом», была менее кровожадна: зафиксированных летальных исходов менее миллиона. После 1978 года удавалось избегать эпидемий и серьезных последствий благодаря производству вакцин. Вместе с тем, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «в Северном полушарии ежегодно осенью и зимой происходят эпидемии гриппа, в течение которых инфекция поражает примерно 5%–15% населения» [3]. Причина — высокий эпидемический потенциал гриппа: болезнь распространяется по

типу цепной реакции. Специалисты констатируют, что в условиях высокой плотности населения городов и возможности свободного перемещения по миру организационные и общесанитарные мероприятия нередко малоэффективны [1]. Эпидемии гриппа стали рядовой ситуацией для многих стран, человечество научилось с ними справляться, как и с другими инфекционными вспышками. С возникновением ковидной тематики дело приняло иной оборот.

В 2008 году ВОЗ изменила определение пандемии: прежде таковой считалась болезнь, распространяющаяся по всему миру и приводящая ко многим серьезным заболеваниям и смертям, теперь же распространение по всему миру стало единственным условием, и для объявления пандемии более не требуется множество серьезных болезней и смертей. Благодаря этому изменению ВОЗ, которая тесно связана с фармацевтической индустрией, смогла объявить пандемию свиного гриппа А (H1N1) в 2009 году [8].

11 марта 2020 года войдет в историю: в этот день, «выражая крайнюю обеспокоенность тревожными показателями распространения инфекции и тяжестью ее последствий, а также недопустимыми масштабами бездействия, ВОЗ приходит к выводу о том, что вспышка covid-19 может быть охарактеризована как пандемия» [14]. Однако до сих пор нет компетентного и взвешенного ответа на вопрос, насколько оправданы жесткие антикоронавирусные меры: дистанцирование, карантин и т.п. Разобщение людей, пусть и под предлогом сохранения их жизней, способствует нагнетанию стрессового состояния, а потому длительное нахождение в строгой изоляции чревато снижением иммунной защиты организма [20; 22]. Пока невозможно разобраться, стоит ли за этим системный кризис здравоохранения и медицинской науки или, возможно, причина другая. Разумеется, covid-19, как и сезонный грипп, в отдельных случаях вызывает тяжелую клиническую картину, серьезные осложнения и иногда приводит к гибели пациента, но «контагиозность этого вида коронавируса ненамного уступает гриппу, а показатели смертности ниже, чем при эпидемиях других форм коронавируса» [13]. Однако все силы и медицинские резервы были брошены на борьбу с новым вирусом, что привело к резкому сокращению приема плановых больных, и вместе с паникой это стало причиной значительного роста смертности от соматических и психических недугов.

Помимо этого, антиковидные меры провоцируют разрушение малого и среднего бизнеса, рост безработицы, социального неравенства и прочие негативные тенденции. Государственно-экономическая политика многих стран не может быть охарактеризована иначе, как саморазрушительная: правительства и центральные банки в сложившейся ситуации не могут противопоставить финансовым проблемам ничего, кроме запуска печатного станка. И если сейчас это позволяет экономике не замереть совсем, то, похоже, вскоре систему хозяйствования ждет падение, поскольку эти деньги ничем не обеспечены. Лица, активно проявляющие несогласие с карантинными мерами, в некоторых странах подвергаются серьезным штрафам, задержаниям, жесткому обращению со стороны правоохранительных органов, вплоть до использования

дубинок, водометов, слезоточивого газа и пр. Провозглашенная угроза здоровью населения стала доминантой, оправдывающей введение серьезных ограничений гражданских прав.

В результате гигантская часть населения планеты, оказавшись в условиях суровой самоизоляции, была вынуждена внезапно перенести значительную часть своего бытия на симулятивные цифровые киберпросторы. Человек, порой помимо своего желания, все сильнее стал погружаться в искусственно созданное пространство. Цифровая реальность имеет особую онтологию, собственные законы развития и воздействия на человека, изменяя коммуникации и жизненный уклад в целом, существенно трансформируя как социум, так и каждого индивида, его сознание и мировоззрение. Объявление пандемии породило беспрецедентную ситуацию планетарного масштаба: человечество столкнулось с совершенно иным концептом действительности, в котором начинают просматриваться некоторые штрихи [16. С. 192–196] следующего витка мирового развития.

Нынешние условия, стимулируя рывок в развитии НБИК-технологий, способствуют укреплению парадигмы, абсолютизирующей технократическое слагаемое цивилизационного развития. На фоне спада экономической активности наблюдается взрывной рост в сфере биоинженерных, информационных и когнитивных исследований. Результаты научных разработок в биотехнологической отрасли актуальны и востребованы — это, прежде всего, создание вакцин, диагностических тестов и лекарств. Значительная часть населения земного шара возлагает большие надежды на успешную разработку необходимых препаратов, их эффективность и безопасность. Впервые в полувековой истории генетической инженерии (с 1972 года) появилась возможность проведения немислимого по масштабу эксперимента — испытания на огромном количестве людей действия векторных вакцин на основе нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновой (ДНК) (вакцина британско-шведского производства AstraZeneca) и матричной рибонуклеиновой (мРНК) (российская вакцина Спутник-V, британско-германская BioNTech/Pfizer, американская Moderna). Производство таких иммунногенных препаратов сравнительно простое, но до ковидных времен на пути внедрения генетических вакцин стоял серьезный сдерживающий фактор — недостаточно разработанная технология доставки генетического материала в клетки организма. ДНК- и РНК-вакцины считаются перспективными вакцинными платформами, и форс-мажорная ситуация, приведшая к незапланированному и крупномасштабному применению этих препаратов в клинической практике, вероятно, позволит ученым ответить на множество вопросов и приоткрыть завесу тайны над этим сравнительно молодым направлением вакцинологии.

Наряду с этим широко внедряются и постоянно совершенствуются информационные и когнитивные технологии. В условиях борьбы с новым вирусом SARS-CoV-2 перед IT-специалистами и сетевыми администраторами встала проблема обеспечения перехода сотрудников на режим удаленного

доступа в кратчайшие сроки, буквально в авральном режиме. Данный переход не для всех оказался легким и беспроблемным, что наглядно продемонстрировало существенное технологическое неравенство. Во всем мире было инициировано стремительное широкомасштабное использование IT-инструментов и платформ, сопровождающееся совершенствованием программного обеспечения, облачной инфраструктуры, оборудования, технологий компьютерного обучения, интеллектуальных систем, Интернета вещей и пр. Обнажились определенные «слабые места», свидетельствующие о недостаточной надежности и безопасности киберпространства. На Всемирном экономическом форуме 2021 года в Давосе была высказана серьезная озабоченность глобальной проблемой рисков, связанных с серией беспрецедентных крупномасштабных, многовекторных преступлений в кибернетической среде — «кибератак пятого поколения» [7]. Вопросы устойчивости к угрозам нового уровня, улучшения инфраструктуры кибербезопасности останутся актуальными на перспективу, поскольку практика удаленной работы, похоже, прочно укоренилась, и определенная часть сотрудников различных учреждений и компаний будет продолжать работать в этом режиме.

Вместе с тем не может не вызывать беспокойства тот факт, что условия пандемии предоставили властям возможность в кратчайшие сроки и без обсуждений воплощать в жизнь решения, судьбоносные для страны. Идея масштабной цифровизации страны стояла на повестке дня российских властей и до драматических событий пандемии: была принята «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», утвержден национальный проект «Цифровая экономика России 2024» [12], проект «Московская электронная школа» [5] и т.д. Например, столичная концепция «Умный город-2030», базирующаяся на представлениях футурологов из гигантских IT-корпораций (Р. Курцвейл — Google, Я. Пирсон — British Telecom, Д. Коплина — Microsoft), и др.), пропагандирует принципы трансгуманизма как нечто передовое, полезное и прогрессивное — в интересах «повышения качества жизни москвичей» [11. С. 38]. Трансгуманизм, нацеленный на «расширение» человека, его интеллектуальное преобразование и киборгизацию, основан на идее развития конвергентных технологий [19]. Утопические по своей сути ценности трансгуманизма, ориентированные на создание постчеловека, вряд ли могут получить поддержку большинства жителей столицы, но именно они положены в основу стратегического плана развития города. В частности, это тотальная цифровизация системы образования: «“цифровой учитель” на базе искусственного интеллекта», образовательные онлайн-платформы с использованием виртуальной, дополнительной и смешанной реальности, геймификация образования. Утверждается, что «обработка и анализ результатов процесса обучения, собранных в единый массив больших данных, с применением искусственного интеллекта, обеспечит раскрытие способностей каждого ученика» [11. С. 35], т.е. роль школьных учителей и преподавателей высших учебных заведений продолжит снижаться со всеми вытекающими последствиями [18].

Согласно концепции «Умный город-2030», забота о здоровье будет базироваться на вживлении в организм медицинских устройств, редактировании генома, применении электронных историй болезни и генетических паспортов, использовании биометрических и генетических параметров, обрабатываемых при помощи искусственного интеллекта. По сути, на смену врачам должны прийти алгоритмы искусственного интеллекта, что якобы станет признаком всеобщего благоденствия. Декларируются и другие долгосрочные инвестиции в «человеческий капитал», например, создание условий для равноценности виртуального присутствия физическому, отказ от использования личного транспорта в пользу беспилотного такси и др. При этом речь не идет о всестороннем развитии личности — лишь о человеческом капитале как объекте управления.

В июне 2020 года получила законодательное оформление тотальная цифровизация населения страны. Не удивительно, что в разгар пандемии и экономического кризиса новость о создании гигантской базы данных не только не спровоцировала серьезного сопротивления граждан, но и оказалась почти незамеченной, хотя ее грядущие последствия затронут буквально каждого. Речь идет о новом этапе цифровой трансформации — разработке системы управления учетными данными государственного масштаба. Формируемый Единый федеральный информационный регистр (ЕФИР) будет содержать все данные на каждого россиянина, собираемые многочисленными информационными системами: Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом, ЗАГСами, Министерством внутренних дел, центрами занятости, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерством обороны, Министерством образования и науки, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральной службой по труду и занятости (Роструд), государственными внебюджетными фондами и другими ведомствами. В регистр войдут около 30 видов сведений о человеке: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), семейное положение, данные об образовании, всех местах работы, сведения из налоговых органов, о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, о постановке на воинский учет, регистрация в системах обязательного медицинского страхования (ОМС), социального страхования и пенсионной системе, документы об образовании/учебе, квалификации, присуждении/лишении ученой степени/звания, сведения о родственных связях и т.д. Единый государственный регистр в технологическом смысле будет базироваться на алгоритмах работы с колоссальными объемами информации, используя опыт таких IT-гигантов, как Google и Facebook. Согласно заявленным планам, система начнет функционировать с 1 января 2023 года, переходный период продлится до 31 декабря 2025 года. Принятие столь судьбоносного

для страны решения должно предполагать предварительное всестороннее и тщательное изучение последствий, но исследовательская активность здесь недостаточна.

Наряду с непрерывным совершенствованием биоинженерных и информационных технологий в ситуации пандемии был придан значительный импульс развитию нейросетевой сферы. «Новая нормальность» коронавирусной эпохи, связанная с невиданной прежде широтой применения систем искусственного интеллекта, технологий видеонаблюдения, геолокации и «больших данных» (Big Data), в необычайно короткие сроки практически повсеместно привела к значительной трансформации системы обеспечения прав человека [6]. Объявленная угроза здоровью населения легализовала те способы применения систем слежения, от которых ранее власти многих стран пытались открещиваться. Безусловно, напряженность в мире растет, что требует повышения мер безопасности на всех уровнях. Основные декларируемые ранее цели тотального видеоконтроля — это профилактика и раскрытие преступлений, террористических актов, поимка сбежавших преступников и т.п. В условиях борьбы с пандемией система идентификации личности на основе передовых технологий из средства обеспечения безопасности на службе силовых ведомств преобразовывается в инструмент массовой социальной инженерии. В ряде стран стартовало применение высокотехнологичного наблюдения за гражданами с целью заставить их соблюдать домашний карантин (Россия — не исключение).

В начале апреля 2020 года Министерство цифрового развития разработало порядок наблюдения за носителями коронавируса на основании данных геолокации сотовых телефонов, отчасти легализовав практику, которая сложилась в Москве в рамках правительственной программы «Безопасный город». Изначально система видеонаблюдения была внедрена (2011–2012) в столице для предупреждения и выявления преступных деяний, автотранспортных происшествий и в целом повышения общественной безопасности. Сегодня это разветвленная сеть камер, установленных в местах массового скопления людей, у административных и жилых зданий, в метро, высших и средних учебных заведениях, больницах, торговых центрах, а также мобильные комплексы для распознавания лиц на массовых мероприятиях и пр. В разработке у специальных служб МВД находятся алгоритмы искусственного интеллекта по распознаванию людей на основе татуировок, радужной оболочки глаз, голоса, движений тела и др. Для идентификации не являются препятствием мотоциклетные шлемы и медицинские маски, очки, усы или бороды, используемые для маскировки. Возможности системы позволяют выявить человека, находящегося на расстоянии 50 метров от камеры, на основе анализа длины шага, уровня наклона ступни и движения рук. Сбор информации о перемещениях жителей и гостей города происходит на основе геоаналитических данных от сотовых операторов. По скорости переключения абонента от одной вышки к другой определяется, идет он пешком или перемещается на

автомобиле, а по тому, к какой базовой станции телефон чаще всего подключен в ночное время, — где человек ночует и, скорее всего, живет.

Огромное количество данных обо всем происходящем в режиме реального времени сконцентрировано в интеллектуальной транспортной системе, дополненной информацией с датчиков ГЛОНАСС, размещенных на всех видах наземного общественного транспорта и уборочной технике [6]. В итоге формируются «обезличенные» отчеты о количестве и ежедневном передвижении абонентов. Разумеется, получение данных видеонаблюдения — лишь начало серьезной аналитической работы, базирующейся на Big Data-технологии. Развитие этой сферы, совершенствование алгоритмов искусственного интеллекта происходит весьма стремительно. По подсчетам специалистов, среднегодовой темп роста рынка систем облачного видеонаблюдения, которое работает по принципу записи в облачные хранилища (преимущественно государственных заказчиков), сегодня составляет 23%, и к 2024 году его объем вырастет до 6,36 млрд рублей [17], а объем рынка облачной видеоаналитики — до 2,87 млрд. В рамках создания МВД централизованного банка биометрических данных в марте 2021 года населению было объявлено о возможности регистрации отпечатков пальцев и изображений лиц на сайте Госуслуги.

В ходе развития «умной» городской системы Москва тесно сотрудничает с Пекином, направляя в Китай делегации на уровне правительства города для изучения функционирования систем видеонаблюдения и аналитических систем обработки данных. Однако китайский подход вызывает неоднозначную реакцию. Как известно, Китай стал первым в мире государством, в котором власть открыто заявила о внедрении системы контроля, корректировки, моделирования и модернизации внутреннего мира своих граждан с применением передовых цифровых инструментов и технологий.

Планы Китая грандиозны — параллельно со значительным подъемом экономики и уровня жизни трансформировать к 2025 году страну в «первое в мире государство, управляемое на основе больших данных» [9. С. 16]. Управление полуторамиллиардным населением и подавление инакомыслия в условиях цифровизации и информатизации осуществляется властями Китая посредством социально-балльного рейтингования. Это «система социального кредита», базирующаяся на обработке и анализе больших данных, поступающих из разветвленной сети видеокамер, персональных компьютеров, смартфонов, социальных сетей, банковских данных, отчетов государственных структур, медицинских, финансовых, страховых и иных документов. Социальный рейтинг человека может снизиться, например, вследствие неуплаты налогов, банковской задолженности, критики власти, нарушения правил дорожного движения и бытовых проступков (курение, чрезмерная онлайн-активность, общение с лицами из «черных списков» и т.д.). Повысить рейтинг можно, например, став донором крови или приняв участие в благотворительном проекте [10. С. 24–25]. Сведения поступают не только из государственных баз данных, цифровых сервисов, но также от информаторов.

Китай известен как мировой лидер по числу абонентов мобильной связи. Покупка телефона непременно сопровождается установкой приложений, которые невозможно отключить. С их помощью осуществляется непрерывное наблюдение за жизнью его владельца (местонахождение, банковские операции, платежи, заказы, контакты, медицинские показатели и пр.). Выключенный экран — не помеха для фото- и видеосъемки пользователя (порой не подозревающего об этом) с дальнейшей отправкой на специальный сервер [9. С. 14–15]. Ускользнуть от опеки «большого брата» практически нереально. Еще в 2015 году Министерство общественной безопасности КНР внедрило глобальную систему видеоидентификации граждан, использующую в том числе технологию распознавания людей по походке на расстоянии 50 метров даже со спины. В период пандемии камеры наблюдения начали принудительно устанавливаться и в квартирах. К гражданам с низким социальным рейтингом и к членам их семей применяются разные санкции, лишаящие доступа к определенным общественным благам: запрет занимать должности в государственных структурах; отказ в социальном обеспечении; предвзятое отношение со стороны таможенной службы; невозможность занимать руководящие должности в определенных отраслях; невозможность покупки авиабилетов и комфортных железнодорожных билетов; невозможность обучать своих детей в престижных школах и др.

Конечно, у китайского народа иные культурные традиции и пути развития, но все же в связи с опытом Китая в сфере цифровой сегрегации возникают вопросы относительно цифрового будущего российского общества. Не может ли распространение цифровизации наряду с совершенствованием алгоритмов искусственного интеллекта, применением биометрического надзора, созданием личного цифрового профиля и т.п. переродиться в нечто опасное для граждан страны? Кто сегодня может гарантировать, что российские власти не решат следовать китайскому сценарию — этой антиутопии наяву, тотальной слежке, цифровой сегрегации, частично или полностью?

Сканирование внешности и сбор информации создают гигантский массив данных, использование которых может повлечь за собой непредсказуемые последствия, и проблема их несанкционированного применения здесь не самая большая. Исчезновение анонимности — проблема не только правовая, но и экзистенциальная: подобное применение высоких технологий фактически не оставляет места для приватности, личного пространства. Пребывание под неусыпным контролем камер неизбежно окажет негативное психологическое воздействие на граждан: части населения, возможно, удастся постепенно и безболезненно адаптироваться к усиленному вниманию «большого брата», но для многих чувство нахождения под постоянным надзором станет жестким психологическим инструментом, дамкловым мечом, принуждающим к постоянному самоконтролю, и источником сильнейшего нервного напряжения. Власть алгоритмов, позволяющих манипулировать человеком посредством непрерывно собираемой о нем информации, может обернуться новой, изощренной формой геноцида.

Таким образом, введение в повседневную жизнь систем искусственного интеллекта и цифровых технологий, постановка их на службу власти способствуют переформатированию всего жизненного уклада. В ситуациях форс-мажора появляется «побочный продукт мобилизации ресурсов государства для борьбы с тем или иным кризисом. В такие периоды государство обращается к дополнительным инструментам принуждения, а когда кризис проходит, не спешит от них отказываться. Так, борьба с международным терроризмом в начале XXI века привела к беспрецедентному росту полномочий исполнительной ветви власти и спецслужб в большинстве стран, в том числе в области массовой прослушки и слежки» [2. С. 7]. Иными словами, нельзя исключить, что опыт пандемии не спровоцирует внедрение социальных инноваций, не обладающих созидательным потенциалом в сфере социальных отношений, новых форм несвободы и даже нового типа социума. Научное сообщество должно своевременно реагировать на возможные шаги властей, инициировать широкую общественно-научную дискуссию, чтобы скорректировать курс действий, ограничить запросы государственного аппарата принуждения и затормозить политику ограничения фундаментальных прав граждан.

Информация о финансировании

Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда. Проект № 19-011-00383/19 «Био- и экофилософия в современной культуре».

Библиографический список

- [1] Большая медицинская энциклопедия (БМЭ) / Под ред. Б.В. Петровского. 3 изд. Т. 18.
- [2] *Громыко А.А.* Коронавирус как фактор мировой политики // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2020. № 2.
- [3] Европейское региональное бюро ВОЗ: Грипп — факты и статистика // URL: <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/data-and-statistics>.
- [4] *Локосов В.В.* Демографическое развитие России: динамика и социально-экономические риски // Вестник РАН. 2020. Т. 90. № 3.
- [5] Московская электронная школа — это будущее образования // URL: <https://www.mos.ru/city/projects/mesh>.
- [6] *Овчинский В.С.* Под прицелом видеокамер и big data // URL: <https://izborsk-club.ru/20614>.
- [7] *Овчинский В.С.* ВЭФ об основных проблемах кибербезопасности // URL: <https://izborsk-club.ru/20667>.
- [8] Пандемия гриппа // URL: <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza>.
- [9] *Петров А.А.* Китайский цифровой профиль или скоринговая система социального доверия // Chronos. 2020. № 8.
- [10] *Петров А.А.* Новейшие инструменты четвертой промышленной революции и цифровые механизмы контроля и управления обществом // Chronos. 2020. № 8.
- [11] Программа «Москва Умный город 2030» // URL: https://www.mos.ru/upload/alerts/files/3_Tekststrategii.pdf.
- [12] Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» // URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>.
- [13] *Рошаль Л.М.* Нам нужно спокойно пройти по острию ножа // URL: <https://ria.ru/20200329/1569294323.html>.

- [14] Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID-19 // URL: <https://www.who.int/ru/news/item/29-06-2020-covidtimeline>.
- [15] Чучалин А.Г. Мы платим за то, что недооценили мир вирусов, в котором живем // URL: <https://newizv.ru/news/society/25-01-2021/akademik-chuchalin-my-platim-za-to-chto-nedootsenili-mir-virusov-v-kotorom-zhivom>.
- [16] Щелкунов М.Д. Общество в условиях пандемии: репетиция цифрового будущего // Вестник экономики, права и социологии. 2020. № 2.
- [17] Эксперты назвали Россию третьей в мире по числу камер видеонаблюдения // URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/12/2020/5fe5862d9a7947bc3af51a67.
- [18] Gnatik E. Information technologies in educational Sphere: Challenges and risks // Proceedings of the 4th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE). 2018. Vol. 232.
- [19] Gnatik E. Transhumanism horizons of convergent technologies // Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH). 2017. Vol. 124.
- [20] Rubin G.J., Wessely S. The psychological effects of quarantining a city // BMJ. 2020; 368.
- [21] Trotsuk I.V. All power to the experts? Contradictions of the information society as both depending on and devaluing expertise // Russian Sociological Review. 2021. Vol. 20. No. 1.
- [22] Webster R.K., Smith L.E., Woodland L., Wessely S., Greenberg N., Rubin G.J. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence // Lancet. 2020; 395.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-769-782

‘New normality’ of the covid-19 era: Opportunities, limitations, risks*

E.N. Gnatik

RUDN University

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia

(e-mail: gnatik-en@rudn.ru)

Abstract. The article considers some key aspects of the current transformation of social reality. The author argues that the announcement of the pandemic determined an unprecedented situation: humanity faces a completely different concept of reality. In particular, the breakthrough in the development of NBIC technologies (nano, bio, new information and cognitive technologies) contributes to the strengthening of the paradigm that absolutizes the technocratic component of civilizational development. Under the general depression and decline in economic activity, there is an explosive growth in the field of bioengineering, information and cognitive research. The ‘new normality’ of the coronavirus era, associated with the unprecedented development of artificial intelligence systems, video surveillance technologies, geolocation and ‘big data’, in an unusually short time has created new existential and legal problems. The proclaimed threat to public health, being a significant goal-setting, has become a dominant justification for the introduction of serious innovations that allow the ruling elites to block civil rights, in particular, to legalize the use of tracking systems. Under the fight against the pandemic, the personal identification systems based on advanced technologies are being transformed from a security tool of law enforcement agencies into

* © E.N. Gnatik, 2021

The article was submitted on 04.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

a tool of mass social engineering. Russia has come close to a new stage of digital transformation — a state-wide credential management system (the Unified Federal Information Register). Considering the experience of China in digital segregation, concerns arise: will digitalization turn into something dangerous as the algorithms of artificial intelligence improve, the use of biometric surveillance broaden, etc.? The article emphasizes that scanning the appearance and collecting information about citizens allows to create a gigantic array of data, the use of which can have unpredictable consequences, and the problem of their unauthorized use is not the main one. The power of algorithms, which allows to manipulate a person by means of continuously collected information about him, can turn into a new, sophisticated form of genocide.

Key words: covid-19 pandemic; NBIC-technologies; human rights; transformation of social reality; state coercive apparatus

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 19-011-00383/19 “Bio-and eco-philosophy in the modern culture”.

References

- [1] Bolshaya Meditsinskaya Entsiklopediya [Great Medical Encyclopedia (BME)]. Pod red. B.V. Petrovskogo. 3rd ed. Vol. 18. (In Russ.).
- [2] Gromyko A.A. Koronavirus kak faktor mirovoy politiki [Coronavirus as a factor of the global politics]. *Nauchno-Analitichesky Vestnik Instituta Evropy RAN*. 2020; 2. (In Russ.).
- [3] Evropeyskoe regionalnoe byuro VOZ. Gripp — fakty i statistika [WHO Regional Office for Europe. Influenza — facts and statistics]. URL: <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/data-and-statistics>. (In Russ.).
- [4] Lokosov V.V. Demograficheskoe razvitie Rossii: dinamika i sotsialno-ekonomicheskie riski [Demographic development of Russia: Dynamics and sociak-economic risks]. *Vestnik RAN*. 2020; 90 (3). (In Russ.).
- [5] Moskovskaya elektronnyaya shkola — eto budushchee obrazovaniya [Moscow Electronic School — the future of education]. URL: <https://www.mos.ru/city/projects/mesh>. (In Russ.).
- [6] Ovchinsky V.S. Pod pritselom videokamer i big data [Under the sight of video cameras and big data]. URL: <https://izborsk-club.ru/20614>. (In Russ.).
- [7] Ovchinsky V.S. VEF ob osnovnykh problemakh kiberbezopasnosti [EEF on the main problems of cybersecurity]. URL: <https://izborsk-club.ru/20667>. (In Russ.).
- [8] Pandemiya grippa [Flu pandemic]. URL: <https://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza>. (In Russ.).
- [9] Petrov A.A. Kitaysky tsifrovoy profil ili skoringovaya sistema sotsialnogo doveriya [Chinese digital profile or social trust scoring system]. *Chronos*. 2020; 8. (In Russ.).
- [10] Petrov A.A. Noveyshie instrumenty chetvertoy promyshlennoy revolyutsii i tsifrovye mekhanizmy kontrolya i upravleniya obshchestvom [The newest tools of the fourth industrial revolution and digital mechanisms to control and manage the society]. *Chronos*. 2020; 8. (In Russ.).
- [11] Programma “Moskva Umny gorod 2030” [Moscow Smart City 2030 Program]. URL: https://www.mos.ru/upload/alerts/files/3_Tekststrategii.pdf. (In Russ.).
- [12] Programma “Tsifrovaya ekonomika Rossiyskoy Federatsii” — natsionalnaya programma razvitiya tsifrovoy ekonomiki Rossiyskoy Federatsii [Program “Digital Economy of the Russian Federation” — the national program for the development of the Russian digital economy]. URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>. (In Russ.).
- [13] Roshal L.M. Nam nuzhno spokojno proyti po ostriyu nozha [We need to calmly walk along the edge of the knife]. URL: <https://ria.ru/20200329/1569294323.html>. (In Russ.).

- [14] Khronologiya deystviy VOZ po borbe s covid-19 [Timeline of the WHO actions in the fight against the covid-19]. URL: <https://www.who.int/ru/news/item/29-06-2020-covidtimeline>. (In Russ.).
- [15] Chuchalin A.G. My platim za to, chto nedootsenili mir virusov, v kotorom zhivem [We pay for underestimating the virus world we live in]. URL: <https://newizv.ru/news/society/25-01-2021/akademik-chuchalin-my-platim-za-to-chto-nedootsenili-mir-virusov-v-kotorom-zhivyom>. (In Russ.).
- [16] Shchelkunov M.D. Obshchestvo v usloviyakh pandemii: repetitsiya tsifrovogo budushchego [Society in the pandemic: A rehearsal of the digital future]. *Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii*. 2020; 2. (In Russ.).
- [17] Eksperty nazvali Rossiyu tretyey v mire po chislu kamer videonablyudeniya [Experts named Russia the third in the world in the number of CCTV cameras]. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/12/2020/5fe5862d9a7947bc3af51a67. (In Russ.).
- [18] Gnatik E. Information technologies in educational sphere: Challenges and risks. *Proceedings of the 4th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE)*. 2018; 232.
- [19] Gnatik E. Transhumanism horizons of convergent technologies. *Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH)*. 2017; 124.
- [20] Rubin G.J., Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. *BMJ*. 2020; 368.
- [21] Trotsuk I.V. All power to the experts? Contradictions of the information society as both depending on and devaluating expertise. *Russian Sociological Review*. 2021; 20 (1).
- [22] Webster R.K., Smith L.E., Woodland L., Wessely S., Greenberg N., Rubin G.J. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. *Lancet*. 2020; 39



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-783-804

Engagement without accountability: The role of governments, field experts, and public intellectuals in the context of the covid-19 pandemic*

B. Radeljić^{1,2}, C. González-Villa³

¹Necmettin Erbakan University

Dere Aşıklar Mah., Demeç Sok. No 39/1, 42140 Meram/Konya, Turkey

²Antonio de Nebrija University

27 Calle Santa Cruz de Marcenado, 28015 Madrid, Spain

³Universidad de Castilla-La Mancha

Cobertizo de San Pedro Mártir S/N, 45071 Toledo, Spain

(e-mail: radeljic@erbakan.edu.tr; BRadeljic@nebrija.es; Carlos.GonzalezVilla@uclm.es)

Abstract. The outbreak of the covid-19 pandemic represented a major shock. In their effort to adapt their responses to the crisis to their own conditions of survival, governments have tended to resort to arguments that limit accountability to the population. Despite the privileged place they are presumed to have within contemporary societies, experts have been displaced from the decision-making processes of governments and delegitimized by the anti-intellectual drift favored by the way in which arguments are presented and debated in social media. At the same time, despite being perceived as capable of offering inside-out evaluations of specific phenomena and therefore capable of distinguishing between truths and big lies (and anything in-between), the role of public intellectuals seems to have been limited. The article analyses the responses of great power governments and regional powers in terms of the discursive practices deployed in the context of the covid-19 crisis, and the capacity of the aforementioned non-institutional actors to confront these discourses. As ‘editors-in-chief’, policymakers have felt passionate about war metaphors that have allowed them to deconstruct and make complex subjects accessible, and as such, to ensure a sufficient level of attention and public approval so that the fight against the enemy could begin. In addition, they have prompted the implementation of emergency measures that, in a context of geopolitical confrontation, have allowed them to evade individual responsibilities. Rather than using their knowledge to provide constructive examination of complex issues and make them accessible, so the ones who listen to them can hopefully understand the impact of specific policy preferences and minimize their own losses in the increasingly competitive environment, experts and intellectuals have seen their room for maneuver to influence policy formulations severely limited.

Key words: covid-19; executive power; field experts; public intellectuals; war metaphor; securitization

The outbreak of the covid-19 pandemic represented a major shock. The initial accounts, mostly focusing on bats as common transmitters and Chinese wet markets (with the one in Wuhan at the forefront) as epicenters of zoonotic diseases, served to stress the intertwined character of human-nature relations, as well as the potential

* © B. Radeljić, C. González-Villa, 2021

The article was submitted on 31.05.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

consequences once the red line has been crossed. Talking about the connection between the killing of nature and future types of illnesses, some UN officials sought to warn the global community that “the message we are getting is if we don’t take care of nature, it will take care of us” [18]. Other observers used similar warnings to depict the coronavirus storm as “nature’s pro-active response to the suicidal behavior of homo not-so-sapiens” [65]. The consequent images of medical staff covered in personal protective equipment and severe lockdown measures, introduced around the globe to prevent the spread of coronavirus, consolidated the narrative that the world had no other choice but to enter into a war against the new enemy. Accordingly, Chinese President Xi Jinping was “the commander of the people’s war against the epidemic” [77] and US President D. Trump described himself as ‘a wartime president’ who had to win the ‘war against the Chinese Virus’ so that the US “can immediately go right back up to where it was, and even beyond”. In Europe, British Prime Minister B. Johnson stressed that his government had to behave ‘like any wartime government’, French President E. Macron declared that ‘France was at war’, and German Chancellor A. Merkel addressed her fellow citizens by saying that the country was facing its biggest challenge since the Second World War [48].

While relying on their closest associates, key ministries, and state agencies, but also on non-state actors (especially the social media outlets, because of their capacity to reach a maximum audience), the ruling elites sought to exploit the advantages of e-diplomacy or digital diplomacy [1; 22; 26] to talk about public safety, risks and necessary measures, and post-pandemic recovery strategies. Whichever the topic — between the outward-looking blame game (mainly directed against China and the WHO) and inward-looking protection of the citizens from the most terrible expectation (through lockdowns, self-isolation, and physical distancing) — the overarching message was that the decisions were taken following planning and thorough consultations, and as such were in the best interest of all, including the state itself, businesses, and people. The obvious discrepancies characterizing responses worldwide provided fertile material for comparisons and, if convenient, a basis used for the sake of superiority narratives; the acknowledgment of one state’s good practice did not necessarily translate into its replication elsewhere. By approaching the pandemic as an opportunity and part of future electoral campaign, a good number of administrations — democratic, the so-called hybrid, or fully authoritarian — have cherry picked pieces of advice from their respective health authorities, as well as the severity of measures to be implemented. As the result, we have ended up seeing major discrepancies between different states (as across the US), governments (as in the case of Italy, Sweden, and the UK), or regions (such as the Balkans). Altogether, by placing emphasis on individual popularity and policies least damaging to power continuity, while simultaneously insisting on the negative Other as an obstacle to a solution to the pandemic, both core and peripheral players in the realm of politics and international relations have ultimately demonstrated lack of empathy and solidarity at local (Europe) and global level (UN). More precisely, the initial ‘us vs. coronavirus’

advocacy, which implied a global effort to fight an invisible enemy, was quickly abandoned, providing space for greater flexibility and politization of the question of health emergency. In this new context, the ‘us vs. you/them’ division was less about the collective handling of the pandemic and much more about intrastate dynamics, including polarization and rising inequalities, with many citizens fearing for their own survival in the so-called new normal.

Given that the covid-19 crisis has been accompanied by all sorts of (un)official assessments, jointly encouraging too many questions *and offering too few answers*, we seek to shed light on the level and impact of engagement of governments, field experts, and public intellectuals during the pandemic. While policymakers as ‘editors-in-chief’ have felt passionate about their war metaphors and prompt policies throughout, even when they proved detrimental and likely to cause more damage, the role of field experts and public intellectuals seems to have been limited. Rather than trying to persuade people as to what they should be doing, experts and intellectuals are expected to use their knowledge to provide constructive examination of complex issues and make them accessible, so that the ones who listen to them can hopefully understand the impact of specific policy preferences and minimize their own losses in the increasingly competitive environment. Their status — and luxury to serve as impartial commentators rather than key figures of the political spectrum and decision-making processes — is a matter of both institutional willingness to provide space for their involvement and their own readiness to contribute in a more active manner (individually or by joining other like-minded comrades). While some regimes tend to be more inclined toward a genuine inclusion of experts and intellectuals in debates about system’s deficiencies and possible improvements, others tend to show reluctance by treating them as nuisance or trying to limit their access to the public through censorship and promotion of anti-intellectualism. However, whichever the level of expertise or whomever the target of experts, the governments seem to have remained unaffected by them. In fact, in the pursuit of their agendas, they have mainly counted on their own hand-picked advisors. Science and technology have additionally complicated the position of field experts and, in particular, public intellectuals; while providing platforms for dissemination of new ideas and critical thinking, they have also provided algorithms to regulate the suitability of debates on policy alternatives and leadership accountability in a time of emergency.

Government agendas and policy preferences

Policymakers are individuals involved in formulation, implementation, and amendments to policies many of whom, as a part of the job description, are likely to have the authority to sign off decisions, approve policy documents, and determine allocation of financial resources. For example, in the UK, policymakers include ministers, their advisers, civil servants, officially appointed Chief Scientific Advisers, Parliamentary Committee members, MPs, Lords, and all of their advisory staff. Given their responsibilities and expected commitment to accountability (the extent of which is largely determined by the regime type), policymakers present

themselves as well-informed and authoritative sources working in the best interest of their respective states and publics. For a successful pursuit of agendas, including new policies, internal coordination and external trustworthiness are key. As explained elsewhere, “public service is a public trust. Citizens expect public servants to serve the public interest with fairness and to manage public resources properly on a daily basis ... Public service ethics are a prerequisite to, and underpin, public trust, and are a keystone of good governance” [52]. The necessity to come across as transparent and trustworthy — a process usually predicated upon well-grounded ideas and arguments as well as sound solutions to diverse complexities of both national and international relevance — is a *modus operandi* likely to facilitate preservation of office and thus further consolidation of power.

Looking at the question of problem definition (its analytical and normative dimensions), D. Dery is right to insist on two maxims, that “problems do not exist ‘out there,’ are not objective entities in their own right, but are analytic constructs, or conceptual entities,” and that “definitions of problems in the context of practice must answer the criteria of feasibility and worth, or improvement” [12; 27; 33; 34]. With this in mind, the recognition and consideration of problems as part of agenda setting shed light on the very nature of the matter, with some issues being assigned priority status over others. Issues related to poverty, unemployment, or healthcare are a good case in point. While being enough sensitive to affect public opinion and election outcome, they represent convenient policy areas both for the ruling elite and members of the opposition. The officeholders are likely to (ab)use them to confirm their determination to improve the status quo and consequently show off with their achievements (even if minor or significantly smaller in comparison to what was initially promised), whereas for the opposition, the sensitive policy areas are useful for narratives and public appearances aimed at exposure of incompetency and ever increasing discreditation of the ruling elite. This all suggests that policy proposals, including their approval and official application in the form of decisions or procedures, are inseparable from a range of calculations. “Policymakers at least informally make ‘political feasibility’ assessments”, bearing in mind prospects of success, limitations and additional options, threats, and opportunity costs, and immediate as well as long-term consequences [45. P. 111]. In times of unexpected crises, time pressure and availability of relevant data make in-depth examinations much more complicated, with their conclusions being highly speculative or, even worse, grossly inaccurate. In such cases, “those charged with diagnosing political feasibility might benefit from methodological advice that guides an ‘armchair’ analysis of political feasibility, perhaps relying upon a few phone calls or use of other secondary sources of information” [45. P. 122]. Such an advice proved only partially sufficient at the time of the outbreak and rapid transmission of the novel coronavirus in late 2019. In order to come up with an instant, yet solid, plan and prospective course of action as to how to fight the spread of the pandemic, national policymakers found themselves jumping between messages coming from the WHO and instruments available in their national contexts (decision-making criteria), simultaneously also having to fight an “infodemic” [67; 80]. In the highly uncertain

and unpredictable circumstances surrounding the outbreak of the global health crisis, policymakers found themselves under pressure to take strategic decisions that empowered institutions and public servants to impact on the practice of everyday life of ordinary individuals, all the time hoping that their dictates and recommendations would not erode their public standing. To justify or defend their action plans, many opted for a war metaphor.

The metaphor of war is handy. It is used to deconstruct and make complex subjects accessible, and as such, to ensure a sufficient level of attention and public approval so that the fight against the enemy can begin. In the context of covid-19, a war metaphor “may resonate with the public, may help people recognize the threat to public health, may help them take their obligations such as physical distancing seriously. Projection may be a defense mechanism: fears and anxieties are projected into a war with a sub-microscopic enemy, giving a sense of power and control” [30. P. 2]. Moreover, since absolute preparedness is impossible (let alone avoidance of negative consequences), war metaphors help the ruling structures to inflate their leadership capacities, but also shield them from responsibility when things do not go well — war itself implies victims. While the covid-19 crisis and the ad hoc tools such as new mandates, lengthy extraordinary sessions, and frequently modified rules and regulations, have ignored one aspect of the traditional social science approach — the one “attempting to identify the assumptions underlying each policy instrument and to assess their relative costs and benefits, often through the use of fairly abstract mathematical models”, they have not ignored the other, largely political, approach, “to formulate the choice of policy largely in terms of which key constituents would lose or gain with different alternatives, how much each alternative is likely to cost, and who would bear that cost. This approach is more representative of what actually happens in the real world, but it is also more ad hoc and idiosyncratic. Consequently, it contributes little to the building of generalizable models of policy implementation” [46. P. 5]. Therefore, the embracement of war metaphors and the elites’ consequent handling of the matter insinuate that the global health crisis is actually a political crisis (often fostered and complemented with economic elements), as also confirmed by the official statements calling the virus the “Chinese Virus” [72] or, with the emergence of a new variant in the UK, “British Virus”.

In his theory of countervailing responsibility, M. Harmon identifies three types of administrative responsibility — political, professional, and personal — and argues that “because various meanings of the word responsibility stand in inevitable tension with one another, it is misleading to equate responsible action in its fullest sense with correct action. Action that is deemed correct from the standpoint of one meaning might very well be incorrect or irresponsible from the standpoint of another” [23. P. 286]. Before proceeding to examine each type’s impact on policymaking in close conjunction with covid-19, a number of other dimensions are worthy of mention. For example, the timing and framing of key messages are of utmost relevance, notably when taking place in a moment of great speculations and without any clarity about possible outcomes and repercussions.

As messages go hand in hand with policy panning, with some ideas as to where the undertaken discussion and subsequent actions should lead, there is a great risk of mistakes and polarization in contexts of unknown or insufficiently researched fields. Policy preferences are sometimes defended with few words and sometimes with more extensive explanations, as to why certain steps are necessary and how they will contribute to the common good: “How well the tasks of government are done affects the quality of the lives of all our people. Moreover, the success of any political leadership in implementing its policies and objectives depends heavily upon the expertise, quality, and commitment of the professional career employees, of government” [38. P. 112]. As part of persuasion tactics, policymakers tend to argue that they have taken into consideration all sorts of things, including previous experiences and conclusions of different consultation rounds, so that they could come up with the best or most appropriate policy. Accordingly, once in place, the ruling elites also rely on the support from civil servants, lobbying networks, and the media.

On the other hand, members of the public tend to associate policies with certain faces, as in the case of the 2010 Affordable Care Act, commonly known as Obamacare, or the 1999 Doctrine of the International Community, commonly known as Blair doctrine (or even before, as in the case of the 1980s economic policies referred to as Reaganomics, or in the case of the 1970s revolution in China referred to as Maoism). This also means that when some of the policies put in place do not work, the public is likely to question and discredit the government in charge of it. Think tanks, independent media, and non-governmental organizations are often at the forefront, aiming to enlighten the public with additional facts, and inviting the ruling elites to take part in an open dialogue about winners and losers of the policies in place. It is in such contexts that, regardless of the arguments presented by the respective policymakers and other stakeholders, altogether insisting that they are working in the best interest of the people, many members of the public start feeling the opposite; more precisely, once they spot features that discriminate against their own interests and well-being, they develop feelings of betrayal and resentment. Aware of the sequence and their government’s paralysis to respond with adequate measures, policymakers seek to minimize individual accountability by embracing the collective dimension of (in)action. In the context of covid-19, President Trump stated that “we must sacrifice together because we are all in this together and we’ll come through together. It’s the invisible enemy. That’s always the toughest enemy: the invisible enemy. But we’re going to defeat the invisible enemy. I think we’re going to do it even faster than we thought. And it will be a complete victory. It’ll be a total victory” [7. P. 4]. In a similar, yet more diplomatic, fashion, the importance of togetherness was advertised by UN Secretary-General A. Guterres when declaring that “we are all in this together” [19], and later on, by European Commission President U. Von der Leyen when insisting that “none of us will be safe until everyone is safe” [73]. However, in contrast to key policymakers, some critical non-state actors have been much more reserved about the notion of togetherness. Mindful of economic disparities and substantial

differences in the death rate between poorer and wealthier areas, they have argued that “just because the UK’s prime minister and the Prince of Wales have had covid-19 doesn’t mean the disease strikes all people equally” [37; 47; 75].

Looking more narrowly at political responsibility — “action that is accountable to or consistent with objectives or standards of conduct mandated by political or hierarchical authority” [23. P. 289] — the sudden nature of the global pandemic exposed a range of discrepancies in government approaches. For example, the EU experienced all sorts of disagreements both in terms of (a) intrastate dynamics (shaped by the type and competency of leadership, the readiness of the healthcare system to confront the pandemic, and the measures adopted in order to protect the well-being of citizens) and (b) interstate relations (either at the bilateral level, through continuous discreditation of each other’s strategies and preferences, or at the multilateral level, while expecting the EU to use its supranational powers to assist struggling member states). Yet again, by seeing Dutch and German authorities insult Italian and Spanish responses to the pandemic (as if the two Mediterranean partners wished for socioeconomic complications and international discreditation), the issue of solidarity as a key EU value was widely scrutinized [8; 69]. As also admitted by President Von der Leyen, “when Europe really needed to be there for each other, too many initially looked out for themselves. When Europe really needed an ‘all for one’ spirit, too many initially gave an ‘only for me’ response” [57]. In the EU, the dividing polarization accompanying the covid-19 crisis has put even more emphasis on the intergovernmental approach, with national governments seeking to independently identify the most appropriate measures that would consequently help them secure public support and thus preserve the office. Elsewhere, as in the case of Brazil, while continuously downplaying the gravity of the pandemic and expert advice concerning facemasks and physical distancing, President J. Bolsonaro developed a dismissive attitude toward the Chinese government. “Bolsonaro himself repeatedly accused China of being responsible for the pandemic” and described the Chinese vaccine as “‘untrustworthy’ because of its ‘origin’”, but then felt an aftereffect when it turned out that the main ingredients necessary for Brazil’s own vaccine production had to be imported from China proper [16].

By treating the outbreak and handling of the covid-19 crisis as a marketing strategy for the sake of power maximization, various members of the ruling elites worldwide carefully selected what advice and measures to pursue so they would have the least adverse impact on their popularity (in fact, President Bolsonaro got rid of two health ministers because of their noncompliance). Under the circumstances, somewhere on the (in)competence scale, the metaphor of war appeared as a convenient policy instrument. “The declaration of the war on covid-19 occurred during the time of record-setting economic indicators (including lower unemployment in the USA, higher New York Stock Exchange closing figures and the international trade negotiations); however, the social and political climate of the nation after the first case of coronavirus became anxious, exhausted and angry ... Health-related challenges from the virus, a severe economic downturn, localized

food shortages, quarantines and lockdowns, all racially charged civil unrest, and social unrest related to citizen's rights" [10. P. 1115]. While in the view of policymakers around the world, a war metaphor was imagined as capable of bolstering togetherness, in the view of many citizens, it was actually a tool used to silence discontent and send a message that whoever was opposed to it, they were actually against the ruling elite and their efforts to fight the invisible enemy. Moreover, the call to unite around a common purpose lost its significance as soon as it became clear that equal commitment did not imply less discrimination but further erosion of the position of most vulnerable groups. With this in mind, while they were not necessarily against the elites' war metaphors when they implied "an 'all-in-this-together' mentality, unifying the public behind their health heroes, lauding their courage and emphasizing the need for essential funding and adequate personal protective equipment for health workers", they did start to dispute them when it turned out that the ruling structures were failing to provide necessary protection: "In a war, heroes get medals, but deserters are shot, so are those vulnerable healthcare workers who feel unable to work on the frontline and request redeployment also 'deserters'? Healthcare workers may arguably have accepted a slightly higher risk to themselves by pursuing their vocation. While they have a duty to care for patients, they have no obligation to sacrifice themselves" [30. P. 2; 43. P. 624, 625].

Furthermore, during the pandemic, the question of public health increasingly became a matter of securitization. With the constant reporting of mortality rates as significantly higher than those caused by influenza, the rules and regulations accompanying the proclamation of war against coronavirus as an existential threat also served to prevent collapse of healthcare systems. One study has looked at the situation in Hungary, outlining how the state of emergency resulted in the expansion of powers that "allowed the government to rule by decree for an indefinite period of time;" the arrival of the pandemic meant limited movement and interaction of people, and thus implied closure of shops, companies, and different institutions, with "military and police commanders dispatched to hospitals to supervise the implementation of emergency measures and later to institutions of strategic importance" [49. P. 1169]. So, the identification of four securitization prerequisites — agent, threat, object, and audience [76] — provided a platform of greater control, with power being kept in the hands of a very small group of people. Moreover, and in contrast to visible enemies, the invisible and, equally important, global nature of covid-19, as well as the concomitant speculations about its origin and handling strategies, provided the executives with a higher degree of flexibility in terms of policy preferences and subsequent accountability repercussions. It is for this reason, conveniently accommodated in the discourse about public health and desire to save lives, that the question of blame (aggressor) has not received major attention by the ruling authorities around the world; in fact, those who decided to engage with it, have experienced disapproval and widespread criticism.

In terms of dilemmas surrounding professional responsibility — "action that is informed by professional expertise, standards of ethical conduct, and by experience

rooted in agency history and traditions” [23. P. 289] — the fact that different executives opted for measures diametrically opposed to one another in order to deal with the covid-19 health crisis, yet all of them insisting that their approach was in the best interest of their fellow citizens, created a major confusion in terms of trust and (in)competence. While there is no doubt that governments found themselves in gray areas and having to perform multiple actions and responsibilities as well as to consider information of complex and rather ambiguous character, members of the public were primarily concerned with the ruling elites’ honesty, impartiality, and capacity to work in the public interest. In her attempt to understand why the outbreak and handling of the pandemic necessitated metaphorical connotations, E. Semino rightly concluded that “metaphor involves talking and, potentially, thinking, about one thing in terms of another, where the two things are different, but some similarities or correspondences can be perceived between them. For example, when B. Johnson talks about a ‘fight’ in his statement from March 17 2020, he talks about the attempt to reduce infection, illness, and death from the new coronavirus in terms of a violent physical confrontation with an opponent. The two things are obviously different, but we can perceive similarities between them. For example, both are difficult and dangerous enterprises that require effort and concentration, and both involve harm to people, and, in some cases, death” [63. P. 50].

What we imagine here is also a close relationship between the executive and a number of policy advisors, who, depending on their own position and integrity, can play a key role in policy processes. While based behind the scenes, depending on the executive’s readiness to take them seriously and allow for their intervention even when it is in complete contrast with some predetermined preferences and rights, they will seek to invest efforts in the development of new arguments and policy alternatives. Accordingly, some policy advisors, inspired by the expected level of professionalism, will feel free to openly discuss problems while simultaneously offering solutions, whereas others would side with the government and in fact help it to consolidate its position, no matter how detrimental the impact of its policies might be. “Regardless of what indicator data may suggest about a particular policy problem, policymakers prefer policy instruments consistent with their own values... However, few policymakers act alone or without constraints that limit their range of choice. Consequently, the selection of a policy instrument depends on a policymaker’s constraint and the resources available either to diminish the force of those constraints or to enhance the effectiveness of a given instrument. Resources and constraints thus determine what is feasible” [46. P. 21].

In any case, including instances that require large-scale collective action, it is a very small number of policy advisors who appear publicly and share what they are exactly doing and how they shape policies and government behavior. Needless to say, with different regimes implying different levels of creativity and freedom of expression of those populating inner circles around those in executive positions, it does not make much sense to expect substantial coherence among heterogeneous actors and their approaches. Moreover, and again closely related to the problem of large-scale collective action, even if coordinated at a global level — as in the case

of curfew and other restrictions, such as school closures — there have been obvious variations in the handling of the covid-19 crisis, since unattractive rules and regulations can erode the popularity of the government. This is especially the case when measures disproportionately target and thus affect the income of poorer communities. “It can be costly for parents to stay home with their sick children, as they might risk losing their jobs; therefore, parents may send their children to school even when they have mild symptoms and, furthermore, even if the parents know their children might spread the virus” [24].

Being professional also means trustworthy. With this in mind, the sound war metaphors, communicated by the executives (and never publicly challenged, let alone discarded and abandoned, by any of their policy advisors), served to consolidate governments’ overall standing, which corresponds to professional preparedness. With the outbreak of the pandemic, since governments were unwilling to collapse in front of the so-called invisible enemy, war metaphors helped to neutralize public skepticism and render low trust in government less relevant — in the end, it was an emergency and who else was supposed to take care of it except those holding the office. As clarified elsewhere, “the regulations and recommendations will have no effect if the citizens abstain from complying. If the authorities do not trust the citizens and people do not trust each other, countries have to rely on hard monitoring and enforcement of regulations (e.g., armed forces enforcing the curfew)... Citizens must trust that the recommendations they receive from the public authorities are correct, that these are in their (or the collective’s) best interest, and that most others will follow the recommendations” [24]. In contrast to times of peace, when the public is more prone to expressing low trust in the government, during the global health crisis (in particular, its early stage) and introduction of restrictive measures worldwide, many have shifted their focus, paying much more attention to health, job security, and family well-being, than to the necessity, appropriateness, and quality of the imposed restrictions, often referred to as the new normal.

Finally, with regard to personal responsibility — “action that is informed by self-reflexive understanding; and emerges from a context of authentic relationships wherein personal commitments are regarded as valid bases for moral action” [23. P. 289] — the covid-19 crisis stressed the power of individual experiences in the context of policy preferences. With this in mind, the fact that some key policymakers caught the virus and had to be hospitalized themselves served as a confirmation that everyone was in the same boat (in terms of risk, not treatment), but, even more importantly, as an incentive to defend or reconsider the previously embraced partiality about the handling of the pandemic. Therefore, while insisting on personal experiences as a part of their open-mindedness toward policy alternatives (with least detrimental effects), and while at some point having to fight for their own life as well as to continue fighting the invisible enemy on behalf of their fellow citizens, policymakers sought to spread a message according to which, a fighter mentality was a prerequisite for successful handling of the given situation: “The representation of, for example, populist leaders such as B. Johnson

and D. Trump as too strong to be beaten by the virus can indeed reinforce the perception that recovery depends on character, rather than a combination of demographic characteristics, genetics, circumstances, and medical treatment” [63. P. 52]. However, on the other hand, such messages managed to stress and further deepen the ‘us vs. you/them’ division, presenting policymakers as more mature and somewhat superior to the rest of the society. Such an approach usually results in stigmatization, with effects of infantilization: “One is led to believe that the population as a whole is unable to comply with the rules and that there are particular groups that do not have this ability. This can lead to discriminatory behavior, including ableism, ageism, classism up to actual racism” [5]. In fact, many members of the public have experienced confusion and misunderstanding as to who was to be fought, the novel coronavirus or other members of the society (especially the ones not willing to follow the rules and regulations).

The access to variety of information channels, with social networks at the forefront, also provided policymakers with an opportunity to immediately communicate their own experiences to wider audiences, using the timely interaction as an expression of commitment to the well-being of others. Research has shown that “evoking war scenarios to talk about pandemic increases the level of emotional involvement, and this strategy becomes more effective on those participants who are more interested in high level of arousals, such as those who use independent information channels and social networks... These individuals will be more susceptible to accept also the other bellicose entailments that are evoked by the war metaphor” [53. P. 27]. Thus, the readiness of the public to embrace the narrative presented by policymakers — for as long as the minimum level of trust persists, which is also maintained by occasional involvement of different pro-government non-state actors — explains public vulnerability to the metaphorical representation of the state of affairs. As it turned out, it was primarily field experts and public intellectuals who have spent time trying to distinguish between different responsibilities and the risk of causing harm in the war against the invisible coronavirus enemy. In fact, in order to show the gravity and detrimental impact of war metaphors, some authors go as far as to link their appeal to the question of cancer: “It is much simpler to discuss taking potentially toxic chemotherapy to ward off an anthropomorphized evil entity, for example, than to delve into the nuances of unintended treatment toxicities and prognostic uncertainty. Metaphors may help personalize discussions and broach topics such as end-of-life care that might otherwise be difficult to initiate” [43. P. 624, 625]. With the vision of winning, which implies that the winner is better equipped (ammunition or body health), pressure tends to increase, which also implies readiness to accept exploration and introduction of new methods and additional measures (war strategy or medical therapy), to gain advantage and secure (auto-)destruction of the Other.

Field experts between profession and public expectations

Governments rely on field experts — generally defined as professionals with a thorough, science-based, understanding of a particular matter — to provide input

during different stages of the policy process [33; 51; 56]. They are usually recognized as people who have invested a lot of time and effort in knowledge acquisition so that their findings and recommendations, together with familiarity with other contexts and sound comparative perspectives, are difficult to dispute. In addition, “scientists can take on the role of both neutral experts and strategic policymakers. Scientists not only serve as sources of information, but can act as full coalition members and strategic actors with their own belief systems congruent with the coalitions of which they are members” [29. P. 1010]. Such a view, in combination with the different types of regimes, also suggests that depending on circumstances, certain experts will not exclude the option of self-censorship for as long as they see a good reason for it (in many instances, compensation and prospects for future engagement). In contrast to fully democratic environments, (semi-) authoritarian governments tend to select their experts on criteria that are often unrelated to the role requirements; they are expected to provide legitimacy for the ruling elite’s policy preferences rather than insist on alternatives that could potentially threaten the leadership. Here, knowledge is used for the purpose of coverup and not to evaluate or challenge the status quo. In fact, insisting on their knowledge and professional experience may cost experts their position. Alongside this thinking, many of them end up limiting their involvement by staying on the periphery of main discussions — a decision seen as contributing to gradual erosion of their professional recognition.

“The role science plays can then also impact upon how evidence and knowledge provided by scientists is used by decision-makers and other subsystem actors,” and “the use of knowledge and the roles that scientists play impacts on the degree of adverseness within the subsystem” [29. P. 1011]. Moreover, someone sitting at the moment of the outbreak of covid-19 pandemic in Moscow and Washington and respectively advising the Russian and American administrations, could have easily found themselves inadequately prepared to address the dilemma about the handling of the novel coronavirus. Initially, they relied on research data shared by the hotspot (Wuhan-based labs and markets) and stories prepared by a handful of reporters who happened to be in China at the time. Thus, we need to distinguish between experts and researchers, with the former category being the one that needs the latter’s primary sources. While ready to commit themselves to examination of new or insufficiently explored areas, researchers use their training to investigate their subject from different angles. Accordingly, they are interested in cultural perspectives, official discourses reflecting the political climate, and the socioeconomic position of polity members. Therefore, experts’ claims about the situation in a remote context, such as that of the city of Wuhan at the very beginning of the global health crisis, can also be discredited as pure speculation if not properly supported by cross-checked data. Thinking about the likelihood of research influencing policy development, some authors observe that policy recommendations often represent “the most difficult part of the project”, since “neither the researchers nor the participants are particularly well placed to make informed judgments about the best responses to the evidence presented” [71. P. 40].

With this in mind all the advocacy, with the WHO at the forefront, calling for the closure of wet markets [40; 50], was nothing more but an expression of frustration and initial guesstimate about the origin of coronavirus, which gradually started to disappear, so much that by the end of 2020 any mention of such markets (open and fully operational) and their exotic animals had fully vanished.

When researchers find themselves in an environment characterized by strict controls regulating access to information, it is likely that their attempts to examine controversial issues will face obstacles, leaving their findings incomplete or, even worse, inaccurate: “Specific answers to specific questions cannot be guaranteed, nor is there any certainty that evidence to support or counter a particular policy move will be generated” [71. P. 41]. Some former studies have shown that although policymakers tend to acknowledge the importance of academia, a very large majority of them “preferred to work with researchers who had a solid understanding of government that included a knowledge of public health infrastructure, bureaucracy and parliamentary processes, and the social-political history of policy reform”, believing that a solid grasp of politics is a prerequisite for substantial engagement with policy processes, their development and timely modifications [25. P. 5]. Moreover, such a combination is seen as more attractive and reassuring in front of the public — a strategic move that also increases the overall credibility of policymakers. As reported, they do not appreciate “researchers who ‘came out with guns blazing’” and “made ‘wild claims or wild predictions’”, or “researchers’ ‘unrealistic expectations’ about government process, and a failure to appreciate the ‘big, complex picture in which [policymakers] work’” [25. P. 5]. Finally, and this is surely key, policymakers are obsessed with confidentiality and perceive a researcher’s interaction with the media as potentially dangerous. In policymakers’ words, “‘anybody that is likely to be trouble,’ or may be ‘difficult to control,’ who might ‘go to a press conference and launch an attack on the government’ — was excluded from insider conversations”, and while they recognized “researchers’ ‘democratic right’ to criticize government policy”, no policymaker was in favor of “the role of researchers in holding governments accountable” [25. P. 6].

In order to further unpack and facilitate understanding of the above dynamics (including possible side effects), another analysis of the role of research in policy formulation has identified the following factors as key: “(i) timing; (ii) identity of the researcher; (iii) the involvement of researchers in policymaking positions; (iv) communication; (v) perceptions of usefulness; (vi) good relationship between researchers and policymakers; (vii) political feasibility; and (viii) political legitimacy” [17. P. 570]. Consideration of these factors is likely to shed light on what can go wrong and on the overall complexity of working relationships. However, in case of unexpected and large-scale catastrophes, which require immediate reaction and treatment, the pressure does not allow for too much deliberation, calls for expression of interests, or muttering about mandates and their legal provision.

The sudden nature of covid-19 exposed insensitivity to the issue of timing, with a number of governments consequently accused of their “too little, too late”

approach [4; 54]. More precisely, although researchers have sought to provide timely advice to prevent the spread of pandemic, some authorities decided to ignore it; for example, the British government did not follow the safety guidelines and lockdown recommendations provided by the Scientific Advisory Group on Emergencies even though they argued that the country was facing a “very large epidemic with catastrophic consequences” [61]. In its defense, the government rightly stressed that even the researchers themselves differed in their opinion [11; 20], which somehow served to suggest that the ministers felt flexible and thus opted to balance between the protection of lives and the National Health Service, on the one hand, and education and job security by keeping people in employment, on the other [74]. Admittedly, such an approach is not a novelty. “While researchers are trying to find answers to an academic question, a policymaker is trying to solve a problem which sometimes is time-sensitive. So, you may need to move without the luxury, privilege, advantage of firm information. And you need to make the judgment [between what] you need to know and when you are willing to take a risk” [28. P. 75; 68].

The decision to downplay researchers and the obvious discrepancies concerning research findings but also those between researchers and policymakers, left the public highly perplexed, if not in a state of permanent confusion. For the public, especially its members interested in comparative perspectives and developments across the national border, seeing other states perform much better than their own is an indication of an absence of strategic thinking at home. Looking at the triangle encompassing researchers, field experts and policymakers, with the public having interest in each of them (but not necessarily the other way around), studies have already established that communication and open dialogue are of utmost importance. “The communication of science to policymakers is recognized as an important site for the construction of the meanings of scientific uncertainty in society, but it is not the only one. Another site is the media, which play a critical role for the dissemination of scientific knowledge in society” [36. P. 280; 9]. However, from the very beginning, the covid-19 crisis was accompanied by reports loaded with speculation and contrasting interpretations and as such incentivized politicization of the matter and greater polarization of the public. In fact, the more the global health absorbed elements of (geo)political confrontation, the lesser the relevance of research findings of both national and international nature seemed to be. “The minister is the one who sets the vision. Then the political agenda is discussed within the advisory committees of all departments”, and, perhaps more significantly here, “it is national leadership... that retains a key role in taking responsibility for the way the policy is formulated and the extent to which research plays a role in policymaking” [28. P. 76].

In contrast to policymakers for whom the metaphor of war seemed convenient, other experts spent much more time thinking about it. For example, in June 2020, the independent and multidisciplinary World Emergency covid-19 Pandemic Ethics Committee offered a number of recommendations calling for a reconsideration of the use of war metaphors [5]. The committee argued that such a preference among

key policymakers is “extremely dangerous because it risks transforming preventive public health procedures into instruments of social control”, given that war emergencies imply mobilizations and brutal killings to combat the enemy. On the other hand, fighting the spread of coronavirus has not implied killings of people, but protection of all, including others from ourselves, as evidenced through physical distancing and wearing of facemasks. While this confusion and obvious difference are clear to some, others, especially children and adolescents (and particularly those immersed in warlike videogames) may take a different view while hearing that the environment they are growing in is full of fear and at war of global proportions. Furthermore, the committee stressed the absolute need “to avoid any form of stigmatization toward those who do not respect the health rules”, but instead called the relevant authorities to enlighten them so they would become savvier about safety measures, including their duration.

However, the call to reconcile the ‘us vs. them (enemies)’ difference was easier said than implemented given the number of key political figures who themselves mocked the value of individual responsibility, rejecting to wear a facemask and maintain physical distance [59]. By sending messages that masks were useless and did not threaten (their) health, they directly provided support to groups opposing face covering — a highly polarizing trend that transformed the question of mask and health into a cultural and political divide; as in the US case, “for progressives, masks have become a sign that you take the pandemic seriously and are willing to make a personal sacrifice to save lives. Prominent people who don’t wear them are shamed and dragged on Twitter by lefty accounts. On the right, where the mask is often seen as the symbol of a purported overreaction to the coronavirus, mask promotion is a target of ridicule, a sign that in a deeply polarized America almost anything can be politicized and turned into a token of tribal affiliation” [39]. Finally, the Committee recommended replacing the metaphor of war with the term resistance. However, in contrast to warlike contexts and course of action in order to win the war even though victory may not be the final outcome, resistance strategies tend to be more flexible throughout due to their fluctuating nature between exaggerated activity and passivity. As such, while they are capable of shedding a better light on warlike propagandistic rhetoric, they may also come across as confusing and potentially more damaging in the eyes of the masses nervously waiting for a solution.

The limited role of public intellectuals

The outbreak of covid-19 and consequent response by international organizations and different governments inspired many intellectuals to comment on the state of affairs. While some of them have rightly argued that the handling of the pandemic exposed “another colossal failure of the neoliberal version of capitalism” [41], and that “more than open barbarism [they] fear barbarism with a human face — ruthless survivalist measures enforced with regret and even sympathy, but legitimized by expert opinions” [81], some others went on to warn the audiences that the measures put in place (for example, in Italy) were “irrational and entirely unfounded”, used

by governments to paralyze countries and limit our freedom “in the name of a desire for safety that was created by the same governments that are now intervening to satisfy it” [2; 3]. Thus, the debate is about intensification of oppression imposed by the system (the ruling political and economic elites) on the already tired polity, often referred to as the precariat or the burnout society. As warned some time ago, the precariat, while experiencing the so-called four A’s — “anger, anomie, anxiety, and alienation” — is bound by “short-termism, which could evolve into a mass incapacity to think long term, induced by the low probability of personal progress or building a career” [66. P. 31, 33]. On the other hand, the burnout society is concerned with “the achievement-subject that competes with itself... in the destructive compulsion to outdo itself over and over”; in this race, life is reduced to “the illusion that more capital produces more life, which means a greater capacity for living... Concern about living the good life yields to the hysteria of surviving” [21. P. 46, 50].

While the portrayal of precariat and burnout society corresponds to the widening gap in income inequality between the rich and the poor, both categories, however, are obsessed with individualism. Moreover, the obsession with temporary opportunism due to fear about the future (robotics and automation), makes any discussion about sustainability or sustainable development look like an abstract wishful thinking. Competition and compensation as per the current system leave no room for collectivism; in fact, collectivism is seen as an obstacle to progress and accumulation. Trade unions are perceived as a leftist nuisance and the work of NGOs is silenced by the establishment of government-organized non-governmental organizations (GONGOs). Accordingly, the pandemic has been used to justify implementation of emergency measures, some of which threaten the rule of law and civil liberties: “if passed quickly by parliament in the context of the emergency, the new legislation, once entered into force, will be applicable even after the end of the pandemic. Decrees issued during the state of emergency — including the practice of detaining journalists for their work and the abuse of pre-trial detention and internet censorship — may become permanent measures used to restrict freedom of expression and freedom of the media, and to shout down dissenting voices” [44. P. 167, 168]. The severity of this warning is even more alarming when juxtaposed with the policy goals in relation to internet freedom and information management, as prescribed by digital diplomacy objectives; while the former implies “objectives of promoting freedom of speech and democracy as well as undermining authoritarian regimes,” the latter is supposed amass information in order “to better inform policymaking and to help anticipate and respond to emerging social and political movements” [6; 22; 55].

With this in mind, the invisible enemy covid-19 has additionally exposed the system’s fragility and proneness to illiberal or even fully authoritarian practices, and with this in mind, the embracement of war metaphors by different regimes makes perfect sense. The equation between health and war (with all its accompanying rules and regulations) as a precondition of survival has imposed the requirement to sacrifice freedom and be ready for a new wave of isolation and self-

ensorship. The use of warlike terminology (death, enemy, and confrontation) as a substitute for terminology associated with healthcare emergency (life, empathy, and solidarity) is a way of securing legitimacy for any future emergency and its “effects on social behavior”, as well as “effects on political climate and democratic values” [60. P. 619, 620].

The restrictions have the potential to limit the involvement of public intellectuals as critically endangered species seeking to share ideas about trends in place and possible future scenarios. As witnessed on numerous occasions in the past, the blurred line between acceptable and unacceptable evaluation of the handling of emergencies can easily result in labeling with detrimental consequences. Back in 2011, the American Association of University Professors recalled its nearly century-old founding documents, suggesting that “the mission of universities and colleges included not only research into or teaching of new ideas and providing experts to serve the community but also the teaching, interpretation, and communication of long-standing intellectual and artistic works and values. Further, for academics to contribute their ideas freely to the larger society, the 1915 declaration emphasized that academic extramural expression, in addition to academic work, should be protected under principles of academic freedom” [13. P. 2]. However, as the result of the covid-19 lockdown, institutions of higher education had to close their campuses and the whole environment became virtual within a matter of days [42], without proper interaction, and thus learning and knowledge accumulation, all key for democratic decision-making [14]. In contrast to a packed classroom or conference room, difficult to leave when unpleasant yet highly relevant discussions take place, the new setting has offered a quick fix, instead — the mute button. While few realize the real power behind platforms offering such an option — sociocultural (self-)exclusion or (self-)estrangement — others have welcomed them as a non plus ultra solution to their academic needs. More alarming than the (mutual) muting privilege is the censorship prerogative, with major web channels and social media being in a position to filter narratives by deciding what is acceptable or whose account should be canceled. Going forward, depending on their ideas and arguments, be it about freedom, leadership, or (anti-) vaccination, the presence of public intellectuals, like anybody else’s except those in charge, is likely to be monitored and, depending on the level of controversy, sanctioned.

The new normal, widely advertised as a byproduct of the pandemic, has taken governments, field experts, and public intellectuals by surprise. The consequent frustration, largely due to the uncertainty and constant need to predict the nature and next steps of the invisible enemy, has encouraged questions about the system we tend to argue we understand. However, “there has never been so much knowledge about our ignorance and about the compulsion to act and live under uncertainty” [32]. We have spotted uncertainty when observing the behavior of the ruling elites, of researchers and field experts fighting whose opinions should count and whose should be discarded, and of public intellectuals who have traditionally

sought to expose malfunctions and propose alternatives, but whose voices and registers often remain unheard by wider audiences. Moreover, dissatisfactions of one of the three groups with other two and the need for mutual undermining for the sake of personal gain and influence maximization, can also be interpreted as an absurdity in the context of growing inequalities and the more voluminous precariat. The new normal has also encouraged questions about the power of institutions, at both national and international levels. Half a century ago, one study stressed that “whatever else organizations may be (problem-solving instruments, sociotechnical systems, reward systems, and so on), they are political structures. This means that organizations operate by distributing authority and setting a stage for the exercise of power” [79. P. 1; 78]. And later on, in the early 1990s, playwright S. Tesich warned us of our own selves: “We are rapidly becoming prototypes of a people that totalitarian monsters could only drool about in their dreams... We have freely decided that we want to live in some post-truth world” [35; 64; 70].

What covid-19 has clarified, and potentially incentivized a need for speedy reconsiderations, is that in front of emergencies, none of these values seem to matter, and regardless of the level of (il)liberalness of regime in place, governments are ready to implement measures that directly affect civil liberties. With all the speculation about the origin of the invisible enemy and volatility in terms of policies expected to reduce mortality rates, they still managed to get away with more surveillance and less accountability. This also sends a sound message to a whole range of non-state actors, including experts, media outlets, and public intellectuals. Correspondingly, the whole talk about the new normal is a trap, which should be rejected. The contractual relationship across circles of policymakers and tacit approval of questionable policies is not only a matter of state capture (power maximization and wealth accumulation), but of morality as well — those who consciously embark on it and those who, equally cognizant, tolerate it. Luckily, the covid-19 crisis has from the very beginning inspired writings looking at the very question of ethics [15; 31; 58; 62]. With this in mind, coupled with the growing pressure coming from the ruling structures, the covid-19 emergency is an open invitation for protest and resistance (some of which already promoted by the movements Black Lives Matter, Extinction Rebellion, and Yellow Vests), and therefore it could be treated as a welcome introduction to a new (ab)normal, with alterations in the rules or responsibilities, in order to ensure less uncertainty and more accountability.

Funding

Carlos González-Villa receives funding from the European Regional Development Fund (No. 2020/3771).

References

- [1] Adesina O.S., Summers J. Foreign policy in an era of digital diplomacy. *Cogent Social Sciences*. 2017; 3 (1).
- [2] Agamben G. Chiarimenti. *Quodlibet*. 2020, March 17.

- [3] Agamben G. L'invenzione di un'epidemia. *Quodlibet*. 2020, February 26.
- [4] Altman D. Understanding the US failure on coronavirus. *BMJ*. 2020, September 14.
- [5] Arawi T., Chakraborty R., Cutter A.M., et al. A call to cease the use of war metaphors in the covid-19 pandemic. URL: https://www.researchgate.net/publication/342232798_A_Call_to_Cease_the_Use_of_War_Metaphors_in_the_COVID-19_pandemic
- [6] Barrinha A., Renard T. Cyber-diplomacy: The making of an international society in the digital age. *Global Affairs*. 2017; 3 (4–5).
- [7] Bates B.R. The (in)appropriateness of the war metaphor in response to SARS-CoV-2: A rapid analysis of Donald J. Trump's rhetoric. *Frontiers in Communication*. 2020; 5.
- [8] Bertocini Y. European solidarity in times of crisis: A legacy to be deepened in the face of covid-19. URL: <https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0555-european-solidarity-in-times-of-crisis-a-legacy-to-be-deepened-in-the-face-of-covid-19>.
- [9] Besley J.C., Nisbet M. How scientists view the public, the media and the political process. *Public Understanding of Science*. 2013; 22 (6).
- [10] Chapman C.M., Miller D.S. From metaphor to militarized response: The social implications of "we are at war with covid-19" crisis, disasters, and pandemics yet to come. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2020; 40.
- [11] Costello A. The government's secret science group has a shocking lack of expertise. *Guardian*. 2020, April 27.
- [12] Dery D. Agenda setting and problem definition. *Policy Studies Journal*. 2000; 21 (1).
- [13] Ensuring academic freedom in politically controversial academic personnel decisions. URL: <https://www.aaupunion.org/NR/rdonlyres/895B2C30-29F6-4A88-80B9-FCC4D23CF28B/0/PoliticallyControversialDecisionsreport.pdf>.
- [14] Eschenbacher S., Fleming T. Transformative dimensions of lifelong learning: Mezirow, Rorty and covid-19. *International Review of Education*. 2020; 66.
- [15] Ethics and covid-19. URL: <https://www.who.int/teams/health-ethics-governance/diseases/covid-19>.
- [16] Garcia RT. Brazil's COVID-19 catastrophe: Nothing less than criminal. *Aljazeera*. 2021, February 1.
- [17] Gordon-Strachan G., Bailey W., Lalta S., et al. Linking researchers and policy-makers: Some challenges and approaches. *Cad Saúde Pública*. 2006; 22.
- [18] Greenfield P. Ban wildlife markets to avert pandemics, says UN biodiversity chief. *Guardian*. 2020, April 6.
- [19] Guterres A. We are all in this together: Human rights and covid-19 response and recovery. URL: <http://webtv.un.org/watch/player/6151599935001>.
- [20] Hamzelou J. UK's scientific advice on coronavirus is a cause for concern. *New Scientist*. 2020, March 23.
- [21] Han B-C. *The Burnout Society*. Stanford; 2015.
- [22] Hanson F. Baked in and wired: E-Diplomacy@State. *Brookings Foreign Policy Paper Series*. 2012, October 25.
- [23] Harmon M.M. The responsible actor as 'tortured soul': The case of Horatio Hornblower. *Administration and Society*. 1989; 21 (3).
- [24] Harring N., Jagers S.C., Löfgren Å. Covid-19: Large-scale collective action, government intervention, and the importance of trust. URL: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105236>.
- [25] Haynes A.S., Derrick G.E., Redman S., et al. Identifying trustworthy experts: How do policymakers find and assess public health researchers worth consulting or collaborating with? *PLoS One*. 2012; 7 (3).
- [26] Hocking B., Melissen J. *Diplomacy in the Digital Age*. Hague; 2015.
- [27] Hogan J., Howlett M. (Ed.). *Policy Paradigms in Theory and Practice: Discourses, Ideas and Anomalies in Public Policy Dynamics*. Basingstoke; 2015.

- [28] Hyder A.A., Corluka A., Winch P.J., et al. National policy-makers speak out: Are researchers giving them what they need? *Health Policy and Planning*. 2011; 26 (1).
- [29] Ingold K., Gschwend M. Science in policy-making: Neutral experts or strategic policy-makers? *West European Politics*. 2014; 37 (5).
- [30] Isaacs D., Priesz A. Covid-19 and the metaphor of war. *Journal of Paediatrics and Child Health*. 2020; 57 (1).
- [31] Jamrozik E., Selgelid M.J. Covid-19 human challenge studies: Ethical issues. URL: [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30438-2](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30438-2).
- [32] Jürgen Habermas über Corona: “So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie.” *Frankfurter Rundschau*. 2020, April 10.
- [33] Kingdon J.W. *Agendas, Alternatives and Public Policies*. London; 2013.
- [34] Knoepfel P., Larrue C., Varone F., et al. *Public Policy Analysis*. Bristol; 2011.
- [35] Krasni J. How to hijack a discourse? Reflections on the concepts of post-truth and fake news. URL: <https://www.nature.com/articles/s41599-020-0527-z>.
- [36] Landström C., Hauxwell-Baldwin R., Lorenzoni I., et al. The (mis)understanding of scientific uncertainty? How experts view policy-makers, the media and publics. *Science and Culture*. 2015; 24 (3).
- [37] Laurencin C.T., McClinton A. The covid-19 pandemic: A call to action to identify and address racial and ethnic disparities. *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*. 2020; 7.
- [38] Lewis C.W., Gilman S.C. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. San Francisco; 2005.
- [39] Lizza R., Lippman D. Wearing a mask is for smug liberals. Refusing to is for reckless Republicans. *Politico*. 2020, May 1.
- [40] Lynteris C., Fearnely L. Why shutting down Chinese ‘wet markets’ could be a terrible mistake. *Conversation*. 2020, January 31.
- [41] Magdaleno C. Chomsky on covid-19: The latest massive failure of neoliberalism. *EURACTIV*. 2020, April 25.
- [42] Marinoni G., van’t Land H., Jensen T. The impact of covid-19 on higher education around the world. URL: https://www.unibasq.eus/wp-content/uploads/2020/06/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf.
- [43] Marron J.M., Dizon D.S., Symington B., et al. Waging war on war metaphors in cancer and covid-19. *JCO Oncology Practice*. 2020; 16 (10).
- [44] Marsili M. Covid-19 infodemic: Fake news, real censorship information and freedom of expression in time of coronavirus. *Europea*. 2020; 5 (2).
- [45] May P.J. Politics and policy analysis. *Political Science Quarterly*. 1986; 101 (1).
- [46] McDonnell L.M., Elmore R.F. *Alternative Policy Instruments*. Santa Monica; 1987.
- [47] McGreal C. The inequality virus: How the pandemic hit America’s poorest. *Guardian*. 2020, April 9.
- [48] Merkel: Coronavirus is Germany’s greatest challenge since World War II. *Deutsche Welle*. 2020, March 18.
- [49] Molnár A., Takács L., Harnos E.J. Securitization of the covid-19 pandemic by metaphoric discourse during the state of emergency in Hungary. *International Journal of Sociology and Social Policy*. 2020; 40.
- [50] Ng K. Coronavirus: WHO urges China to close ‘dangerous’ wet market as stalls in Wuhan begin to reopen. *Independent*. 2020, April 13.
- [51] Nicholson-Crotty S. Bureaucratic competition in the policy process. *Policy Studies Journal*. 2005; 33 (3).
- [52] OECD. Building public trust: Ethics measures in OECD countries. URL: <http://www.oecd.org/mena/governance/35527481.pdf>.

- [53] Panzeri F., Di Paola S., Domaneschi F. Does the covid-19 war metaphor influence reasoning? Socio-political factors mediate the framing effect. URL: <https://psyarxiv.com/q5d48>.
- [54] Perrigo B. Coronavirus could hit the UK harder than any other European country: Here's what went wrong. *Time*. 2020, April 7.
- [55] Potter E.H. (Ed.). *Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century*. Montreal; 2002.
- [56] Putnam R. *The Comparative Study of Political Elites*. Englewood Cliffs; 1976.
- [57] Rios B. Commission chief, MEPs slam lack of EU solidarity in covid-19 crisis. *EURACTIV*. 2020, March 26.
- [58] Robert R., Kentish-Barnes N., Boyer A., et al. Ethical dilemmas due to the covid-19 pandemic. *Annals of Intensive Care*. 2020; 10.
- [59] Roberts W. Donald Trump repeatedly refused to wear a mask and mocked Biden. *Aljazeera*. 2020, October 2.
- [60] Sabucedo J.-M., Alzate M., Hur D. Covid-19 and the metaphor of war. *International Journal of Social Psychology*. 2020; 35 (3).
- [61] Sample I. Covid: Ministers ignored Sage advice to impose lockdown or face catastrophe. *Guardian*. 2020, October 13.
- [62] Schwartz MC. *The Ethics of Pandemics*. Peterborough; 2020.
- [63] Semino E. "Not soldiers but fire-fighters" — metaphors and covid-19. *Health Communication*. 2021; 36 (1).
- [64] Shelton T. A post-truth pandemic? *Big Data & Society*. 2020; 7 (2).
- [65] Smith G. Is covid-19 nature's revenge? *Berkeley Daily Planet*. 2020, March 15.
- [66] Standing G. *The Precariat: The New Dangerous Class*. London; 2014.
- [67] Stephens M. A geospatial infodemic: Mapping Twitter conspiracy theories of covid-19. *Dialogues in Human Geography*. 2020; 10 (2).
- [68] Sterling A., Gee D. Science, precaution and practice. *Public Health Reports*. 2002; 117 (6).
- [69] Stevis-Gridneff M. As Europe confronts the coronavirus, what shape will solidarity take? *New York Times*. 2020, April 8.
- [70] Tesich S. A government of lies. *Nation*. 1992, January 6.
- [71] Thomas W., Hollinrake S. Policy-makers, researchers and service users: Resolving the tensions and dilemmas of working together. *Innovation*. 2014; 27 (1).
- [72] Viala-Gaudefroy J., Lindaman D. Donald Trump's "Chinese virus:" The politics of naming. *Conversation*. 2020, April 21.
- [73] Von der Leyen U. A global pandemic requires a world effort to end it: None of us will be safe until everyone is safe. URL: <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/a-global-pandemic-requires-a-world-effort-to-end-it-none-of-us-will-be-safe-until-everyone-is-safe>.
- [74] Walker P. Covid: Jenrick defends decision to ignore Sage's lockdown advice. *Guardian*. 2020, October 13.
- [75] Whitehead M, Barr B, Taylor-Robinson D. Covid-19: We are not "all in it together:" Less privileged in society are suffering the brunt of the damage. *BMJ Opinion*. 2020, May 22.
- [76] Williams M.C. Words, images, enemies: Securitization and international politics. *International Studies Quarterly*. 2003; 47 (4).
- [77] Xi focus: Xi vows to win people's war against novel coronavirus. *Xinhua*. 2020, February 11.
- [78] Yi-Chong X., Weller P. "To be, but not to be seen:" Exploring the impact of international civil servants. *Public Administration*. 2008; 86 (1).
- [79] Zaleznik A. Power and politics in organizational life. URL: <https://hbr.org/1970/05/power-and-politics-in-organizational-life>.
- [80] Zarocostas J. How to fight an infodemic. *Lancet*. 2020, February 29.
- [81] Žižek S. Barbarism with a human face. *Welt*. 2020, March 19.

Безответственное участие: роль правительств, экспертов на местах и публичных интеллектуалов в условиях пандемии covid-19*

Б. Раделжич^{1,2}, К. Гонсалес-Вилья³

¹Университет Некметтина Эрбакана
Дере Ашиклар Мах., Демеч Сок. № 39/1, 42140 Мерам/Конья, Турция

²Университет Антонио де Небриха
ул. Санта Круз де Маркенадо, 28015, Мадрид, Испания

³Университет Кастилии-Ла-Манча
Кобертизо де Сан Педро Мартур S/N, 45071 Толедо, Испания
(e-mail: radeljic@erbakan.edu.tr; BRadeljic@nebrija.es; Carlos.GonzalezVilla@uclm.es)

Аннотация. Пандемия новой коронавирусной инфекции стала огромным шоком для всего мирового сообщества. В попытках встроить свои ответные реакции на глобальный кризис в собственные условия выживания национальные правительства выбрали путь аргументации, который позволяет им снижать меру своей ответственности за происходящее перед населением. Несмотря на то, что в современных обществах именно эксперты, как считалось прежде, занимают привилегированную позицию, в сложившихся условиях они оказались вытеснены из процессов принятия решений на правительственном уровне, а их оценки были делегитимизированы вследствие мощного антиинтеллектуального движения, сложившегося благодаря характерной для социальных сетей модели аргументации и ведения дискуссий. В то же время, хотя публичные интеллектуалы считаются носителями инсайдерской информации, позволяющей им давать обоснованные оценки специфических явлений и отличать правду от большой лжи (и весь спектр явлений между ними), их роль в условиях нынешней пандемии была серьезно ограничена. В статье анализируются ответы правительств ключевых геополитических игроков и региональных лидеров на коронавирусный кризис с точки зрения используемых дискурсивных приемов, а также способность экспертов и публичных интеллектуалов противостоять этим дискурсивным практикам. Как своего рода «главные редакторы», политические лидеры увлеклись военной метафорой, чтобы провести деконструкцию сложных областей действительности и ее субъектов, сделав их понятными и доступными, и тем самым обеспечили достаточный уровень общественного внимания и поддержки для провозглашенной ими борьбы с врагом. Кроме того, они смогли ввести чрезвычайные меры, которые в условиях геополитического противостояния обеспечили им возможность избежать личной ответственности. Вместо того, чтобы на основе своих знаний обеспечить конструктивный анализ сложных проблем и объяснить их таким образом, чтобы население могло понять суть избранных руководством страны мер и минимизировать свои потери во все усложняющейся конкурентной среде, эксперты и интеллектуалы внезапно обнаружили, что их возможности маневра для влияния на управленческие решения жестко ограничены.

Ключевые слова: covid-19 (коронавирус); исполнительная власть; эксперты на местах; публичные интеллектуалы; военная метафора; секьюритизация

Информация о финансировании

Исследование Карлоса Гонсалеса-Вильи проводится при поддержке Фонда Европейского регионального развития (проект № 2020/3771).

* © Раделжич Б., Гонсалес-Вилья К., 2021

Статья поступила 31.05.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-805-824

Оценка социального благополучия семей в российских регионах: социологический анализ*

Т.К. Ростовская¹, О.В. Кучмаева^{1,2}, О.А. Золотарева¹

¹Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН
ул. Фотиевой, 6–1, Москва, 119333, Россия

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия

(e-mail: kuchmaeva@yandex.ru; rostovskaya.tamara@mail.ru; OAMahova@yandex.ru)

Аннотация. Смена парадигмы социально-экономического развития с реализации принципа «человек для экономики» к принципу «экономика для человека» в контексте гуманитарно-технологической революции сегодня находится среди приоритетных критериев позиционирования стран в глобальном пространстве. Определяющую роль в данной концепции играет понятие «качество жизни», поскольку именно высокое качество жизни позволяет сконцентрировать на своей территории главный ресурс — человеческий потенциал. Повышение качества жизни занимает ведущее место среди целей устойчивого развития (ЦУР ООН), утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН [19]. В «Докладе о человеческом развитии 2020» говорится о «значении благополучной жизни и путей, при помощи которых мы можем ее достигнуть», и акцент сделан на «достижении благополучия каждого человека» [10]. Статья основана на данных авторского репрезентативного социологического опроса на тему «Демографическое самочувствие регионов», реализованного в 2020 году. Цель исследования — характеристика особенностей оценок респондентов из разных регионов России метрик благополучия семьи, а также выявление проблем семьи для разработки дифференцированных/узконаправленных мер поддержки семей с детьми. На основе полученных данных авторы провели детальный анализ параметров благополучия семьи и роли государственной социальной поддержки в его обеспечении с точки зрения респондентов. Российские семьи по-разному оценивают значимость мер, необходимых для поддержки семьи, уделяя внимание и мерам экономической поддержки, и развитию социальной инфраструктуры, и роли идеологического воздействия. Представленный кластерный анализ стал подтверждением необходимости дифференцированных мер социальной поддержки, учитывающих стадии жизненного цикла семьи (возраст членов семьи, количество детей). Результаты факторного анализа позволили выявить структуру представлений россиян об основных мерах, способствующих укреплению семьи, которую необходимо учитывать при разработке управленческих решений в области социально-демографического развития.

Ключевые слова: семья; благополучие семьи; условия жизни семьи; социальная поддержка семей с детьми; социально-демографическая политика; демографическое самочувствие; человеческий капитал

* © Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева О.А., 2021

Статья поступила 28.12.2020 г. Статья принята к публикации 04.06.2021 г.

Благополучные семьи — основа развития общества и государства. Рост их числа представляется неким индикатором эффективности семейно-демографической политики. Можем ли мы согласиться с распространенным убеждением, что экономические трудности — преграда для рождения большего числа детей в семьях? Возможно ли, что в ряде случаев препятствиями являются какие-то другие, более глубокие причины? Понимание сути семейных проблем позволит сформировать такой подход к государственной политике в области поддержки семей с детьми, который будет ориентирован на адресные меры, и не всегда финансового характера. Необходимость такого подхода связана с низкоэффективными действующими механизмами повышения рождаемости, что подтверждается данными Росстата: за период с 2015 по 2020 годы суммарный коэффициент рождаемости сократился с 1,777 до 1,505 ребенка на женщину репродуктивного возраста. Сегодня очевидна необходимость узконаправленных мер поддержки семей с детьми, направленных на повышение семейного благополучия, что возможно только при получении соответствующей информации от самих семей об их потребностях и нуждах, так как они зависят от модели семьи (детности, возраста ребенка/детей, возраста родителей и т.п.) и от социальной ситуации в конкретном регионе.

В российской статистической практике проводится сбор обширных данных о качестве жизни разных типов семей — на основе разнообразных форм статистической отчетности, данных переписей и выборочных обследований. Мониторинговые исследования охватывают все сферы: образование и здравоохранение, занятость и безработицу, транспорт, науку и культуру и т.п. Однако они не позволяют охарактеризовать качество жизни с позиции комплексной оценки семейного благополучия. Заполнить такие информационные пробелы можно на основе данных социологических исследований (выборочных наблюдений), позволяющих получить ответы самой семьи на вопросы: как живет семья, в каком составе, удовлетворена ли условиями жизни, какая ей необходима помощь от государства и т.п. Представленные в статье результаты исследования, включая региональные особенности запросов респондентов к государству и обществу в области поддержки института семьи, актуальны и имеют практическое значение.

В России в последние десятилетия проблемы семьи и рождаемости находятся в центре внимания государственной семейной и социально-демографической политики, а также науки и общества. В трудах ведущих ученых [4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 15; 18; 20; 22; 23; 24; 25; 26] рассмотрены многоаспектные вопросы, связанные с состоянием института семьи, его трансформацией и перспективами развития, а также с мерами семейной и демографической политики. Во многих работах подход к анализу репродуктивного поведения базируется на теории потребности в детях. Ее основополагающим принципом выступает формирование ценностных ориентаций, влияющих как на потребность в детях, так и на восприятие условий реализации этих потребностей. Например, преграды к рождению большего числа детей различаются в зависимости от значимости нескольких детей и материальной состоятельности, но

достижение определенного уровня экономического благополучия позволяет реализовать имеющиеся репродуктивные намерения.

Взаимосвязь таких признаков семейного благополучия, как полная нуклеарная семья, в которой воспитываются дети, и материальной обеспеченности подтверждена в исследованиях ученых США: дети в семьях с двумя биологическими родителями, состоящими в браке, имеют наивысшее соотношение доходов и потребностей, за ними следуют дети в супружеских приемных семьях и дети в семьях с отцом-одиночкой. Дети в семьях с двумя биологическими родителями, живущими вместе, и в семьях с матерями-одиночками находились в более неблагоприятном положении. Исследование показало, что число детей в домохозяйствах влияет на уровень их материального благополучия и вероятность использования родителями социальной помощи [27].

В России с 2007 года реализуется Концепция государственной политики в отношении молодой семьи (в ее разработке принимали участие Т.К. Ростовская, О.В. Кучмаева), утверждена модель благополучной молодой семьи (зарегистрированный брак, наличие двух родителей и детей, экономическая самостоятельность, устойчивый психологический климат, возможность выполнения основных социальных функций) [14]. В 2014 году на Госсовете «О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства» была обозначена ключевая задача государственной семейной политики — создание условий для устойчивого семейного благополучия [11]. Сегодня необходимо акцентировать внимание на мерах, позволяющих достичь роста рождаемости в благополучных семьях, что требует изучения реальных потребностей семей, анализа востребованных семьями государственных мер поддержки. Некоторый рост рождаемости может быть достигнут при обеспечении благополучия семей, что позволит не просто реализовать потребность в детях, но и сократить разницу между желаемым и ожидаемым числом детей.

В качестве метрик благополучия семьи мы рассматриваем демографические параметры (состояние в браке, наличие детей), экономические факторы (материальный достаток, наличие собственного жилья) и ряд значимых социальных характеристик (возможность совмещения материнства и занятости, доступность услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возрастов, восприятие семьи как союза, оказывающего взаимопомощь/поддержку в воспитании, формировании духовно-нравственных традиций и пр.). «Женщины с более высоким уровнем образования при принятии решения о рождении ребенка» взвешивают возможности «совмещения материнства и трудовой деятельности» и оценивают «возможное негативное влияние появления еще одного ребенка на их профессиональный рост» [3].

Особую значимость в этом контексте приобретает такой признак семейного благополучия, как наличие/сохранение межпоколенческих связей — когда поколение родителей старается оказывать помощь взрослым детям в их семейной жизни и воспитании детей. Помощь дедушек и бабушек является важным источником социальной поддержки, компенсируя недостаточное время родителей на уход и занятия с детьми, такая поддержка

сдерживает/смягчает «конфликт между работой и семьей», что, в свою очередь, позитивно влияет на психологическое благополучие семьи [29]. Приведенные социальные метрики благополучия семьи позволяют выявить препятствия к увеличению рождаемости, поэтому разработка соответствующих мер на основе оценок самих семей будет способствовать разработке адресной социальной и семейной политики.

Имеющиеся в открытом доступе официальные статистические данные (переписей и выборочных обследований Росстата), характеризующие российскую семью, раскрывают лишь отдельные демографические и социально-экономические аспекты ее функционирования, прежде всего экономическое благосостояние и детность, но не представляют информации о межпоколенных взаимоотношениях, взаимопомощи в семье, роли мер социальной поддержки в благополучии семьи. Всероссийское социологическое исследование «Демографическое самочувствие регионов» было проведено в 2020 году методом анкетного опроса в следующих субъектах Российской Федерации: Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Вологодская область, Волгоградская, Ивановская, Ленинградская, Московская, Нижегородская и Свердловская (многоступенчатая типологическая выборка N = 5616 человек в возрасте 18–50 лет).

Проблемы жизнедеятельности российской семьи

Семьи испытывают различные проблемы, на остроту и масштаб которых влияет совокупность экономических, социальных и демографических факторов. Во многом оценка значимости семейных проблем зависит от характера взаимоотношений в семье, возможности опереться на собственные силы, наличия контактов и общения внутри «большой семьи» при раздельном проживании поколений. Активизация семейно-демографической политики, мер социальной поддержки семьи ставит вопрос об их региональной дифференциации в обеспечении благополучия семьи.

Для большинства россиян семья — символ и воплощение единства: наиболее высоко жители российских регионов оценивают единство своей семьи, возможность к преодолению трудностей и готовность к реализации намеченных планов (Табл. 1). С соответствующими суждениями в среднем по России опрошенные согласны на 8,4, 8 и 7,7 баллов по 10-балльной шкале. Менее позитивны оценки возможностей семьи в организации досуга (6,8) и уверенность в завтрашнем дне (6,7), причем для этих вопросов характерна наибольшая вариативность оценок (дисперсия показателей).

Респонденты в целом оценивают условия жизни своей семьи позитивно — 7 баллов (Табл. 2). Самые высокие оценки получила психологическая атмосфера в семье (7,5), затем идет ряд экономических параметров — обеспеченность предметами длительного пользования (7,3), питание и обеспеченность одеждой и обувью (по 7,2), жилищные условия (7,1); ниже всего оцениваются финансовое положение и организация досуга (6,3 и 6,5). Выше, чем в других регионах, финансовое положение семьи оценили москвичи (6,9),

ниже — жители Нижегородской области (5,5). Волгоградцы выше оценили жилищные условия, москвичи и жители Московской области — обеспеченность одеждой и обувью, питание и досуг.

Таблица 1

Оценки респондентами характеристик своей семьи (средние баллы по шкале от 1 до 10, где «1» — совершенно не согласен с суждением, «10» — полностью согласен)

Регион	Наша семья — это единое целое	У нас хватает сил, чтобы преодолеть трудности	Мы, как правило, реализуем наши жизненные планы	Мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне	Мы содержательно проводим свободное время
Ивановская область	8,52	8,47	7,57	6,40	6,26
Московская область	8,08	8,07	7,53	6,78	6,69
Москва	8,07	7,87	7,58	6,8	6,67
Вологодская область	8,56	8,16	8	6,68	7,2
Волгоградская область	8,36	7,94	7,58	6,99	6,91
Ставропольский край	8,32	7,68	7,37	6,24	6,75
Республика Башкортостан	8,67	8,15	8,04	7,37	7,45
Республика Татарстан	8,74	8,11	8,08	7,04	7,14
Нижегородская область	8,09	7,6	7,25	5,95	6,3
Свердловская область	8,38	7,86	7,57	6,23	6,69
Итого	8,37	7,97	7,66	6,67	6,84

Таблица 2

«Оцените по 10-балльной шкале условия жизни Вашей семьи»
(средние баллы по шкале от 1 до 10, где 1 — очень плохо, а 10 — очень хорошо)

Вариант ответа	Ивановская область	Московская область	Москва	Вологодская область	Волгоградская область	Ставропольский край	Республика Башкортостан	Республика Татарстан	Нижегородская область	Свердловская область	Среднее
Психологическая атмосфера	6,6	8	7,8	7,4	7,7	7,4	7,6	7,7	7,1	7,3	7,5
Обеспеченность предметами длительного пользования	6,6	7,8	8	7	7,6	7,1	7,4	7,5	6,6	6,8	7,3
Питание	6,5	7,9	7,9	6,8	7,7	6,9	7,5	7,5	6,4	6,7	7,2
Обеспеченность одеждой и обувью	6,2	8	8	6,9	7,7	7	7,4	7,5	6,4	6,6	7,2
Жилищные условия	6,8	7,3	7,5	6,8	7,6	7,1	7,4	7,3	6,5	6,6	7,1
Уровень организации отдыха, проведения свободного времени	5,7	6,9	7	6,7	6,7	6,3	6,7	6,6	5,8	6	6,5
Финансовое положение	5,6	6,6	6,9	6,2	6,6	6	6,7	6,4	5,5	5,9	6,3
Условия жизни семьи в целом	6,6	7,3	7,4	6,8	7,3	6,9	7,2	7,1	6,2	6,6	7

Наиболее значимы для семей такие проблемы, как нехватка денег, постоянные материальные проблемы (2,9), недостаток свободного времени (2,9), усталость, переутомление (2,8), опасение потерять работу (2,7), плохое здоровье и сложности медицинского обслуживания членов семьи (2,6) (Табл. 3). Уровень проблемной ситуации не превышает 3,1 балла по 5-балльной шкале, что может свидетельствовать об обыденности тех или иных проблем — семьи привыкают к материальным и социальным проблемам, рассматривая их как фон семейной жизни. Оценка остроты проблем различается по регионам: постоянные материальные проблемы наиболее остро ощущаются в Свердловской, Вологодской и Нижегородской областях, Ставропольском крае и Республике Татарстан.

55% респондентов отмечают, что уделяют своим детям меньше времени, чем хотелось бы. Вероятно, речь идет о больших временных затратах на воспитание детей у родителей по сравнению с тем временем, которое тратили родители на воспитание их самих. Заметно выделяется Волгоградская область — 44% полагают, что занимаются с детьми столько, сколько нужно. Родители из Москвы и Свердловской области, напротив, чаще сетуют на недостаточность времени на детей. Значимыми причинами недостатка времени являются переработки, сверхзанятость родителей (3,8 балла по 5-балльной шкале), что определяется желанием обеспечить высокий уровень достатка, а также загруженностью домашними делами (3,1) (Табл. 4), что говорит о недостаточном развитии сферы услуг в регионах и высокой стоимости этих услуг. Отсутствие желания общаться, а также такие объективные (и носящие порой временный характер) причины, как учеба и уход за другими членами семьи, играют значительно меньшую роль в качестве препятствий для общения с детьми.

Значительная часть семей опирается в решении проблем на помощь взрослых детей или родителей. У 22% россиян дети, проживающие отдельно, помогают родителям. Помощь часто носит нефинансовый характер — советы (56%), помощь по хозяйству и на даче (50%), уход во время болезни (33%), покупка продуктов и вещей, оплата жилья (19% и 10%).

Трансферты от родителей к детям распространены чаще, в этих потоках преобладают советы (67%) и финансовая помощь (66%) (Рис. 1). Треть родителей помогают продуктами и в воспитании внуков, покупают вещи, 20% оплачивают жилье взрослым детям. На общем фоне выделяются жители Республики Башкортостан: поток родители–дети свидетельствует о распространности практики содержания родителей взрослыми детьми, проживающими отдельно.

При оценке помощи родителей россияне чаще всего признают их наставническую функцию (48%) и материальную поддержку (42%), помощь в воспитании детей (32%), в обеспечении продуктами (27%) (Табл. 5). Доля семей, которые получают денежную помощь от родителей, колеблется от 37% в Вологодской области до 46% в Волгоградской. Величина показателя, видимо, определяется не столько уровнем бедности или цен в регионе, сколько традициями межпоколенческих отношений. Помощь в обеспечении семьи своих уже взрослых детей продуктами питания масштабнее в южных

регионах (Ставропольский край), с высокой долей сельского населения (Республика Башкортостан). Более существенную поддержку родителями взрослых детей можно объяснить и желанием помочь с учетом опыта и понимания жизненных трудностей, и стремлением компенсировать/восполнить то, что не додали в свое время детям.

Таблица 3

«Приходилось ли Вам и Вашей семье сталкиваться со следующими проблемами?»
(средние баллы по шкале от 1 до 5, где 1 — практически никакого значения, а 5 — имеет очень большое значение)

Вариант ответа	Ивановская область	Московская область	Москва	Вологодская область	Волгоградская область	Ставропольский край	Республика Башкортостан	Республика Татарстан	Нижегородская область	Свердловская область	Среднее
Нехватка денег, постоянные материальные проблемы	2,7	2,5	2,5	3,1	2,8	3	2,8	3	3	3,1	2,9
Недостаток свободного времени	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	3,1	2,6	2,9	3,1	3	2,9
Усталость, переутомление	3,1	2,8	2,9	2,8	2,8	2,9	2,6	2,8	2,8	3,1	2,8
Опасение потерять работу	2,5	2,9	2,6	2,7	2,6	2,8	2,4	2,7	2,6	2,8	2,7
Плохое здоровье и сложности медицинского обслуживания	2,2	2,6	2,6	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5	2,5	2,7	2,6
Плохая экология по месту жительства	2	2,6	2,5	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,8	2,5
Сложности в организации быта, ведении домашнего хозяйства	2,3	2,3	2,3	2,6	2,3	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4
Плохие жилищные условия	1,8	2,3	2,3	2,5	2,3	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Безысходность, отсутствие перспектив в жизни	2,2	2,5	2,3	2,5	2,4	2,8	2,3	2,5	2,5	2,4	2,4
Негативная социальная атмосфера (хамство, хулиганство, пьянство, преступность, наркомания)	2,1	2,3	2,4	2,3	2,5	2,5	2,3	2,4	2,2	2,4	2,4
Проблемы с лекарствами	1,9	2	2	2,3	2,3	2,6	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3
Проблемы с организацией отдыха детей	1,6	2,3	2,1	2,1	2,2	2,6	2,3	2,4	2,2	2,4	2,3
Плохое обустройство микрорайона (недостаток магазинов, учреждений бытового обслуживания и пр.)	1,7	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,2	2,3
Сложности с устройством ребенка в детский сад, ясли	1,5	1,9	1,8	2	2	2,5	2,2	2,3	1,9	2,2	2,1
Трудности в приобщении ребенка к спорту, музыке, живописи, другим развивающим видам деятельности	2	1,9	1,9	2	2,2	2,4	2,4	2,2	2	2,3	2,1
Конфликтные отношения с супругом (супругой)	1,9	2,1	1,9	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	1,8	2	2,1
Проблемы с образованием детей	1,8	2,2	2,1	2,1	2,1	2,6	2,2	2,3	1,9	2,1	2,1
Конфликтные отношения с детьми	2	1,9	1,9	2	2	2,2	2	2	1,7	1,9	2
Конфликтные отношения с родителями	2,5	2	2	2	2,1	2,3	2	2	1,7	1,7	2
Необходимость ухода за больными родственниками (инвалидами, стариками и т.п.)	1,7	2,2	2,2	1,8	1,9	2,4	2	2	1,7	1,8	2
Пьянство члена семьи	2,2	1,8	1,7	1,9	1,9	2	1,9	2	1,5	1,7	1,9
Употребление наркотиков членом семьи	1,5	1,7	1,5	1,6	1,7	2,1	1,7	1,8	1,4	1,5	1,6

Таблица 4

Причины недостатка времени, уделяемого родителями несовершеннолетним детям (средние баллы значимости каждой из причин по шкале от 1 — не имеет практически никакого значения — до 5 — очень большое значение)

Вариант ответа	Ивановская область	Московская область	Москва	Вологодская область	Волгоградская область	Ставропольский край	Республика Башкортостан	Республика Татарстан	Нижегородская область	Свердловская область	Среднее
Переработки, сверхзанятость	3,7	3,7	3,6	3,7	3,9	4,1	3,9	4	3,4	4	3,8
Загруженность домашними Делами	2,5	3,1	2,7	2,9	2,9	3,6	3,4	3,2	3,3	3	3,1
Плохое здоровье	1,7	1,7	1,4	1,4	1,6	2,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
Отсутствие желания	1,5	1,5	1,5	1,4	1,2	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,5
Уход за другими членами семьи	1	1,7	1,8	1,3	1,4	1,7	1,5	1,4	1,3	1,4	1,5
Нежелание детей общаться	2,4	1,5	1,4	1,3	1,6	1,7	1,4	1,3	1,4	1,3	1,5
Учеба	1	1,8	1,5	1,2	1,3	2	1,5	1,3	1,3	1,5	1,4

Таблица 5

«Какую роль играют (или играли) родители в Вашей семейной жизни?» (в %)

Вариант ответа	Ивановская область	Московская область	Москва	Вологодская область	Волгоградская область	Ставропольский край	Республика Башкортостан	Республика Татарстан	Нижегородская область	Свердловская область	Среднее
Дают мудрые советы	35,1	47,2	44,1	53,6	57,4	46,9	49,2	49,6	43,8	48,5	48,2
Оказывают денежную помощь	37	45,2	46,1	36,7	46,4	41,7	38,9	39,7	45,3	36	41,5
Помогают в воспитании детей	22,1	26,4	21,6	38,6	28,5	38,3	36,4	33,6	37,5	37,2	32,4
Помогают продуктами	29,2	25,2	25,9	22,4	28,5	32,5	34,4	26,6	21,1	20,5	26,6
Покупают вещи	22,7	22,3	25,6	17,4	16,8	18,2	20,7	15,1	15,6	14,5	18,8
Ухаживают во время болезни	14,3	21,1	18,5	12,1	16	14,2	18,7	16	13,3	11,6	15,7
Помогают по хозяйству, на садовом (дачном) участке	13,6	13,4	13,4	13,2	17	15,2	17,2	14,9	17,2	19,7	15,6
Мы сами оказываем им материальную помощь	6,5	18	16,1	15,5	18,8	14,9	15,2	14,2	10,2	17,6	15,2
Оплачивают жилье	13	16,7	24,8	10,3	15	15,8	12,4	11,2	14,1	7,1	14,2
Родители уже умерли	7,1	9,2	8,5	7,1	4,5	6,1	8,6	3,8	10,9	6,3	7,2
Никакой помощи от родителей не получаем (одни проблемы)	13,6	7	5	4,4	3,2	3,6	3	2,2	5,5	2,9	4,6
Живем далеко, почти не общаемся	0	6,6	6,9	4,6	5,2	2,8	3,5	2,2	4,7	5,5	4,4
Другое	1	1,1	0,6	1,1	2,6	2,5	2,3	2	1,6	1,9	1,7



Рис. 1. «Как Вы помогаете своим детям, живущим отдельно?» (в %)

Меры социальной поддержки семьи

Полученные результаты определили важность таких мер социальной помощи и поддержки семей, как обеспечение доступности услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного и школьного возрастов, помощи в трудоустройстве с гибким графиком и развитие сферы услуг. Подтверждением стали ответы респондентов о необходимых для их семей мерах помощи и поддержки (Табл. 6). В лидерах по востребованности оказались консультативно-медицинские услуги (3,54 балла по 5-балльной шкале; видимо, нынешняя пандемия усилила запрос на качественные и доступные медицинские услуги), дополнительное образование для детей (3,33), помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику (3,17), помощь в поиске дополнительных приработков (3,03) и помощь по уходу за ребенком дошкольного возраста (3,01). Семьи с детьми нуждаются в дополнительных доходах и в возможности сочетать профессиональную деятельность с заботой о семье, в квалифицированной медицинской помощи и доступности дополнительных образовательных услуг для детей.

Консультативно-медицинские услуги и дополнительное образование для детей востребованы во всех регионах, в большей части регионов высока потребность в работе по гибкому графику, но отмечена и региональная специфика. Жители Московской области и Республики Башкортостан заинтересованы в дополнительном заработке, но респонденты (за исключением жителей Ставропольского края) не хотели бы получать помощь в организации семейного бизнеса. В половине обследованных регионов наблюдается высокий запрос на развитие сферы дошкольного присмотра за детьми (Ивановская область, Ставропольский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская область). В Республике Татарстан и Ставропольском

крае семьи нуждаются в помощи в уходе за нетрудоспособными членами семьи (престарелыми и инвалидами).

Таблица 6

Необходимые меры социальной помощи и поддержки
(средние баллы значимости мер по шкале от 1 — не имеет практически никакого значения — до 5 — очень большое значение)

Регион	Необходимые меры социальной помощи и поддержки										
	по уходу за ребенком дошкольного возраста	по присмотру за ребенком школьного возраста	по уходу за нетрудоспособным членом семьи	помощь в трудоустройстве по гибкому графику	помощь в оказании бытовых услуг	помощь в организации семейного дела	помощь в поиске дополнительных приработков	дополнительное образование для детей	консультативно-медицинские услуги	содействие в организации досуга	помощь в организации семейного отдыха
Ивановская область	3,3	2,63	2,07	3,39	2,12	2,46	2,77	3,11	4,04	2,54	2,88
Московская область	2,8	2,75	2,75	3,38	2,44	2,57	3,29	3,4	3,55	2,64	2,82
Москва	2,62	2,6	2,92	3,23	2,57	2,56	3,04	3,12	3,6	2,46	2,57
Вологодская область	2,89	2,71	2,29	2,93	2,12	2,23	2,76	2,97	3,17	2,67	2,61
Волгоградская область	2,81	2,73	2,44	2,97	2,2	2,43	2,8	3,17	3,27	2,64	2,68
Ставропольский край	3,33	3,25	2,94	3,27	2,7	3,01	3,25	3,56	3,64	3,01	3,12
Республика Башкортостан	3,03	2,93	2,44	3,1	2,41	2,78	3,11	3,5	3,43	3	3,13
Республика Татарстан	3,31	3,33	2,79	3,33	2,61	2,81	3,15	3,63	3,61	3,07	3,07
Нижегородская область	2,97	2,89	2,24	3,22	1,93	2,13	2,97	3,27	3,63	2,78	2,91
Свердловская область	3,18	3,10	2,46	3,09	2,15	2,48	3,05	3,53	3,7	2,85	2,8
Итого	3,01	2,9	2,55	3,17	2,34	2,56	3,03	3,33	3,54	2,78	2,85

Можно обоснованно предположить, что существуют типологические группы респондентов, различающиеся в оценках мер социальной поддержки семьи и ряду социально-демографических характеристик. Для подтверждения гипотезы нами использовался метод кластерного анализа: были отобраны такие переменные, как регион проживания, уровень образования, тип семьи, однако их использование не привело к улучшению модели кластеризации (статистически значимым различиям между кластерами). Кластерный анализ

проводился по следующим переменным: возраст; число детей; значимость необходимых мер социальной поддержки (по 5-балльной шкале) — по присмотру за ребенком школьного возраста; по уходу за нетрудоспособным членом семьи; помощь в трудоустройстве с гибким графиком; помощь в оказании бытовых услуг (сходить в магазин, убрать квартиру); помощь в организации семейного дела; помощь в поиске дополнительных приработков; дополнительное образование для детей; консультативно-медицинские услуги; содействие в организации досуга; помощь в организации семейного отдыха. Кластеризация проводилась методом Уорда, из анализа были исключены объекты с пропусками данных (в кластеризации участвовали респонденты, давшие ответы на все вопросы, — 548 респондентов с детьми). Результатом стало разбиение респондентов на 4 кластера (Табл. 7). Гипотеза о равенстве дисперсий внутри и между кластерами отвергается для всех исследуемых признаков, вероятность ошибки при принятии гипотезы о неравенстве дисперсий признаков — не более 0,001, т.е. кластеры сформированы корректно.

Результаты кластерного анализа показывают, что потребность в мерах социальной поддержки зависит от возраста респондентов и числа детей, т.е., по сути, от стадии жизненного цикла семьи. Наиболее типичный кластер 4 насчитывает 194 респондента (35,4% совокупности). Это молодые люди (средний возраст — 23,4 года), большинство пока не имеет детей (68%). На фоне респондентов из других кластеров они оценивают практически все предлагаемые меры достаточно высоко, за исключением помощи в оказании бытовых услуг. Наиболее высока потребность в мерах по трудоустройству и получению дополнительного заработка.

В кластер 1 вошли 98 респондентов (17,9%), средний возраст — 45,5 лет, среднее число детей — 1,73 (т.е. в основном 1–2 ребенка на семью). Видимо, дети у респондентов уже достаточно взрослые, что снижает потребность в мерах социальной поддержки (оценки значимости разных мер не превышают 2 балла).

В кластер 3 вошли 118 респондентов (21,5%), средний возраст — 33,5 лет, среднее число детей — 1,36. Хотя в этот кластер входят более молодые респонденты с детьми, соответственно, младших возрастов, оценки значимости мер социальной поддержки здесь так же низки, как в кластере 4. Следовательно, причина различий кроется не только в демографических характеристиках семей, но и в психологических установках, в возможности опереться на собственные силы и помощь большой семьи, в недооценке мер социальной поддержки. С другой стороны, в кластер 2 (138 респондентов, 25,2%) вошли люди среднего возраста (39,3 лет), имеющие детей (среднее число — 1,59), но для них характерны крайне высокие оценки значимости практически всех мер социальной поддержки семей (более 4 баллов). Особое внимание они уделяют дополнительному образованию для детей и консультативно-медицинским услугам, т.е. ориентируются на помощь государства и заинтересованы в развитии мер социальной поддержки.

Таблица 7

Средние значения переменных в кластерах

Кластер	Возраст	Дети	Необходимые меры социальной помощи и поддержки										
			по уходу за ребенком дошкольного возраста	по присмотру за ребенком школьного возраста	по уходу за нетрудоспособным членом семьи	помощь в трудоустройстве с возможностью работы по гибкому графику	помощь в оказании бытовых услуг (сходить в магазин, убрать квартиру)	помощь в организации семейного дела	помощь в поиске дополнительных приработков	дополнительное образование для детей	консультативно-медицинские услуги	содействие в организации досуга	помощь в организации семейного отдыха
1	Среднее	1,73	1,56	1,62	1,54	1,5	1,37	1,41	1,64	1,72	1,98	1,52	1,55
	N	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
2	Среднее	0,856	1,176	1,189	1,105	1,086	0,878	0,983	1,195	1,25	1,377	0,976	1,037
	N	39,3	4,28	4,12	4,07	4,16	4,02	4,11	4,31	4,4	4,42	4,25	4,3
3	Среднее	1,037	1,266	1,293	1,4	1,222	1,396	1,294	1,106	1,05	0,895	1,031	1,007
	N	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
4	Среднее	1,36	2,25	2,32	1,95	2,25	1,94	2,09	2,37	2,42	2,47	2,12	2,03
	N	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Итого	Среднее	1,159	1,492	1,401	1,28	1,379	1,207	1,34	1,472	1,493	1,46	1,347	1,254
	N	23,43	3,1	3,01	3,06	3,44	2,95	3,01	3,37	3,21	3,32	3,14	3,11
Итого	Среднее	1,12	2,94	2,89	2,8	3,02	2,72	2,8	3,08	3,07	3,18	2,91	2,9
	N	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Итого	Среднее	1,087	1,78	1,72	1,743	1,704	1,724	1,712	1,708	1,726	1,634	1,662	1,678
	N	9,231	1,78	1,72	1,743	1,704	1,724	1,712	1,708	1,726	1,634	1,662	1,678

Меры, способствующие укреплению института семьи

Помимо блока вопросов, касающихся краткосрочной перспективы — потребности в мерах социальной поддержки для своей семьи, респонденты высказывали мнение и о том, какие меры могут способствовать укреплению института российской семьи. В целом к наиболее востребованным мерам можно отнести предоставление жилья всем нуждающимся семьям (4,27 балла по 5-балльной шкале), введение достойной оплаты родительского труда (4,26), гарантии получения детьми качественного профессионального образования (4,22), предоставление масштабного пособия при рождении ребенка (4,19), частичное погашение кредита или субсидии на приобретение жилья при рождении ребенка (4,17), предоставление пособия на ребенка до 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка семьям, чей доход ниже среднего (4,15), развитие системы пособий для семей с детьми, увеличение их размера (4,14). В определенной степени меры семейной политики, реализуемые в настоящее время, касаются перечисленных проблем. Семьи Ивановской области больше заинтересованы в обеспечении гарантий занятости родителей в семьях с детьми, жители Ивановской, Волгоградской и Свердловской областей — в укреплении здоровья населения и развитии социальной инфраструктуры. В Московской и Ивановской областях значимы меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья женщин, в Республике Татарстан — увеличение компенсации затрат родителей на оплату детских дошкольных учреждений. Россияне не считают значимыми для укрепления института семьи введение законодательных норм, усложняющих процедуру развода, формирование негативного отношения общества к прерыванию беременности.

Использование факторного анализа позволяет определить группы взаимосвязанных факторов, в частности, структуру представлений о семье и браке, разных нормативные установки в отношении моделей семьи [16; 17]. В нашем проекте факторный анализ использовался, чтобы выявить группы востребованных мер поддержки института семьи, — по сути, мы получили 4 стратегии выбора группы мер, в наибольшей степени, по мнению респондентов, способствующих укреплению семьи. Факторный анализ (на основе главных компонент, метод вращения Варимакс с нормализацией Кайзера) позволил определить структуру представлений россиян об основных мерах, способствующих укреплению семьи, и сгруппировать их (16 факторов) в 4 компоненты (больше 1, полная объясненная дисперсия — 62,2%): на 1 компоненту приходится 19,7% дисперсии признаков, на 2 — 18,6%, 3 — 15%, 4 — 8,9%.

Группу факторов, формирующих компоненту 1 «экономическая поддержка», составили: предоставление масштабного пособия при рождении ребенка, предоставление жилья всем нуждающимся семьям, предоставление пособия на ребенка до 3-х лет в размере прожиточного минимума ребенка семьям, чей доход ниже среднего, частичное погашение кредита или субсидии на приобретение жилья при рождении ребенка, «предоставление земельных участков под строительство семьям при рождении третьего (или последующего)

ребенка, развитие системы пособий для семей с детьми, увеличение их размера, введение достойной оплаты родительского труда, учет в системе налогообложения интересов семей с детьми, увеличение налоговых вычетов.

В компоненту 2 вошли меры по «развитию сферы услуг»: укрепление здоровья населения, развитие системы социального обслуживания и усиление социальной работы с семьей, обеспечение гарантий занятости родителей в семьях с детьми, создание и развитие психологических служб помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, расширение сети дошкольных учреждений, привлечение детей и молодежи к участию в работе общественных, спортивных и творческих организаций, обеспечение гарантий для получения детьми качественного профессионального образования.

Компонента 3 («занятость и дошкольное образование») предполагает обеспечение возможности сочетать семейные и профессиональные обязанности — формирование в обществе с помощью СМИ образа семьи с 3-мя детьми как нормы, для женщин бесплатно пройти профессиональную переподготовку во время и после выхода из отпуска по уходу за ребенком, обеспечение реальной возможности иметь гибкий график работы, создание условий для ведения семейного бизнеса, улучшение репродуктивного здоровья женщин, увеличение компенсации затрат родителей на оплату посещения детских дошкольных учреждений, увеличение продолжительности отпуска по уходу за ребенком за счет частично оплачиваемого отпуска только отцу. Респонденты, подчеркивающие важность сочетания семьи и работы, указывают и на необходимость поддержки репродуктивного здоровья и формирования позитивного образа многодетной семьи в СМИ.

Компонента 4 «пропаганда семейного образа жизни» включает в себя: формирование негативного отношения общества к прерыванию беременности, введение законодательных норм, усложняющих процедуру развода, воспитание в образовательных учреждениях позитивных репродуктивных установок. Данные меры можно охарактеризовать как весьма консервативные, и первые две не слишком значимы для значительной части респондентов (2,36 и 2,73 балла по 5-балльной шкале).

Респонденты, как правило, акцентируют меры, относящиеся к одной из четырех компонент, — уделяя внимание либо экономическим мерам, либо развитию инфраструктуры услуг для семьи и детей, либо сочетанию семейных и профессиональных обязанностей, либо традиционным подходам к решению проблем семейной жизни.

Таким образом, в нынешних условиях, когда последствия пандемии снизили уровень и качество жизни населения, большинство новых социальных мер направлены на сдерживание обнищания населения. Среди перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года упоминается необходимость разработать подходы к созданию целостной системы мер поддержки семей с детьми в целях сведения к минимуму риска бедности таких семей. Однако российские семьи заинтересованы и в других мерах поддержки, обеспечивающих им возможность

сочетания семейных и профессиональных обязанностей, достойный уровень жизни семьи и развитие инфраструктуры услуг. Кроме того, необходимо учитывать региональные различия запросов российских семей.

Таблица 8

Матрица повернутых компонент

Способствовали бы укреплению семьи:	Компонента			
	1 Экономическая поддержка	2 Развитие сферы услуг	3 Занятость и дошкольное образование	4 Пропаганда семейного образа жизни
предоставление масштабного пособия при рождении ребенка	0,801	0,195	0,241	0,084
предоставление жилья нуждающимся семьям	0,735	0,292	0,162	-0,016
предоставление пособия на ребенка до 3-х лет семьям, чей доход ниже среднего	0,698	0,216	0,38	0,087
частичное погашение кредита или субсидии на приобретение жилья при рождении ребенка	0,691	0,208	0,358	0,068
предоставление земельных участков под строительство семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка	0,68	0,133	0,388	0,152
развитие системы пособий для семей с детьми, увеличение их размера	0,66	0,388	0,263	-0,006
достойная оплата родительского труда	0,566	0,55	0,048	0,017
учет в системе налогообложения интересов семей с детьми, увеличение вычетов	0,546	0,29	0,171	0,129
укрепление здоровья населения	0,285	0,716	0,161	0,118
развитие системы социального обслуживания и усиление социальной работы с семьей	0,177	0,698	0,191	0,219
обеспечение гарантий занятости родителей в семьях с детьми	0,414	0,675	0,009	0,168
создание и развитие психологических служб помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию	0,148	0,652	0,32	0,177
расширение сети дошкольных учреждений	0,254	0,651	0,344	0,079
развитие инфраструктуры	0,258	0,645	0,399	0,021
привлечение детей и молодежи к работе общественных, спортивных и творческих организаций	0,188	0,568	0,442	0,152
обеспечение гарантий получения детьми качественного профессионального образования	0,37	0,471	0,435	-0,056
формирование в обществе с помощью СМИ образа семьи с 3-мя детьми как нормы	0,184	0,148	0,636	0,381

Способствовали бы укреплению семьи:	Компонента			
	1 Экономическая поддержка	2 Развитие сферы услуг	3 Занятость и дошкольное образование	4 Пропаганда семейного образа жизни
для женщин бесплатно пройти профессиональную переподготовку во время и после выхода из отпуска по уходу за ребенком	0,308	0,396	0,632	-0,012
обеспечение реальной возможности иметь гибкий график работы	0,272	0,246	0,602	0,173
создание условий для семейного бизнеса	0,385	0,169	0,596	0,202
меры, направленные на улучшение репродуктивного здоровья женщин	0,224	0,5	0,555	-0,029
увеличение компенсации затрат родителей на оплату посещения дошкольных учреждений	0,501	0,292	0,542	0,025
увеличение продолжительности отпуска по уходу за ребенком за счет частично оплачиваемого отпуска только отцу	0,386	0,186	0,535	0,21
формирование негативного отношения общества к прерыванию беременности	0,026	0,134	0,132	0,868
введение законодательных норм, усложняющих процедуру развода	0,004	0,018	0,114	0,841
воспитание в образовательных учреждениях позитивных репродуктивных установок	0,227	0,385	0,125	0,616

Информация о финансировании

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Проект № 20-18-00256 «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России».

Библиографический список

- [1] Антонов А.И. Потребность в детях // Народонаселение. М., 1994
- [2] Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 1996.
- [3] Архангельский В.Н., Шульгин С.Г., Зинькина Ю.В. Репродуктивное поведение российских женщин в зависимости от образовательного статуса // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 3.
- [4] Борисенков В.П., Гукаленко О.В. Институт семьи и семейная политика в современной России: проблемы, тенденции и перспективы // URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/130PVN514.pdf>.
- [5] Борисова Т.С., Плоткин М.М. Семейное и социальное воспитание: современный молодежный контекст // Педагогика. 2018. № 7.
- [6] Васильева Е.Н., Ростовская Т.К., Сулейманлы А. Демографические угрозы национальной безопасности в политическом дискурсе РФ (1992–2019) // Вестник ВолГУ. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2021. Т. 26. № 2.
- [7] Голод С.И. Социолого-демографический анализ состояния и эволюции семьи // Социологические исследования. 2008. № 1.
- [8] Гурко Т.А. Новые семейные формы: тенденции распространения и понятия // Социологические исследования. 2017. № 11.

- [9] *Дементьева И.Ф., Голенкова З.Т.* Теория семейного воспитания в общетеоретическом контексте социальных наук // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 3.
- [10] Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж. Человеческое развитие и антропоцен // URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian.pdf.
- [11] Заседание президиума Госсовета, посвященное политике в области семьи, материнства и детства // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20265>.
- [12] *Ильиных С.А.* «Мозаичность» сознания и гендерные аспекты в представлениях о семье: анализ данных // Вестник ЧГУ. Серия: Философия. Социология. Культурология. 2012. № 35.
- [13] *Ильиных С.А., Логинова Е.С.* Хабитуализация семейных практик в молодых семьях: факторы неустойчивости // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 3.
- [14] Концепция государственной политики в отношении молодой семьи // URL: <https://docs.cntd.ru/document/902060617>.
- [15] *Костина Е.Ю., Орлова Н.А., Панфилова А.О.* Состояние системы ценностей как фактор аномии в современном российском обществе // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Т. 18. № 4.
- [16] *Кучмаева О.В.* Идеальная модель семьи в глазах россиян и стратегия по повышению ценности семейного образа жизни // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 2.
- [17] *Магун В.С.* Нормативные взгляды на семью и россиян и французов: традиционное и современное // URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0449/analit02.php>.
- [18] *Окольская Л.А.* Индивидуалистические и социально ориентированные родительские ценности в российских регионах // Социологические исследования. 2020. № 7.
- [19] Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // URL: http://www.globalcompact.ru/assets/uploads/Povestka_dny_v_oblasti_UR_do_2030.pdf.
- [20] *Печерская Н.В.* Мифология родительства: анализ дискурсивного производства идеальной семьи // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10. № 3.
- [21] *Рассказова Е.И., Леонтьев Д.А., Лебедева А.А.* Пандемия как вызов субъективному благополучию: тревога и совладание // Консультативная психология и психотерапия. 2020. Т. 28. № 2.
- [22] *Ростовская Т.К., Кучмаева О.В.* Трансформация образа желаемой модели семьи у разных поколений: результаты всероссийского социологического исследования // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 3.
- [23] *Скопин А.Ю., Климов А.И., Зайцев Д.Г.* Акторный подход в современных социальных науках: экономике, социологии и политологии // URL: <https://www.hse.ru/data/2012/12/16/1300987726/Скопин%20А.Ю.,%20Климов%20А.И.,%20Зайцев%20Д.Г.%20Ак..в%20современных%20социальных%20науках.pdf>.
- [24] *Тындик А.О.* Репродуктивные установки и их реализация в современной России // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 10. № 3.
- [25] *Чернова Ж., Шпаковская Л.* Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные предписания и практики в современной России // Laboratorium. 2010. № 3.
- [26] *Шпаковская Л.Л.* Современная семья современными глазами // Демографическое обозрение. 2019. № 6
- [27] *Brown S.L., Manning W.D., Stykes J.B.* Family structure and child well-being: Integrating family complexity // Journal of Marriage and Family. 2015. Vol. 77. No. 1.
- [28] *Frejka T.* Parity distribution and completed family size in Europe: Incipient decline of the two-child family model? // Demographic Research. 2008. Vol. 19. No. 4.
- [29] *Mustillo S., Li M., Wang W.* Parent work-to-family conflict and child psychological well-being: Moderating role of grandparent coresidence // Journal of Marriage and Family. 2020. Vol. 83.
- [30] *Öztürk S., Hazer O.* Youth perspectives on intergenerational solidarity in families // Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2016. Vol. 10. No. 4.
- [31] *Shelton N., Grundy E.* Proximity of adult children to their parents in Great Britain // International Journal of Population Geography. 2000. Vol. 6. No. 3.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-805-824

Assessment of the social well-being of families in Russian regions: A sociological analysis*

T.K. Rostovskaya¹, O.V. Kuchmaeva^{1,2}, O.A. Zolotareva¹

¹Institute for Demographic Research of FCTAS RAS,
Fotievoy St., 6–1, Moscow, 119333, Russia

²Lomonosov Moscow State University
Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia

(e-mail: kuchmaeva@yandex.ru; rostovskaya.tamara@mail.ru; OAMahova@yandex.ru)

Abstract. Under the current humanitarian and technological revolution, the change of the paradigm of the social-economic development from the principle ‘man for economy’ to the principle ‘economy for man’ has become a priority criteria for positioning countries in the global space. The term ‘quality of life’ plays the key role in this concept, since the high quality of life allows the state to accumulate on its territory the main resource — human capital. Improving the quality of life takes a leading place among the Sustainable Development Goals (UN SDGs) approved by the UN General Assembly [19]. The 2020 Human Development Report underlines “the meaning of a good life and the ways in which we can achieve it,” and the emphasis is made on “achieving the well-being of everyone” [10]. The article is based on the data of the authors’ representative sociological survey on “Demographic well-being of Russian regions” conducted in 2020. The survey aimed at revealing the assessments of respondents from different regions of Russia of the metrics of family well-being, and at identifying family problems for the development of differentiated/narrowly focused measures to support families with children. Based on the survey data, the authors conducted a detailed analysis of the parameters of family well-being and of the role of the state social support in ensuring it in the respondents’ perspective. Russian families differ in their assessments of the significance of measures necessary to support the family, focus on measures of economic support, on the development of social infrastructure, and on the role of ideological influence. The cluster analysis confirmed the need for differentiated measures of the state social support, which would take into account the stages of the family life cycle (age of family members, number of children). The factor analysis allowed to identify the structure of Russians’ ideas about the main measures that would contribute to strengthening the family, which must be taken into account when developing managerial decisions in the field of the social-demographic development.

Key words: family; family well-being; family living conditions; social support for families with children; social-demographic policy; demographic well-being; human capital

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No. 20-18-00256 “Demographic behavior of the population in the context of the national security of Russia”.

References

- [1] Antonov A.I. Potrebnost v detjah [The need for children]. *Narodonaselenie*. Moscow; 1994. (In Russ.).
- [2] Antonov A.I., Medkov V.M. *Sotsiologija sem'i* [Sociology of Family]. Moscow; 1996. (In Russ.).

* © T.K. Rostovskaya, O.V. Kuchmaeva, O.A. Zolotareva, 2021

The article was submitted on 28.12.2020. The article was accepted on 04.06.2021.

- [3] Arhangelsky V.N., Shulgin S.G., Zinkina Yu.V. Reproaktivnoe povedenie rossijskih zhenshhin v zavisimosti ot obrazovatel'nogo statusa [Reproductive behavior of Russian women as depending on their level of education]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (3). (In Russ.).
- [4] Borisenkov V.P., Gukalenko O.V. Institut sem'i i semejnaja politika v sovremennoj Rossii: problemy, tendentsii i perspektivy [The institute of family and family policy in contemporary Russia: Problems, trends and prospects]. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/130PVN514.pdf>. (In Russ.).
- [5] Borisova T.S., Plotkin M.M. Semejnoe i sotsialnoe vospitanie: sovremenny molodezhny kontekst [Family and social education: Contemporary youth context]. *Pedagogika*. 2018; 7. (In Russ.).
- [6] Vasilieva E.N., Rostovskaja T.K., Sulejmanly A. Demograficheskie ugrozy natsionalnoj bezopasnosti v politicheskom diskurse RF (1992–2019) [Demographic threats to national security in the political discourse of the Russian Federation (1992–2019)]. *Vestnik VolGU. Serija 4: Istorija. Regionovedenie. Mezhduнародnye Otnoshenija*. 2021; 26 (2). (In Russ.).
- [7] Golod S.I. Sotsiologo-demografichesky analiz sostojanija i evoljutsii sem'i [Sociological-demographic analysis of the state and evolution of the family]. *Sotsiologicheskie Issledovanija*. 2008; 1. (In Russ.).
- [8] Gurko T.A. Novye semejnye formy: tendentsii rasprostraneniya i ponjatija [New family forms: Distribution trends and concepts]. *Sotsiologicheskie Issledovanija*. 2017; 11. (In Russ.).
- [9] Dementieva I.F., Golenkova Z.T. Teorija semejnogo vospitanija v obshheteoreticheskom kontekste sotsialnyh nauk [Theory of family education in the general theoretical context of social sciences]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (3). (In Russ.).
- [10] Doklad o chelovecheskom razvitanii 2020. Sledujushhy rubezh. Chelovecheskoe razvitie i antropocen [Human Development Report 2020. The Next Milestone. Human Development and the Anthropocene]. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian.pdf. (In Russ.).
- [11] Zasedanie prezidiuma Gossoвета, posvjashhjonnoe politike v oblasti sem'i, materinstva i detstva [Meeting of the Presidium of the State Council on the policy in the field of family, motherhood and childhood]. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/20265>. (In Russ.).
- [12] Il'inyh S.A. "Mozaichnost" soznaniya i gendernye aspekty v predstavlenijah o sem'e: analiz dannyh ["Mosaicity" of consciousness and gender aspects in representations of the family: Data analysis]. *Vestnik ChGU. Seriya: Filosofija. Sotsiologija. Kulturologija*. 2012; 35. (In Russ.).
- [13] Il'inyh S.A., Loginova E.S. Habitualizatsija semejnyh praktik v molodyh sem'jah: faktory neustojchivosti [Habitualization of family practices in young families: Factors of instability]. *Obshhestvo: Sotsiologija, Psihologija, Pedagogika*. 2016; 3. (In Russ.).
- [14] Kontseptsija gosudarstvennoj politiki v otnoshenii molodoy sem'i [Concept of the State Policy in Relation to the Young Family]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/902060617>. (In Russ.).
- [15] Kostina E.Ju., N.A. Orlova, Panfilova A.O. Sostojanie sistemy tsennostej kak faktor anomii v sovremennom rossijskom obshhestve [The state of value system as a factor of anomie in the contemporary Russian society]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (4). (In Russ.).
- [16] Kuchmaeva O.V. Idealnaja model sem'i v glazah rossijan i strategija po povysheniju tsennosti semejnogo obraza zhizni [The ideal family model in the eyes of Russians and the strategy for increasing the value of the family lifestyle]. *Ekonomika. Nalogi. Pravo*. 2019; 2. (In Russ.).
- [17] Magun V.S. Normativnye vzglyady na sem'ju i rossijan i frantsuzov: traditsionnoe i sovremennoe [Normative views on the family of both Russians and French: Traditional and Contemporary]. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0449/analit02.php>. (In Russ.).
- [18] Okolskaja L.A. Individualisticheskie i sotsialno orientirovannye roditelskie tsennosti v rossijskih regionah [Individualistic and socially oriented parental values in Russian regions]. *Sotsiologicheskie Issledovanija*. 2020; 7. (In Russ.).

- [19] Preobrazovanie nashego mira: Povestka dnja v oblasti ustojchivogo razvitija na period do 2030 goda [Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development]. URL: http://www.globalcompact.ru/assets/uploads/Povestka_dny_v_oblasti_UR_do_2030.pdf. (In Russ.).
- [20] Pecherskaja N.V. Mifologija roditelstva: analiz diskursivnogo proizvodstva idealnoj sem'i [The mythology of parenting: An analysis of the discursive production of the ideal family]. *Zhurnal Issledovanij Sotsialnoj Politiki*. 2012; 10 (3). (In Russ.).
- [21] Rasskazova E.I., Leontiev D.A., Lebedeva A.A. Pandemija kak vyzov sub`ektivnomu blagopoluchiju: trevoga i sovladanie [Pandemic as a challenge to subjective well-being: Anxiety and coping]. *Konsultativnaja Psihologija i Psihoterapija*. 2020; 28 (2). (In Russ.).
- [22] Rostovskaja T.K., Kuchmaeva O.V. Transformatsija obraza zhelaemoj modeli sem'i u raznyh pokolenij: rezultaty vserossijskogo sotsiologicheskogo issledovanija [Transformation of the desired family model in different generations: Results of the All-Russian sociological study]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (3). (In Russ.).
- [23] Skopin A.Ju., Klimov A.I., Zajtsev D.G. Aktorny podhod v sovremennyh sotsialnyh naukah: ekonomike, sotsiologii i politologii [The actor approach in contemporary social sciences: economics, sociology and political science]. URL: <https://www.hse.ru/data/2012/12/16/1300987726/Skopin%20A.Ju.,%20Klimov%20A.I.,%20Zajcev%20D.G.%20Ak..v%20sovr%20emennyh%20social'nyh%20naukah.pdf>. (In Russ.).
- [24] Tyndik A.O. Reprodukivnye ustanovki i ih realizatsija v sovremennoj Rossii [Reproductive attitudes and their implementation in contemporary Russia]. *Zhurnal Issledovanij Sotsialnoj Politiki*. 2017; 10 (3). (In Russ.).
- [25] Chernova Zh., Shpakovskaja L. Molodye vzroslye: supruzhestvo, partnerstvo i roditelstvo. Diskursivnye predpisanija i praktiki v sovremennoj Rossii [Young adults: Matrimony, partnership and parenthood. Discursive prescriptions and practices in contemporary Russia]. *Laboratorium*. 2010; 3. (In Russ.).
- [26] Shpakovskaja L.L. Sovremennaja sem'ja sovremennymi glazami [Contemporary family in the contemporary perspective]. *Demograficheskoe Obozrenie*. 2019; 6. (In Russ.).
- [27] Brown S.L., Manning W.D., Stykes J.B. Family structure and child well-being: Integrating family complexity. *Journal of Marriage and Family*. 2015; 77 (1).
- [28] Frejka T. Parity distribution and completed family size in Europe: Incipient decline of the two-child family model? *Demographic Research*. 2008; 19 (4).
- [29] Mustillo S., Li M., Wang W. Parent work-to-family conflict and child psychological well-being: Moderating role of grandparent coresidence. *Journal of Marriage and Family*. 2020; 83.
- [30] Öztürk S., Hazer O. Youth perspectives on intergenerational solidarity in families. *Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care*. 2016; 10 (4).
- [31] Shelton N., Grundy E. Proximity of adult children to their parents in Great Britain. *International Journal of Population Geography*. 2000; 6 (3).

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-825-838

Добровольчество в России: история развития и современные установки молодежи*

Л.А. Беляева¹, И.А. Зеленев², В.А. Прохода^{2,3}

¹Институт философии РАН

ул. Гончарная, 12, стр. 1, Москва, 109240, Россия

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Ленинские горы, 1, Москва, 119991, Россия

³Финансовый университет при Правительстве РФ

Ленинградский просп., 49, Москва, 125993, Россия

(e-mail: bela46@mail.ru; zelenev@yandex.ru; prohoda@bk.ru)

Аннотация. В статье рассматривается проблема участия молодежи в волонтерской деятельности — это одна из форм социальной активности и одновременно направление молодежной политики. Анализ эмпирического материала предвещает краткий экскурс в историю добровольчества в дореволюционный и советский периоды. Показано, что это движение развивалось противоречиво — в контексте социально-политических тенденций становления элементов гражданского общества и организационного влияния органов власти. Современное добровольчество (волонтерство) анализируется на основе результатов онлайн опроса городской «взрослой» молодежи, представленной двумя когортами: 18–24 и 25–34 года (N = 705 и 714). Выборки были построены по социально-демографическим и географическим распределениям групп. В результате применения математических методов анализа были выявлены масштабы участия и виды волонтерской деятельности каждой из когорт, социальные установки и реальная вовлеченность в волонтерское движение, между которыми зафиксирован ожидаемый разрыв. Некоторым объяснением разрыва может служить комплекс мотивов участия в волонтерстве. Выявлены следующие модели мотивации: модель «продвижение» связана с меркантильными и карьерными мотивами, модель «капитал» — с наращиванием человеческого и социального капитала, модель «ценности» — с внутренними убеждениями и ожиданиями общественного признания. Вторая модель особенно значима для более молодой когорты. Опрос выявил мнения молодежи как социальной группы о факторах, сдерживающих участие в волонтерстве. Молодые люди были критичны по отношению к своей группе, поставив на первое место равнодушие к проблемам общества, на второе — недостаток времени, на третье — недостаточное поощрение и общественное признание. Исследование показало, что потенциал добровольческой деятельности у молодежи значительно выше ее реального участия. Развитие этой деятельности, преодоление ее бюрократизации может стать побудительным мотивом к уменьшению социальной апатии молодежи.

Ключевые слова: добровольчество; волонтерство; добровольчество в советской и дореволюционной России; возрастные когорты; «взрослая» молодежь; аттитюд

* © Беляева Л.А., Зеленев И.А., Прохода В.А., 2021

Статья поступила 27.07.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

Волонтерская деятельность является одной из современных форм социальной активности людей всех возрастов и гуманизации общественных отношений. В официальных документах констатируется, что добровольчество — способ, посредством которого в обществе поддерживаются и усиливаются такие ценности, как забота и помощь [3]. Содействие распространению и развитию волонтерской деятельности относится к числу приоритетных направлений молодежной политики, что находит отражение в официальных документах [7; 11]. Привлечение подрастающего поколения к участию в волонтерском движении стало базовым направлением деятельности профильных органов власти, фигурирует в числе основных направлений воспитания молодежи [15], декларируется как ключевая задача федеральных проектов [6]. Выполняя социальные функции участия в решении значимых проблем общества, компенсируя недостатки функционирования институциональных механизмов, волонтерство способствует консолидации общества путем установления в нем социальных связей на разных уровнях. Развитие волонтерской деятельности актуализировалось в период пандемии covid-19, когда многочисленным уязвимым категориям населения была необходима помощь, с которой не могли справиться официальные институты. Особая роль при этом была отведена молодежи — как наиболее социально активной демографической группе.

Исследование направлено на выявление установок молодых россиян относительно волонтерской деятельности, определение масштабов включенности молодежи в добровольчество, мотивов и сдерживающих факторов участия в волонтерстве. Вместе с тем полезно вспомнить о традициях добровольчества в советской и царской России, которые решали иные проблемы в те исторические периоды, но имели во многом сходные с современностью побудительные мотивы — помощь ближним, милосердие, благотворительность. Внимание, которое уделяется сейчас развитию волонтерства — добровольного участия разных групп в безвозмездном решении проблем отдельных граждан, территорий или всего общества, побуждает обратиться к практикам добровольчества, которые были распространены в дореволюционной России и Советском Союзе. К сожалению, социологический анализ этих практик и мотивов их участников затруднен в силу отсутствия соответствующей информации, но анализ исторического материала дает представление о распространенности этого явления.

С первых лет существования советского государства добровольчество развивалось в тесной связке с деятельностью органов управления — для выполнения государственных планов и общесоюзных проектов. Были созданы общественные организации, приглашавшие в свои ряды добровольцев (часто под административным давлением) и работавшие по утвержденному вышестоящими органами уставу. Рядовые члены общества привлекались на добровольной основе к выполнению строительных работ в неблагоприятных природных условиях, социально-культурному строительству, развитию здравоохранения, охране природных объектов и социалистической собственности, защите

правопорядка, военному строительству, развитию физической культуры и спорта и т.д. Подобного рода работа оформлялась как деятельность в рамках институционализированных общественных структур. В исследованиях советского периода не упоминается только добровольчество по поддержке бедных и «недостаточных» семей, хотя их было в стране очень много, но забота о них ложилась на плечи государства — населению выплачивались пособия по социальному страхованию рабочих и служащих, пенсии по социальному обеспечению, пособия многодетным и одиноким матерям, пособия при потере кормильца, стипендии учащимся, предоставлялись бесплатная медицинская помощь, бесплатные и по льготным ценам путевки в санатории и дома отдыха; производился и ряд других выплат, в том числе в относительно повышенных размерах участникам ВОВ. Частная материальная помощь и помощь в случае экстраординарных событий оказывалась на добровольных началах, часто «всем миром». Хотя податели помощи нередко сами еле сводили концы с концами, но чувство милосердия, готовность оказать бескорыстную поддержку было характерной чертой простых людей.

Советский добровольческий труд представлял собой непростой феномен. В нем уживался, с одной стороны, формализм (когда, например, целыми школами и предприятиями вступали в ДОСАФ — Добровольное общество содействия армии и флоту — с внесением небольших членских взносов, или в общества охраны природы, общества спасения на водах и т.д.), а, с другой стороны, искренний энтузиазм и заинтересованность в выполнении общественно-полезных работ (освоение целины, строительство БАМа и городов в Сибири и в других отдаленных районах, тимуровское движение, помощь семьям погибших военнослужащих и тем, кто нуждался в помощи, участие в уборке урожая на селе, реставрация памятников культуры, экологические патрули и др.). Добровольное участие в общественных организациях и движениях рассматривалось как социально-политическая активность человека и всячески поощрялось, несмотря на часто формальный характер. Добровольцы реально решали многие социальные проблемы, на которые не хватало ресурсов у государства. Основной социально-демографической группой, составлявшей добровольцев, была молодежь. К сожалению, достоверных социологических данных об отношении молодежи к своему участию в добровольческом движении не обнаружилось, а опираться на официальные оценки вряд ли целесообразно. Но можно прислушаться к мнению экспертов: «Нельзя не отметить низкую активность членов обществ, большинство которых были либо “мертвыми душами”, либо предпочитали пассивно пользоваться благами и услугами, предоставлявшимися добровольными объединениями... А излишний формализм, принудительный характер и бюрократия привели к необратимым процессам, подрыву духовных оснований самого феномена добровольчества» [5. С. 193]. Такая опасность может грозить и современному добровольческому движению, которое все больше регулируется официальными структурами.

Феномен добровольчества возник в советской России не на пустом месте — до октябрьского переворота это было широкое общественное движение, основанное на патриотизме и человеколюбии. Оно поддерживалось официальными структурами, частными лицами, включая императоров, и церковь. В него вкладывали значительные материальные средства обеспеченные слои общества, в том числе императорская семья.

По мнению историков, начало добровольческому безвозмездному труду в России было положено с принятием христианства в X веке — когда по призыву церкви начала складываться традиция помощи и поддержки «ближнего своего», а также безвозмездного труда в монастырях и богоугодных заведениях. При Екатерине II добровольцы работали в открытых ею воспитательных домах для детей-сирот и незаконнорожденных. Добровольный безвозмездный труд в рамках благотворительной помощи стал основой одной из крупнейших благотворительных организаций — Императорского человеколюбивого общества. Оно было создано в 1802 году в Санкт-Петербурге по инициативе Александра I, и со временем расширило деятельность на всю территорию страны. Основные направления деятельности общества вначале сосредоточились в двух комитетах — медико-филантропическом, занимавшемся безвозмездной медицинской помощью неимущим больным, и комитете попечительства бедных с предоставлением им материальной помощи. Члены комитетов жалования не получали, но оплачивался труд привлекаемых специалистов, в частности, сборщиков сведений о нуждающихся. К 1 января 1900 года капиталы по всем учреждениям общества составляли 7,363 млн рублей, а недвижимая собственность его оценивалась в 162,4 млн рублей. За период 1816–1901 помощью общества воспользовалось 5,207 млн человек. По данным на 1901 год, в ведении общества по всей России состояло 221 заведение, в том числе: 63 учебно-воспитательных, где призревались и обучались свыше 7 тысяч сирот и детей бедных родителей; 63 богадельни, призревавшие 2 тысячи престарелых и увечных; 32 дома бесплатных и дешевых квартир и 3 ночлежных приюта, в которых ежедневным приютом пользовались свыше 3 тысяч человек; 8 народных столовых, обеспечивавших ежедневно 3 тысячи бесплатных обедов; 4 швейных мастерских, в которых работали свыше 500 женщин; 29 попечительных комитетов, оказывавших временную помощь свыше 10 тысяч нуждавшимся; 20 медицинских учреждений, в которых бесплатно лечились 175 тысяч бедных больных. Общество получало большие благотворительные взносы от императорской семьи, знатных семей и граждан другого социального положения. Общество просуществовало до октябрьского переворота, когда было упразднено, а его капиталы и недвижимость были национализированы [17. С. 192–207].

В результате реформ Александра II добровольное участие в благотворительности, оказании материальной и иной помощи нуждающимся, поддержке больных и обездоленных приобретает более массовый характер. Основной социально-исторической чертой добровольчества стало то, что оно было важнейшим компонентом сохранения социальной стабильности в стране, где

было огромное количество проблем, возникших в пореформенный период, после отмены крепостного права, но не было действенных механизмов их всеместного решения [5. С. 74.]. В добровольчестве участвовали представители всех слоев общества, прежде всего образованного класса. С созданием земств и учреждением ими народных начальных школ, к обучению детей привлекались учителя на добровольческой безвозмездной основе, в сельских больницах земские врачи оказывали бесплатную медицинскую помощь.

В 1894 году в Москве были учреждены городские участковые попечительства о бедных, которые привлекали волонтеров для сбора пожертвований в помощь бедным, а также сведений о бедствующим семьях. К началу XX века в России действовало около 20 тысяч попечительских советов для бедных, в которых трудились добровольцы. В Санкт-Петербурге система участковых попечительств о бедных была создана в 1907 году, и везде участие волонтеров было весьма ощутимым. Благодаря им стала возможна индивидуализация и дифференциация помощи, учет реальных потребностей в материальной и другой поддержке. Волонтеры проводили опросы неимущего населения городов, фиксировали степень охвата неимущих благотворительной помощью, собирали и другие сведения. Добровольчество распространялось и на такие сферы, как защита животных и гуманное с ними обращение, посещение заключенных с целью обследования условий содержания в тюрьмах и др.

Потребность в добровольцах возрастала в периоды, когда происходили крупные общественные катаклизмы и требовалось подключение общественности. Так, в начале 1890-х годов добровольцы активно участвовали в борьбе с голодом и ликвидации его последствий. В организацию помощи голодающим крестьянам включились деятели местного самоуправления и общественных организаций разного профиля, люди различного социального и имущественного положения. Помощь голодающим оказывалась в форме сбора продовольствия и денежных средств, путем организации столовых, школ и больниц. Поддержка голодающего населения нередко осуществлялась путем организации общественных работ, которые устраивались Попечительством о трудовой помощи и Российским обществом Красного Креста (РОКК).

Мощный импульс добровольчество получило во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда монахини московской Свято-Никольской обители добровольно отправились на фронт для оказания помощи раненым бойцам и стали первыми в мире сестрами милосердия. К началу Первой мировой войны это добровольческое движение распространилось среди женщин-волонтеров и за рубежом и получило название «Красный крест». Проникновенные слова написал И.С. Тургенев на смерть своего друга — Ю.П. Вревской, баронессы, фрейлины императрицы Марии Александровны, которая была во время русско-турецкой войны сестрой милосердия в Крыму в полевом госпитале Российского Красного креста. «Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугаваемой веры, отдалась на служение ближним» [16. С. 6–7].

Развитие добровольчества среди женщин сыграло важную роль и в других военных кампаниях, особенно в Первую мировую войну, когда на фронт и в госпитали были направлены сотни добровольцев — медсестер, прошедших подготовку на курсах Красного креста. В условиях Первой мировой войны широкое распространение получили трудовые отряды учащихся-добровольцев, которые оказывали помощь в сельскохозяйственных работах семьям тех солдат, которые были на войне, или пришли с войны покалеченными.

Таким образом, добровольческое движение довольно широко развилось в дореволюционный период при содействии государства и благотворительных организаций, получивших одобрение высшей власти, которая сознавала необходимость помощи общественности в решении социальных проблем при ограниченности ресурсов государства. Добровольчество традиционно было связано с благотворительными организациями, образуя при них массовые группы помощников в решении социальных проблем.

Добровольчество, или, если использовать современное понятие, распространившееся в России с 1980-х годов, волонтерство, используется в качестве средства воспитания молодежи и несет в себе мощный потенциал решения проблем, которые не может устранить государство и его институты в силу ограниченности ресурсов и неполноты имеющейся информации. Эта двойственная задача — привлечение к безвозмездному труду на благо отдельных людей и общества в целом и воспитание таких добродетелей, как сострадание, самоотверженность и милосердие, — решается с традиционной опорой на государственные институты, общественные организации, а также путем самостоятельных объединений в конкретных угрожающих обстоятельствах.

Согласно федеральному закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг...; добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной организации» [18]. До последнего времени уровень развития добровольчества в России был достаточно низок по сравнению с зарубежными странами. По мнению специалистов, в среднем не менее 3% населения стран-членов ООН участвует в добровольческой деятельности. Во многих развитых странах в добровольчество вовлечена значительная часть населения, например в США — около 27%, Великобритании — 38%, Австралии — 34%, Канаде — 45%. Добровольцы участвуют в решении широкого спектра социально-экономических проблем практически во всех сферах жизнедеятельности местных сообществ и на национальном уровне. Во многих странах созданы национальные и местные ресурсные центры по поддержке и координации деятельности добровольцев. Широко развита система международного обмена добровольческими группами в США, Германии, Франции, Италии и Японии. Добровольцы из этих стран работают в развивающихся странах мира [12. С. 19–20]. У добровольцев из России также есть

перспективы более активно включиться в обмен с зарубежьем, например, в соответствии с программой ООН [14].

Общее число добровольцев в России трудно поддается учету. По различным оценкам, их число колебалось в 2019 году от 4 до 7,5 млн. По данным Министерства экономического развития, за последние восемь лет число волонтеров увеличилось более чем в пять раз. Активную роль волонтеры играют в условиях распространения пандемии covid-19. Основную часть волонтеров составляет молодежь, и есть некоторая надежда, что участие в этой деятельности поможет преодолеть благодушную апатию молодежи, которая фиксируется специалистами [13. С. 119–138].

В определении границ молодежного возраста существуют разные точки зрения [1. С. 17–27]. Объектом нашего анализа стали две когорты городской молодежи, которых можно отнести к «взрослым» молодым: 18–24 и 25–34 года. Верхняя граница может показаться завышенной, но продолжительность жизни населения выросла, соответственно, изменилось соотношение периодов жизненного цикла, сроки учебы и самоопределение в профессии стали более продолжительными, и создание семьи часто отодвигается на более зрелый возраст. В расчет брался социальный возраст — освоение социальных ролей. Объединяет когорты то, что они прошли социализацию в постсоветский период, для них информационные технологии стали главными средствами развития, обучения и общения. Кроме того, эти «взрослые» молодые будут становиться активной силой развития общества и выдвигать свои требования к реализации принципов социальной справедливости, демократии и открытости миру.

Эмпирическая база статьи — результаты онлайн-опроса российской городской молодежи, проведенного летом 2020 года Институтом сравнительных социальных исследований с помощью метода самозаполнения анкеты (CAWI — computerized web-assisted interview) участниками онлайн панели. Выборка репрезентирует российскую городскую молодежь 18–34 лет по основным социально-демографическим и географическим параметрам. Объем выборки — 1419 человек, разделенных на две когорты: 18–24 года (N=705) и 25–34 года (N=714). Анализ проводился по вопросам анкеты, представленным в Таблице 1: использованы корреляционный анализ (ранговая корреляция Спирмена), факторный анализ, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, Хи-квадрат (χ^2) Пирсона.

Итак, участие в волонтерской деятельности хотя бы один раз за предшествующие опросу двенадцать месяцев отметило 27% городской молодежи (не принимали участия 65,3%). Полученные данные в целом согласуются с результатами других исследований, характеризующих масштабы включенности молодежи в добровольчество. По материалам ФОМ за 2019 год, относят себя к волонтерам 20% россиян в возрасте 18–30 лет, 12% считают себя бывшими волонтерами, а 67% не идентифицируют себя с волонтерской деятельностью [9]. Больше всего молодых горожан вовлечено в экологическое (11,2%), социальное (9,5%) и событийное (5,5%) волонтерство. Несколько

реже упоминаются волонтерство в здравоохранении (3,9%), в области общественной безопасности (3,5%), патриотическое (3,2%), спортивное (3%) и культурное (3%). Основное различие между когортами по масштабам вовлеченности относится к событийному волонтерству: в младшей группе — каждый десятый (10%), в старшей — 3,7%.

Таблица 1

Вопросы анкеты и результаты факторного анализа

	Вопросы анкеты	Факторные нагрузки
Фактор «Готовность»	V 5. Насколько значимой стала помощь волонтеров в о время распространения коронавируса? 1 — «Очень значимой», 2 — «Не особо значимой»	-0,8
	V 6. Вы готовы оказать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям в связи с эпидемией коронавируса? 1 — «Готовы», «2» — «Не готовы»	-0,8
	V 8. Вы готовы или не готовы участвовать в волонтерской деятельности на регулярной основе? 1 — «Готовы», «2» — «Не готовы»	-0,7
Фактор «Вовлеченность»	V 1. Среди Ваших знакомых есть люди, которые занимаются добровольной волонтерской деятельностью? 1 — «Есть», «2» — «Нет»	-0,4
	V 7. Приходилось ли Вам лично оказывать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям, оказавшимся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса? 1 — «Приходилось», «2» — «Не приходилось»	-0,8
	V 10. За последние 12 месяцев как часто Вы принимали участие в волонтерской деятельности — в составе группы или в одиночку? От 1 — «Не реже чем раз в неделю» до 7 — «Не принимали участия»	-0,9
	V 3. Каковы основные мотивы людей заниматься волонтерской деятельностью? 1 — «Приносить пользу людям, участвовать в решении существующих в обществе проблем»; 2 — «Реализовать свои убеждения, ценности»; 3 — «Получить дополнительные знания, навыки, профессиональный опыт»; 4 — «Расширить круг общения, завести новых знакомых и друзей, жить активно»; 5 — «Возможность получить рекомендации, приглашения на мероприятия, поездку и др.»; 6 — «Продвинуться, сделать карьеру»; 7 — «Получить общественное признание, уважение окружающих»	

Анализ методом главных компонент; метод вращения — варимакс; объясняемая дисперсия = 62,7% (компонента 1 — 44,4%; компонента 2 — 18,3%).

Для выявления социальных установок молодежи в отношении волонтерской деятельности был проведен факторный анализ, выявивший два фактора: «готовность» и «вовлеченность». Мы интерпретируем их в соответствии с концептуальными моделями социальной установки [4; 20. С. 102–10], согласно которым аттитюд — это «аффект (чувства), поведение (намерение), познание (мысли)». Исходя из того, что установка — это «благоприятная или неблагоприятная оценочная реакция на что-либо или на кого-либо, которая выражается в мнениях, чувствах и целенаправленном поведении» [8. С. 154], можно сказать, что фактор «готовность» представляет собой «склеившиеся»

эмоциональную компоненту и «намерение» (оценка и готовность к участию), а «вовлеченность» — поведенческий аспект (включенность и регулярность участия в волонтерской деятельности, наличие в окружении респондента волонтеров). Описательные статистики по переменным, составляющим эмоциональную и поведенческую компоненты представлены в Таблице 2. «Готовность» молодых горожан оказалась выше, чем реальный опыт участия. Выявленное несоответствие можно интерпретировать как проявление «парадокса Лапьера» — расхождения между социальной установкой и реальным поведением применительно к социально одобряемым действиям. В старшей группе оказывали безвозмездную помощь 20,9% опрошенных, а 45,3% отметили готовность к участию в волонтерской деятельности. Среди респондентов 18–24 лет доли несколько меньше, но разница между показателями сохраняется (11,7% и 34,1%), т.е. в обеих когортах выявлено наличие волонтерского потенциала. По выраженности поведенческой компоненты представители когорт значимо не различаются, но имеют место статистически значимые различия в выраженности эмоциональной компоненты — старшая группа выражает большую «готовность» участия, чем младшая ($r_s=0,15^{**}$).

Таблица 2

Описательные статистики по переменным, составляющим эмоциональную и поведенческую компоненты (%)

		Всего	Когорта 1	Когорта 2	Значимость различий (χ^2)
«Готовность»	Доля респондентов, считающих, что помощь волонтеров во время распространения коронавируса стала очень значимой	50,7	39,7	55,1	<0,001
	Доля респондентов, готовых оказать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям в связи с эпидемией коронавируса	42,1	34,1	45,3	<0,001
	Доля респондентов, не готовых участвовать в волонтерской деятельности на регулярной основе	43,7	54,8	39,3	<0,001
«Вовлеченность»	Доля респондентов, имеющих среди знакомых людей, занимающихся волонтерской деятельностью	50,3	57,7	47,4	<0,001
	Доля респондентов, которым приходилось лично оказывать безвозмездную помощь незнакомым или малознакомым людям, оказавшимся в трудной ситуации в связи с эпидемией коронавируса	18,3	11,7	20,9	<0,001
	Доля респондентов, за последние 12 месяцев, хотя бы раз принимавших участие в волонтерской деятельности — в составе группы или в одиночку	27	25	27,7	=0,284

Масштабы и потенциал волонтерства во многом связаны с мотивацией к участию в добровольческой деятельности. По мнению молодых горожан, основной мотив участия в добровольчестве — возможность приносить

пользу людям, решать существующие в обществе проблемы (67%) — имеет альтруистический характер. Желание быть полезным, помогать другим людям в качестве ведущего мотива отмечают и другие авторы [19. С. 60–71]. В то же время опрос показал, что мотивы волонтерства не всегда альтруистичны и могут выступать ответом на потребности человека [см.: 2. С. 22]. В среднем респонденты упоминают два мотива. К числу других важных мотивов волонтерской деятельности молодежь относит: расширение круга общения, появление новых знакомых и друзей — 31,1%; реализацию убеждений, ценностей — 28,1%; получение дополнительных навыков, знаний профессионального опыта — 22,1%; общественное признание, уважение окружающих — 14,8%; альтруистичный мотив помощи людям и обществу чаще упоминают представители старших возрастов — 70,3% (против 58,5%).

Для выявления представлений молодежи о мотивах занятия волонтерской деятельностью проводился факторный анализ ответов на вопрос V3, преобразованный в серию дихотомических переменных (метод вращения — варимакс; объясняемая дисперсия = 53,5% (компонента 1 — 21,8%; компонента 2 — 16,8%; компонента 3 — 14,9%). Судя по оценкам респондентов, существуют три модели мотивации волонтерства: модель «продвижение» связана с меркантильными установками, включает в себя наряду с высокими факторными нагрузками стремление продвинуться, сделать карьеру, получить рекомендации, приглашения на мероприятия и поездки, при одновременном отсутствии (отрицательная нагрузка) выраженного желания приносить пользу людям, участвовать в решении социальных проблем; модель «капитал» связана со стремлением к приращению собственного капитала (человеческого, социального); модель «ценности» связана с реализацией убеждений, общественным признанием и уважением. Когорты значимо не различаются по средним факторным значениям «капитала» и «ценностей», но «продвижение» ярче выражено у представителей младшей группы. Последнее (принимая во внимание, что респонденты во многом проецируют собственные мотивы) дает основания характеризовать респондентов из младшей когорты как более меркантильных, ориентированных на карьеру и рассматривающих волонтерство как инструмент получения выгоды. Отчасти такие установки могут быть сопряжены с нормативным закреплением учета индивидуальных достижений, обеспечивающего получение дополнительных баллов при поступлении в вуз и при движении по образовательной траектории (магистратура или аспирантура), хотя молодежь из младшей когорты весьма неоднородна в мотивации к добровольчеству.

Абсолютное большинство респондентов связывает молодежное добровольчество с рядом сложностей. Лишь каждый десятый (10,3%) уверен, что развитию волонтерской деятельности ничего не препятствует, и оптимистов несколько меньше среди самых молодых респондентов (когорта 1 — 7,4%; когорта 2 — 11,4%). Среди основных сдерживающих факторов чаще всего фигурировали: равнодушие молодежи к проблемам общества — 41,6% (когорта 1 — 36,5%; когорта 2 — 43,7%); нехватка времени — 41,2%

(соответственно 50,1% и 37,6%); недостаточное материальное поощрение — 35,5% (41,7% и 33%). При этом респонденты 25–34 лет, в силу объективных причин имеющие меньше свободного времени, отмечают его дефицит значительно реже, видимо, более ответственно относясь к помощи нуждающимся в ней.

Таким образом, можно наблюдать разные сочетания мотивов участия и препятствий для добровольчества у представителей двух когорт «взрослой» молодежи, что необходимо учитывать в организации и развитии движения волонтеров в России. В обеих когортах большая часть молодежи готова к добровольчеству, видя в нем, прежде всего, возможность увеличить свой человеческий и социальный капитал, но одновременно признавая важность этой деятельности для общества. Это хороший признак социального здоровья молодежи, которая готова активизировать свою общественную деятельность, не забывая о собственных интересах и перспективах (саморазвитие, самореализация и жизненные достижения).

Информация о финансировании

Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект № 20-011-00285 А «Социальная стратификация и социализация российской молодежи в постсоветский период».

Библиографический список

- [1] *Беляева Л.А.* Российская молодежь в эпоху перемен: структурные изменения и новые вызовы политической социализации // *Вопросы философии*. 2020. № 10.
- [2] *Бодренкова Г.П.* Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике. М., 2013.
- [3] Всеобщая декларация добровольчества // URL: http://gov.cap.ru/home/76/gorono/2005/school6/dobrovoldvigenie_3.htm.
- [4] *Гордеева С.С.* Сущность и структура социальной установки в социологии и социальной психологии // *Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология*. 2016. Вып. 3.
- [5] *Горлова Н.И.* Становление и развитие института волонтерства в России: история и современность. М., 2019.
- [6] Добровольчество в России // URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/volunteering.
- [7] Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года // URL: <http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HCICGR8esYBYgq.pdf>.
- [8] *Майерс Д.* Социальная психология. СПб., 1998.
- [9] Масштабы и потенциал волонтерства // URL: <https://fom.ru/TSennosti/14303>.
- [10] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран (на примере России, Казахстана и Чехии): сравнительный анализ ценностных ориентаций (Часть 1) // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2018. Т. 18. № 1.
- [11] Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835.
- [12] Основы организации и управления добровольческой деятельностью / Под общ. ред. О.А. Аникеевой, А.П. Рудницкой, О.В. Решетникова. М., 2019.
- [13] *Петухов В.В.* Российская молодежь и ее роль в трансформации общества // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2020. № 3.
- [14] Программа добровольцев ООН (ДООН) // URL: <https://www.un.org/ru/ga/unv/resources.shtml>.

- [15] Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // URL: <http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf>.
- [16] Тургенев И.С. Памяти Ю.П. Вревской // Быть сестрой милосердия. Женский лик войны / Сост. Е. Первушина. М., 2017.
- [17] Ульянова Г.Н. Благотворительность в российской империи: XIX — начало XX вв. СПб., 2005.
- [18] Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=370348&dst=100009%2C0#80gxdSS8tmIZGhA1>.
- [19] Шевченко П.В. Социальная роль московского волонтерства // Социологические исследования. 2013. № 8.
- [20] Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. М., 1979.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-825-838

Volunteering in Russia: History and attitudes of the contemporary youth*

L.A. Belyaeva¹, I.A. Zelenev², V.A. Prokhoda^{2,3}

¹Institute of Philosophy of RAS
Goncharnaya Str., 12, bldg. 1, Moscow, 109240, Russia

²Lomonosov Moscow State University
Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia

³Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky Prosp., 49, Moscow, 125993, Russia
(e-mail: bela46@mail.ru; zelenev@yandex.ru; prohoda@bk.ru)

Abstract. The article considers the issue of the youth participation in volunteering as a form of social activity and at the same time the direction of the youth policy. The analysis of the empirical data follows a short review of the history of volunteering in the pre-revolutionary and Soviet periods. The authors explain this movement's contradictory nature by the social-political trends in the development of civil society and by the organizational influence of the authorities. The contemporary Russian volunteering is presented on the basis of the online survey data on two cohorts of the 'adult' urban youth — 18–24 and 25–34 years old (N=705 and N=714). The samples represent the social-demographic and geographical features of two groups. The mathematical methods of analysis allowed to identify the scale of participation and the types of volunteer activities for both cohorts, social attitudes and real involvement in the volunteer movement, and an expected gap between them, which can be explained by a complex motivation for volunteering. We identified the following motivation models: the 'promotion' model implies mercantile and career motives, the 'capital' model — the growth of human and social capital, and the 'value' model — beliefs and expectations of public recognition and respect. The second model is especially relevant for the younger cohort. The survey revealed the opinions of the youth as a social group about the factors that hinder participation in volunteering. Young people were critical of their group, and named social indifference as the first problem, then comes the lack of time, insufficient encouragement and public

* © L.A. Belyaeva, I.A. Zelenev, V.A. Prokhoda, 2021

The article was submitted on 27.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

recognition. The research proved that the potential of volunteering is much higher than the youth's participation in it. The development of this activity together with overcoming its bureaucratization can become an incentive for reducing the youth's social apathy.

Key words: volunteering; volunteering in Soviet and pre-revolutionary Russia; age cohorts; 'adult' youth; attitude

Funding

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research. Project No. 20-011-00285 A "Social stratification and socialization of the Russian youth in the post-Soviet period".

References

- [1] Belyaeva L.A. Rossiyskaya molodezh v epokhu peremen: strukturnye izmeneniya i novye vyzovy politicheskoy sotsializatsii [Russian youth in the times of change: Structural changes and new challenges to political socialization]. *Voprosy Filosofii*. 2020; 10. (In Russ.).
- [2] Bodrenkova G.P. *Sistemnoe razvitie dobrovolchestva v Rossii: ot teorii k praktike* [Systemic Development of Volunteering in Russia: From Theory to Practice]. Moscow; 2013. (In Russ.).
- [3] Vseobshchaya deklaratsiya dobrovolchestva (prinyata na XVI Vsemirnoj Konferentsii Mezhdunarodnoj Assotsiatsii Dobrovolcheskih Usilij) [Universal Declaration of Volunteering (adopted at the XVI World Conference of the International Association for Volunteer Effort)] URL: http://gov.cap.ru/home/76/gorono/2005/school6/dobrovoldvigenie_3.htm. (In Russ.).
- [4] Gordeeva S.S. Sushchnost i struktura sotsialnoy ustanovki v sotsiologii i sotsialnoy psikhologii [Essence and structure of the social attitude in sociology and social psychology]. *Vestnik Permskogo Universiteta. Filosofiya. Psihologiya. Sociologiya*. 2016; 3. (In Russ.).
- [5] Gorlova N.I. *Stanovlenie i razvitie instituta volonterstva v Rossii: istoriya i sovremennost* [Formation and Development of the Institution of Volunteering in Russia: History and Modernity]. Moscow; 2019. (In Russ.).
- [6] Dobrovolchestvo v Rossii [Volunteering in Russia] URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/volunteering. (In Russ.).
- [7] Kontseptsiya razvitiya dobrovolchestva (volonterstva) v Rossijskoj Federatsii do 2025 goda [Concept for the Development of Volunteering in the Russian Federation until 2025]. URL: <http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HCICGR8esYBYgq.pdf>. (In Russ.).
- [8] Myers D. *Sotsialnaya psihologiya* [Social Psychology]. Saint-Petersburg; 1998. (In Russ.).
- [9] Masshtaby i potentsial volonterstva [Scope and potential of volunteering]. URL: <https://fom.ru/TSennosti/14303>. (In Russ.).
- [10] Narbut N.P., Trotsuk I.V. Sotsialnoe samochuvstvie molodezhi postsotsialisticheskikh stran (na primere Rossii, Kazakhstana i Chexii): sravnitelny analiz tsennostnykh oriyentatsiy (Chast 1) [The social well-being of the post-socialist countries' youth (on the example of Russia, Kazakhstan and Czech Republic): Comparative analysis of value orientations (Part 1)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2018; 18 (1). (In Russ.).
- [11] Osnovy gosudarstvennoj molodezhnoj politiki Rossijskoj Federatsii na period do 2025 goda [Fundamentals of the State Youth Policy of the Russian Federation until 2025]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835. (In Russ.).
- [12] *Osnovy organizatsii i upravleniya dobrovolcheskoj deyatel'nostiyu* [Fundamentals of Volunteering Organization and Management]. Anikeeva O.A., Rudnitskaya A.P., Reshetnikov O.V. (Eds.). Moscow; 2019. (In Russ.).
- [13] Petukhov V.V. Rossiyskaya molodezh i ee rol v transformatsii obshchestva [Russian youth and its role in social transformation]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2020; 3. (In Russ.).

- [14] Programma dobrovol'tsev OON [United Nations Volunteers (UNV)]. URL: <https://www.un.org/ru/ga/unv/resources.shtml>. (In Russ.).
- [15] Strategiya razvitiya vospitaniya v Rossijskoj Federatsii na period do 2025 goda [Strategy for the Development of Education in the Russian Federation until 2025]. URL: <http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHIBitwN4gB.pdf>. (In Russ.).
- [16] Turgenev I.S. Pamyati Yu.P. Vrevskoj. *Byt sestroy miloserdiya. Zhensky lik vojny* [To Be a Sister of Mercy. The Woman's Face of War]. Pervushina E. (Ed.). Moscow; 2017. (In Russ.).
- [17] Ulyanova G.N. *Blagotvoritelnost v rossijskoj imperii: XIX — nachalo XX vv.* [Charity in the Russian Empire: 19 — Early 20th Century]. Saint-Petersburg; 2005. (In Russ.).
- [18] Federalny zakon ot 11.08.1995 № 135-FZ (red. ot 08.12.2020) "O blagotvoritel'noy deyatel'nosti i dobrovol'chestve (volonterstve)" [Federal Law of 11.08.1995 No. 135-FZ (as amended on 08.12.2020) "On Charity and Volunteering"]. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=370348&dst=100009%2C0#80gxdSS8tmlZGhA1>. (In Russ.).
- [19] Shevchenko P.V. Sotsialnaya rol moskovskogo volonterstva [Social role of Moscow volunteers]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2013; 8. (In Russ.).
- [20] Shikhirev P.N. *Sovremennaya sotsialnaya psihologiya SShA* [Contemporary Social Psychology in the USA]. Moscow; 1979. (In Russ.).

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-839-854

Классовая идентичность рабочей молодежи современной России*

В.В. Гаврилюк, Т.В. Гаврилюк

Тюменский индустриальный университет,
ул. Володарского, 38, Тюмень, 625000, Россия
(e-mail: gavriliuk@list.ru; tv_gavrilyuk@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена анализу социального самоопределения российской рабочей молодежи, выявлению ее классовой идентичности. Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска базовых признаков идентичности рабочего класса постиндустриальной эпохи в связи с принципиальными отличиями наемного труда в отраслях сферы услуг от труда рабочих промышленных предприятий. В статье представлен обзор современных концепций множественной и фрагментарной идентичности, обозначены основные векторы полемики о специфике идентификационных процессов и политике идентичности в современных обществах. Обозначены базовые признаки идентификации представителей рабочего класса постиндустриальной эпохи: характер и содержание труда; владение собственностью и участие в управлении предприятием. Современный рабочий класс определяется как негетерогенное образование, внутренняя дифференциация которого вызвана такими факторами, как форма найма, сфера занятости, уровень доходов, стиль жизни и культурный капитал. Эмпирическая часть исследования реализована в Уральском федеральном округе в 2018 году с помощью массового и экспертного опросов. Результаты исследования свидетельствуют, что в российском обществе активно идет процесс формирования классов, следовательно, целесообразно возрождение классового подхода к описанию социальной структуры. Более 50% молодых людей, принадлежащих к традиционному промышленному рабочему классу, по-прежнему идентифицируют себя с данной социальной группой. Среди работников рутинизированного сервиса с рабочим классом отождествляют себя чуть более 30%. Идентификация со средним классом теряет популярность. Эмпирические данные говорят о парадоксальности мышления рабочей молодежи, неустойчивости ее базовых ориентиров. Противоречивые оценки и высказывания респондентов подтверждают размытость классового сознания и неустойчивость классовой идентичности.

Ключевые слова: идентичность; рабочий класс; классовое сознание; прекариат; молодежь; рабочая молодежь; наемный труд

Фундаментальные изменения в социальной структуре развитых стран во второй половине XX века, обусловленные глобальными трансформациями мировой экономики, изменили и статус рабочего класса. Принципиальные отличия наемного труда на высокотехнологичных предприятиях и в отраслях сферы услуг от предшествующих форм труда рабочих стали основанием для

* © Гаврилюк В.В., Гаврилюк Т.В., 2021

Статья поступила 27.12.2020 г. Статья принята к публикации 04.06.2021 г.

поиска базовых признаков идентичности рабочего класса постиндустриальной эпохи. Очевидно, что основные параметры классовообразования — характер и содержание труда, владение собственностью и участие в управлении предприятием — могут выступать индикаторами идентичности больших социальных групп. Безусловным дифференцирующим фактором является уровень доходов, а степень рутинизации труда, различия в стиле жизни и культурном капитале — менее очевидные факторы неоднородности современного рабочего класса [14. С. 354].

Условия труда, формы гражданской активности, идентичность и стили жизни представителей современного рабочего класса кардинально отличаются от аналогичных характеристик рабочего класса индустриальной эпохи. Традиционный промышленный рабочий класс сегодня представляет собой лишь одну из подгрупп и более не способен формировать смысловые основания коллективной идентичности данного сообщества в условиях неолиберальной экономики и идеологии. Большая часть рабочего класса постиндустриальных обществ представлена работниками рутинизированного (далеко не всегда физического) труда, занятыми в сервисном секторе. Работники промышленности, транспорта, строительства и технического обслуживания, традиционно относимые к рабочему классу, составляют сегодня менее трети его представителей в развитых странах [38]. В России сервисный сектор как наиболее динамично развивающийся также стал сферой оттока трудовых ресурсов из рабочего класса [5].

Значимой проблемой рассматриваемой социальной группы стало отсутствие устойчивых форм солидаризации и классовой идентификации. Дискурс индивидуализма, беспрецедентное развитие технологий наблюдения и контроля породили новые формы эксплуатации в цифровом капитализме. Самоопределение в классовых терминах утратило доминирующую роль и в России, и за рубежом, отмечается глубокое чувство невозможности изменить свою жизнь и условия труда, т.е. отсутствие «классового сознания» [27; 32]. Фрагментация социальных групп и кризис идентичности приводят к деформации прежних форм консолидации и институционализации классовых интересов. Традиционно интересы рабочего класса преобразовывались в коллективное действие посредством партий и профсоюзов, а сегодня групповые конфликты и интересы все чаще переносятся в область потребления [34]. Повсеместно наблюдаемый рост социального неравенства ухудшает социально-экономические условия труда и жизни рабочего класса в глобальном масштабе [41]. Наиболее уязвимой группой является рабочая молодежь, чьи жизненные шансы изначально ограничены, а в современных структурных условиях становятся еще ниже. Эти проблемы особенно актуальны для молодых работников сервисного сектора, не имеющих традиций формирования классовой идентичности и солидарности. Интересы данной группы наемных работников не артикулированы в государственном, общественном и научном дискурсе.

В российском контексте консервация транзитных форм общественной жизни, тенденции возрождения консервативных ценностей под видом стабилизации приводят к дезадаптации новых поколений рабочей молодежи, нарушению их социальной идентификации, выражающейся в разных формах — от падения престижа профессионального мастерства до принципиального отрицания своей групповой принадлежности. Особую остроту эти проблемы имеют в российских регионах, где проблемы социального неравенства усугубляются региональным неравенством и оказывают прямое влияние на социальную мобильность молодежи.

Для проверки ряда гипотез о процессах классовой идентификации рабочей молодежи было проведено эмпирическое исследование, включающее массовый опрос, опрос экспертов и биографическое интервью. В рамках статьи, для выявления наиболее общих параметров классовой идентификации, мы будем опираться только на количественные данные. В качестве объекта массового опроса была выбрана рабочая молодежь в возрасте 15–29 лет, проживающая на территории Уральского федерального округа. Для исследования были отобраны три города (Екатеринбург, Тюмень, Курган) и типичные сельские поселения в этих областях. Было опрошено 1534 респондента, использована целевая многоступенчатая выборка по четырем критериям: возраст; пол; место жительства — город и сельская местность; сфера занятости — промышленность и техническое обслуживание, а также клиентский сервис.

Так как объектом выступила только трудоустроенная часть молодежи нового рабочего класса, исследование проводилось преимущественно на рабочих местах по предварительной договоренности с менеджментом компаний. Самая молодая когорта респондентов в возрасте 15–19 лет была опрошена по месту учебы (учреждения среднего профессионального образования), но отобрана была лишь трудоустроенная часть учащихся. Опрос проводился методом анкетирования. В качестве экспертов (100 человек) выступили руководители рабочей молодежи на обследуемых предприятиях. Выбор в качестве объекта эмпирического исследования наемных работников из числа молодежи, занятой в разных секторах экономики, определяется авторской позицией, согласно которой классовообразующими признаками являются содержание труда, владение собственностью и властные полномочия в организации. Мы придерживаемся подхода зарубежной социологии, согласно которому к рабочему классу относятся как производители товаров, так и работники сферы рутинизированного обслуживания [7; 14; 29; 37; 42]. Эмпирическая часть проекта также опиралась на анализ статистических данных о занятости молодежи [22] (структура и характер занятости, соотношение формальной и неформальной занятости).

Эволюция представлений о классовой идентичности

Феномен идентичности со времен античности рассматривался как становление и самопознание индивида в качестве социального субъекта. В классической марксистской традиции данное понятие трактуется как осознание и

воплощение человеком родовой сущности, его противоположность — категория отчуждения как разрыв с подлинными основаниями самосознания. В подобной трактовке потеря идентичности при капитализме распространяется на все общество, субъективное становление личности заменяется логикой капитала, личность идентифицируется по признаку владения им [12. С. 68]. Сегодня терминология основоположников марксизма используется редко, но глобальное общество потребления демонстрирует действенность идеи К. Маркса о товарном фетишизме как о персонализации товаров, вещей и деперсонализации индивидов, утрате субъектности, потере родовой идентичности.

Идеология общества потребления породила в социальном знании тезис о множественной или фрагментарной идентичности. В современных реалиях интересы людей, потребительские паттерны, стилистические предпочтения и субкультурные принадлежности плюралистичны. Культурные основания идентичности, наряду с классом, описываются с помощью таких категорий, как возраст, гендер, раса, этничность, сексуальная ориентация, поколение, пространственная локализация, религиозная принадлежность, семейный статус. Распространенность тезиса привела в 1990-е годы к дебатам о «политике идентичности» [24]. Ее ключевой задачей было формирование солидарных сообществ с четко обозначенными границами на основе коллективно разделяемого опыта и единства взглядов. Такие гомогенные объединения с прочными внутригрупповыми связями долгое время позиционировались как ключевой субъект демократического общественно-политического пространства. Членство в сообществах, идентификация с ними и принятие коллективной точки зрения на основе общего опыта позиционировались как необходимое условие полноценного гражданского участия [31. С. 65]. Акцентирование текучести идентификации и индивидуализация постмодерна обернулись новым этапом группового эссенциализма к концу 1990-х годов.

Отрицание классического подхода к идентичности как осознанию родовой сущности и самоопределению индивида посредством включения в большие социальные группы привело к проблематизации социальной структуры постиндустриального общества. Последствия деиндустриализации, распад культурных иерархий, растущая индивидуализация потребительских практик и диверсификация жизненных стилей позволили ряду исследователей декларировать распад классовой структуры обществ позднего модерна или постмодерна [28; 35]. Дискурс индивидуализации вместе с неолиберальной политикой и неоменеджментом в западных странах сформировал иллюзорную картину — будто ответственность за жизненные успехи и неудачи лежит исключительно на человеке-работнике. Эта идеология привела, прежде всего, к дезинтеграции рабочих сообществ, разоружению коллективных протестных движений и, как следствие, распаду устойчивых форм классовой идентичности [3]. Реальные коллективные идентичности, обретшие фрагментарный и «текущий» характер, невозможно описывать в классовых терминах, что превратило класс в «зомби-концепт» социальной теории [2. С. 112]. Марксистская категория эксплуатации сменилась нейтральным понятием «социальное

исключение», позволившим уйти от обвинительного дискурса и переопределить классовые отношения, сосредоточившись на нехватке определенных ресурсов у «исключенных» групп — компетенций, жизненных шансов или социально приемлемых форм классового габитуса.

Таким образом, в конце XX века в западной социальной мысли и политике не отрицались возможности классовобразования, но классовые идентичности лишались центральной позиции, располагались в одной плоскости с другими формами идентификации [26. С. 150] и социальной дифференциации [30. С. 7–8]. В социологических исследованиях начала XXI века частично подтверждается амбивалентность оценки людьми собственной классовой позиции и фрагментация классовой идентичности. Исследования начала 2000-х годов показывают, что многие представители рабочего класса неохотно определяли себя в классовых терминах [36; 40]. Современная культура активно дистанцируется от образа жизни рабочего класса, новые поколения среднего класса не способны обнаружить привлекательных черт в ценностях и специфике жизненного пути рабочих, учиться у них и заимствовать определенные культурные элементы, как это было в эпоху послевоенного индустриального подъема [33. С. 26]. Риторика общества потребления и трансформация корпоративной политики в идеологии неоменеджеризма привели к озабоченности рабочего класса атрибутами жизненного стиля, фокусированием на поведенческих практиках среднего класса, при этом структурные факторы, препятствующие реальному изменению классовой позиции, игнорировались [39].

Однако и сегодня ряд теоретиков рассматривают классовую идентичность как индивидуализированную и имплицитную, закодированную в человеческом восприятии собственную ценность в соотношении с представителями других социальных общностей [39. С. 8]. Несмотря на продолжающееся воспроизводство схожего жизненного опыта внутри класса, данный вид дифференциации не осознается акторами, что препятствует формированию классовой идентичности. «Деидентификация» рассматривается как новые реалии классовой дифференциации [25]. Тем самым виртуально провозглашенная теоретиками культуральных исследований «смерть класса» не опиралась на эмпирические исследования, а временная классовая деидентификация ошибочно была интерпретирована как распад классовой структуры в целом.

Несмотря на широкий контекст современной трактовки идентичности, в российской социологии и сегодня преобладает представление об этом феномене как способе и результате соотношения индивида с социальными общностями [1. С. 170]. Доминирование ценностей потребления в западных обществах и, как следствие, фрагментация классовой идентичности (особенно среди представителей рабочего класса, переориентированных на ценности среднего класса) совпало с аналогичными процессами в российском обществе, хотя причины здесь разные. Социальные трансформации постсоветской России, скрытая идеология ускоренного формирования класса собственников не просто ослабили общественную рефлексию по поводу новой классовой структуры, но сделали ее практически невозможной. Поэтому в

отечественной социологии особое внимание уделялось разработке теории среднего класса, где можно было опереться на методологический аппарат западных теорий, сохраняя идеологическую нейтральность как основу научной объективности. Критерии отнесения к среднему классу в исследовательских подходах различаются, но никто не отрицает, что базовым индикатором остается уровень доходов. Парадоксальность классовой идентичности отмечена российскими социологами в исследованиях самоидентификации населения, значительно различающего по объективному критерию — уровня дохода [9. С. 71], хотя достаток не является единственным критерием, раскрывающим сущность класса как субъекта общественных отношений [17. С. 71–72].

Влияние конвенционального зарубежного дискурса особенно заметно в исследовании отечественными социологами среднего класса. Что касается вопросов классовообразования и идентичности «новых–старых» классов — рабочих и капиталистов, то здесь разработок пока недостаточно. Устойчивость представлений об идентичности как соотносительности индивида с социальной общностью, осознания своей принадлежности к ней осложняется неопределенностью социальной структуры российского общества. Это выражается даже в отсутствии названий макросоциальных общностей, причем не только в социологической науке, но и массовом сознании. Однако при отсутствии ярко выраженной классовой идентификации российское общество демонстрирует устойчивое формирование социально-классовых сред [10]. Процесс классовообразования имеет объективный характер, что связано, прежде всего, с реальной дифференциацией населения по уровню дохода, имущественному положению. Этот очевидный критерий является предметом обсуждения в обществе и науке, но другие, не столь явные признаки классов часто либо остаются в тени, либо замалчиваются. Одним из таких критериев является распределение властных полномочий в трудовых и социальных отношениях — здесь скрывается корень классового неравенства макросоциальных групп.

Эмпирический анализ классовой идентификации рабочей молодежи

Классовая идентичность рабочей молодежи измерялась через набор индикаторов: классовая самоидентификация; профессиональная самоидентификация; отношение к другим социальным классам, группам (антагонизм/кооперация); оценка отношений внутри группы (индивидуализм, атомизация/солидарность, кооперация); оценка социального положения нового рабочего класса и своего социального статуса (престиж рабочих профессий, статус класса, социальное исключение/инклюзия; позитивные и негативные коннотации принадлежности к классу; значимость данного членства); фрагментация идентичности (гомогенность, устойчивость/контингентность, мобильность). Возможность объединения рабочей молодежи в сравнительно однородную группу (по выделенным признакам) подтверждается объективным критерием — уровнем дохода. Рисунок 1 показывает, что женщины гораздо чаще заняты на низкооплачиваемых рабочих должностях, чем мужчины. Большинство

респондентов имеют доход на уровне, достаточном лишь для удовлетворения базовых потребностей (до 30 тысяч рублей в месяц) и не позволяющим делать накопления.

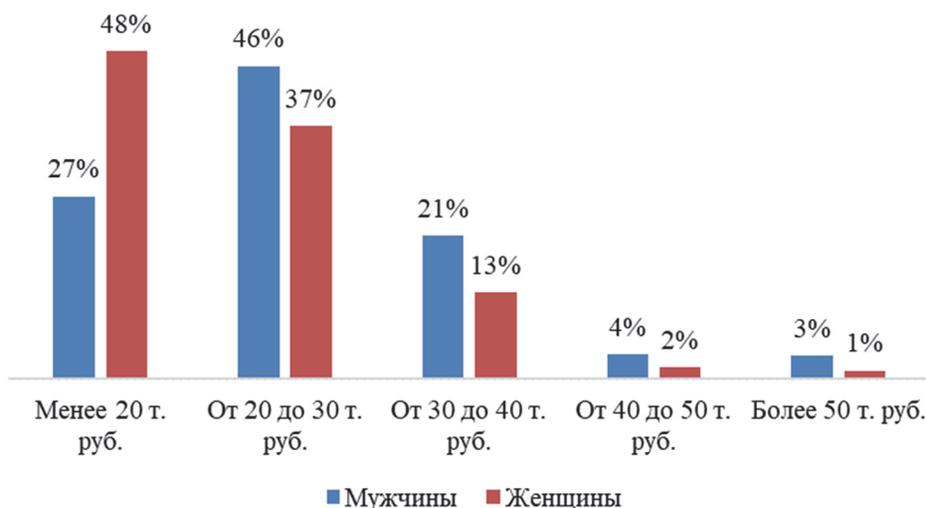


Рис. 1. Уровень доходов рабочей молодежи (в %)

Различие секторов экономики, места жительства, профессиональной принадлежности, казалось бы, не предполагают наличия макросоциальной общности, однако эмпирические данные свидетельствуют об обратном. Первый, наиболее простой и очевидный «срез» идентичности молодых наемных работников выявляется через их отношение к разным социальным и профессиональным общностям, способным выступить в качестве референтных или исключенных групп (Рис. 2).

Важно не только отношение молодежи к социальным и профессиональным группам, но и оценка собственных жизненных перспектив. Позиция «с уважением, сам хотел бы стать» не просто демонстрирует идентичность молодого работника, но и может служить характеристикой его жизненной стратегии. Доминирующий образ позитивных жизненных перемен молодежь связывает с предпринимательством: 37% выбрали создание собственного бизнеса как оптимальный путь к успеху. В ответах на вопрос о референтных группах, формирующих потенциал социальной мобильности молодежи, бизнесмены заняли первую позицию в рейтинге желаемых идентификаций. К другим группам, маркируемым в качестве перспективной идентичности, относятся военнослужащие (13%) и представители креативных профессий — артисты и дизайнеры (по 10%). Наряду с традиционно высоким рейтингом профессий учителей, врачей, ученых и уважением к военным (от 68% до 81%, причем от 8% до 13% не исключают возможность стать кем-то из них) обращает на себя внимание разброс оценок статуса «рабочий». Почти 80% отметили, что относятся к рабочим «с уважением», но как собственную жизненную перспективу их отметили только 9% из них. Интересно, что вариант

«менеджеры» (одна из наиболее вероятных карьерных возможностей для молодых представителей рабочего класса) не был выбран в качестве референтной группы, и в целом отношение к этой альтернативе скорее безразличное. Причина кроется в изменившихся коннотациях данного понятия, ассоциирующегося в массовом сознании с утомительной и рутинной сервисной работой, а не с управленческими функциями.



Рис. 2. Отношение рабочей молодежи к другим группам (в %)

Итак, наиболее вероятный способ повышения социального статуса молодые рабочие усматривают в предпринимательской деятельности. Идея «собственного дела» все больше проникает в массовое сознание молодежи, она не считает классовые границы неподвижными, верит в меритократический характер общества. Идеология капитализма, ценности свободного предпринимательства и социальной мобильности стали массовыми в новом поколении. Правда, среди молодежи наблюдаются различия по возрастным группам, месту проживания, гендерным характеристикам — эти различия, как и совпадение позиций, являются основанием для анализа возможной макросоциальной идентичности на уровне классового деления общества.

В массовом сознании и в научной литературе до сих пор под рабочим классом, как правило, понимают наемных работников, занятых в сфере промышленного производства. Положение и структура традиционного (промышленного) рабочего класса в современной России претерпели значительные изменения за последние три десятилетия. Произошло существенное снижение его численности, размывание границ с другими классами и внутренняя дифференциация — как следствие, наблюдается утрата классового сознания, самоидентификации и снижение протестной активности. Уменьшение численности традиционного рабочего класса — общемировая тенденция, но на западных предприятиях вследствие технологического развития, а «в нашей стране на фоне сокращения объемов и размеров производства, отсталости индустриальной базы промышленности и незавершенности технологической модернизации» [13. С. 81].

Тенденции дифференциации рабочего класса и утраты классового сознания вполне реальны, но означают ли они неизбежное разрушение этой большой социальной группы, превращение ее, например, в прекариат [4. С. 50–56; 8; 19; 21]. В российской социологии наблюдается разброс методологических подходов к этому вопросу: от признания прекариата новым классом до полного отрицания его классового характера. Первую позицию отстаивает Ж.Т. Тощенко, определяя прекариат через признаки нестабильного социального положения с неопределенной, гибкой занятостью, неустойчивыми формами распределения прибавочного продукта и произвольной оплатой труда [21. С. 81]. Действительно, прекаризация распространяется сегодня практически на все слои наемных работников, независимо от характера труда, уровня образования и сферы занятости, но, в отличие от мировых тенденций, в России прекариат больше всего распространен в сфере услуг и ручного труда [18. С. 103–106]. Основная масса российского прекариата — это сервисная часть рабочего класса. Несмотря на широчайшее распространение нестабильных форм трудовых отношений, мы не считаем прекариат новым социальным классом вследствие его неустойчивости, нестабильности и депривации.

В условиях неопределенности и незавершенности классовой идентичности больших социальных групп важно рассматривать таковую в динамике, поэтому эмпирические исследования в регионах играют важнейшую роль в накоплении и обобщении эмпирической информации. Мы сопоставили позиции наемных работников, занятых в традиционных отраслях промышленного производства (традиционный рабочий класс), и представителей молодежи, входящих в группу сервисных работников (Рис. 3).

Для более половины представителей традиционного рабочего класса идентификация с ним по-прежнему значима, а среди сервисных работников с рабочим классом отождествляет себя каждый третий, т.е. процесс классовообразования сегодня не связан со сферой занятости, а отражает особенности социального положения наемного работника. Идентификация со средним классом теряет популярность, но наблюдаются гендерные различия. Женщины, составляющие большую часть сервисной части наемных работников в России,

более склонны идентифицировать себя со средним классом. Идентичность с группой «наемный работник» можно трактовать как незавершенную классовую: с одной стороны, мы наблюдаем признание принадлежности к рабочему классу, а, с другой — либо ее временный характер, либо стремление дистанцироваться от него в силу непрестижности группы. Вполне ожидаемо позиция «креативный класс» оказалась наименее представлена в самооценках традиционного рабочего класса, но и среди сервисных работников ее отметили менее 5%.

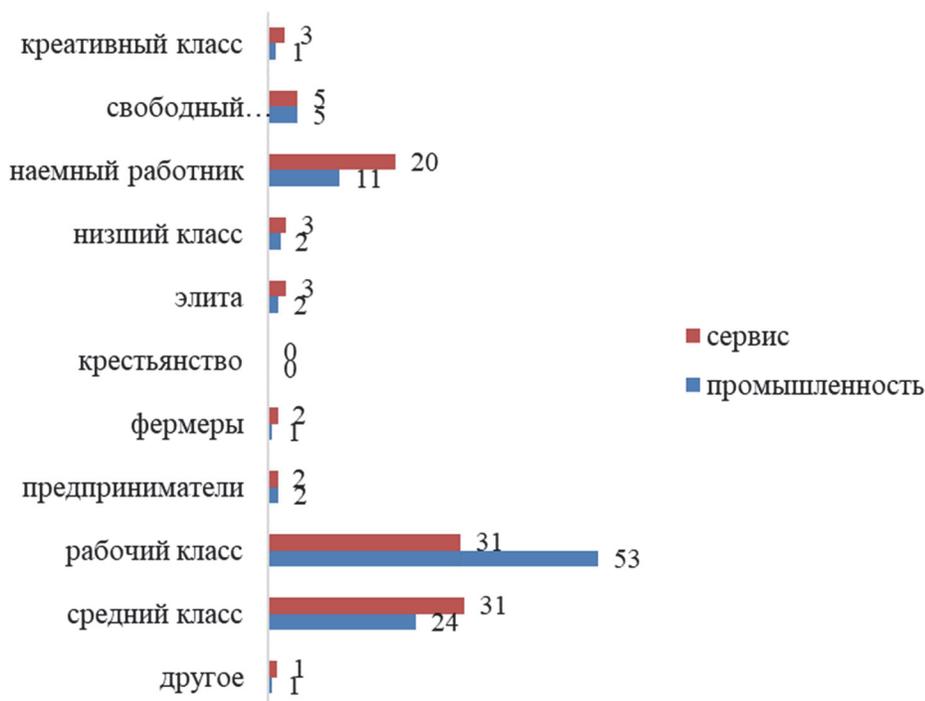


Рис. 3. Социальная идентичность молодежи (в %)

Наблюдаются и значимые возрастные различия классовой идентификации (Рис. 4). Идентификация с рабочим классом усиливается по мере взросления: старшая возрастная группа достаточно четко идентифицирует себя с большой социальной группой — рабочим классом, подтверждая сохраняющуюся значимость идентификации с рабочим классом для значительной части рабочей молодежи.

Коллективное самоопределение в качестве класса — ментальная конструкция, и если она отсутствует в массовом сознании, из общественного дискурса понятие «рабочий класс» исчезает. Российские ученые одним из важнейших критериев определения границ рабочего класса считают субъективные оценки [11; 20; 23]. «В США и Великобритании численность “субъективного” рабочего класса превышает долю “объективного”. В Германии численное соотношение “субъективного” и “объективного” рабочего класса

примерно одинаково... В США и Великобритании, где доля материального производства меньше, чем в Германии, степень идентификации опрошенных с рабочим классом выше, чем в Германии» [6. С. 40–41]. В России соотношение объективного и субъективного рабочего класса пока не выявлена.

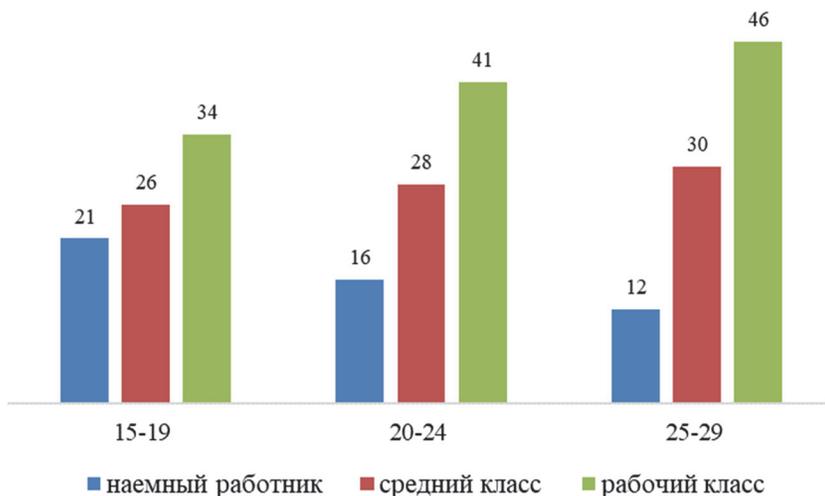


Рис. 4. Социальная идентичность молодежи разных когорт (в %)

Субъективная идентификация молодежи измерялась в нашем исследовании через оценки разных сторон и качеств положения рабочего класса в обществе. Оценки молодежи можно сравнить с оценками их руководителей — экспертов (Рис. 5). Признаки неустойчивой, фрагментарной классовой идентичности наглядно демонстрирует отношение молодежи к собственному классу и представителям других социальных общностей. Подавляющее большинство молодежи демонстрирует уважительное отношение к промышленным рабочим (78%), что является косвенным свидетельством позитивной идентификации с собственным классом.

Таким образом, у российской рабочей молодежи постепенно формируется классовая идентичность, и в ближайшем будущем она может занять важное место в структуре базовых социальных идентичностей. Процесс классовообразования сегодня не завершен, и классовая идентичность остается проблемной зоной в выборе жизненной стратегии. Незавершенность макроидентичности молодых рабочих промышленности и сервиса связана, в первую очередь, с отсутствием четких представлений о социальной структуре российского общества и отказом от употребления в общественном дискурсе понятия «класс». Дальнейшие исследования по проблемам классовообразования и классовой идентичности позволят дать адекватные ответы на вызовы, связанные с ростом социальной неопределенности и неравенства, усилением классового антагонизма, а также помогут спрогнозировать негативные сценарии самореализации новых поколений и предотвратить маргинализацию социальных групп.

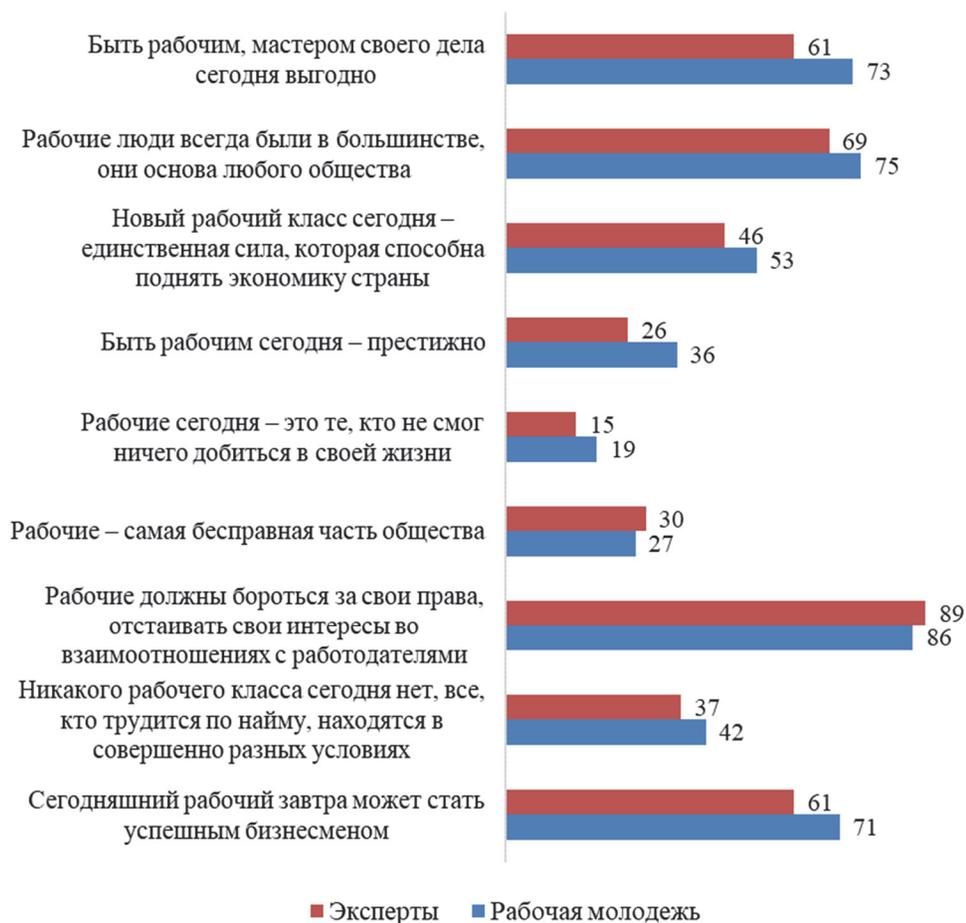


Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Выразите согласие или несогласие с приведенными ниже утверждениями», вариант ответа «согласен» (в %)

Библиографический список

- [1] Барышникова И.В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе // Вестник ВГУ. Серия 7: Философия. 2020. № 2.
- [2] Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
- [3] Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М., 2011.
- [4] Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Статусные характеристики рабочих России // Социологические исследования. 2012. № 12.
- [5] Демидова Л. Сфера услуг России: трудный путь модернизации // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 2.
- [6] Жвйтиашвили А.Ш. Рабочий класс в постиндустриальном обществе // Социологические исследования. 2013. № 2.
- [7] Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса / Под. ред. Т.В. Гаврилюк. М., 2020.
- [8] Кастель Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда. СПб., 2009.
- [9] Коба С.М. Проблема идентификации макросоциальных групп российского общества // Идеи и идеалы. 2013. Т. 2. № 1.
- [10] Козырева П.М. Современная конфигурация идентификаций и роль доверия в ее формировании // Социологические исследования. 2008. № 8.

- [11] *Максимов Б.И.* Рабочие в реформируемой России: 1990-е — начало 2000-х годов. СПб., 2004.
- [12] *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. М., 1974.
- [13] *Митягина Е.В.* Классовая структура общества и рабочий класс: доводы в защиту и против // Вестник Нижегородского университета им. Е.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. № 1.
- [14] Молодежь нового рабочего класса современной России / Под. ред. Т.В. Гаврилюк. М., 2019.
- [15] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Жизненные планы российских студентов: ожидания и опасения в профессиональной сфере // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2014. № 2.
- [16] *Нарбут Н.П., Троцук И.В.* Ожидания и опасения российского студенчества в профессиональной сфере: результаты эмпирического проекта // Поиск. 2014. № 4.
- [17] Россия — новая социальная реальность: Богатые. Бедные. Средний класс / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2004.
- [18] Социальное пространство российских регионов / Под. ред. З.Т. Голенковой. М., 2017.
- [19] *Стэндинг Г.* Прекариат: новый опасный класс. М., 2014.
- [20] *Темницкий А.Л.* Рабочие реформируемой России как объект социологических исследований // Мир России. 2006. № 2.
- [21] *Тощенко Ж.Т.* Прекариат: от протокласса к новому классу. М., 2018.
- [22] Трудовые ресурсы // URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
- [23] *Трушков В.В.* Современный рабочий класс в зеркале статистики // Социологические исследования. 2002. № 2.
- [24] *Bondi L.* Locating identity politics // Place and the Politics of Identity. Ed. by M. Keith, S. Pile. L.–N.Y., 1993.
- [25] *Bottero W.* Class identities and the identity of class // Sociology. 2004. Vol. 38. No. 5.
- [26] *Brunt R.* The politics of identity // New Times. The Changing Face of Politics in the 1990s. Ed by S. Hall, M. Jacques. L., 1990.
- [27] *Charlesworth S.* Phenomenology of Working Class Experience. Cambridge, 2000.
- [28] *Clark T.N., Lipset S.M.* Are social classes dying? // International Sociology. 1991. Vol. 6. No. 4.
- [29] *Draut T.* Understanding the working class. URL: <https://www.demos.org/research/understanding-working-class>.
- [30] *Fiske J.* Power Plays. Power Works. L.–N.Y., 1993.
- [31] *Hancock A.-M.* When multiplication doesn't equal quick addition: Examining intersectionality as a research paradigm // Perspectives on Politics. 2007. Vol. 5. No. 1.
- [32] *Jensen B.* Reading Classes: On Culture and Classism in America. Cornell University Press, 2012.
- [33] *Metzgar J.* Nostalgia for the 30-year 'Century of the Common Man' // Journal of Working-Class Studies. 2016. Vol. 1. No. 1.
- [34] *Otis E.* Beyond the industrial paradigm: Market-embedded labor and the gender organization of global service work in China // American Sociological Review. 2008. No. 73.
- [35] *Pakulski J., Walters M.* The Death of Class. L., 1996.
- [36] *Payne G., Grew C.* Unpacking 'Class Ambivalence': Some conceptual and methodological issues in accessing class cultures // Sociology. 2005. Vol. 39. No. 5.
- [37] *Resnick S., Wolff R.* The diversity of class analyses: A critique of Erik Olin Wright and beyond // Critical Sociology. 2003. Vol. 29. No. 7.
- [38] *Rowell A.* Who Makes Up the Working Class? A State-by-State Look at America's Diverse Working Class // URL: <https://www.americanprogressaction.org/issues/economy/news/2018/07/06/170670/makes-working-class>.
- [39] *Savage M.* Class Analysis and Social Transformation. Buckingham, 2000.

- [40] *Savage M., Bagnall G., Longhurst B.* Ordinary, ambivalent and defensive: Class identities in the Northwest of England // *Sociology*. 2001. Vol. 35. No. 4.
- [41] *The Global Wealth Report 2018* // URL: <https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html>.
- [42] *Zweig M.* *The Working Class Majority: America's Best Kept Secret*. Ithaca, 2000.

Информация о финансировании

Статья выполнена при поддержке РФФ. Проект № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса современной России».

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-839-854

Class identity of the working-class youth in contemporary Russia*

V.V. Gavrilyuk, T.V. Gavrilyuk

Industrial University of Tyumen
Volodarskogo St., 38, Tyumen, 625000, Russia
(e-mail: gavriliuk@list.ru; tv_gavrilyuk@mail.ru)

Abstract. The article considers the social self-identification of the Russian working youth and its class identity. The relevance of the topic is due to the need to search for basic indicators of the identity of the working class in the post-industrial era as connected with the fundamental differences between wage labour in the service sectors from the labour of industrial workers. The article presents an overview of contemporary concepts of multiple and fragmented identity, outlines the main vectors of controversy in the debates on identification processes and identity politics in contemporary societies; describes the basic features of the identification of the working class in the post-industrial era — the nature and content of labour; ownership of property and participation in the management of the enterprise. The contemporary working class is defined as a nonhomogeneous entity with internal differentiation determined by such factors as the form of employment, sphere of employment, income level, lifestyle and cultural capital. The empirical part of the research was implemented in the Ural Federal District in 2018 based on the mass and expert surveys. The results of the study prove that there are active processes of class formation in the Russian society; therefore, we need to revive the class approach to the description of the social structure. More than 50% of young people from the traditional industrial working class still identify themselves as members of this social group, while the same applies only to every third worker of routine service; and identification with the middle class loses popularity. The empirical data show the paradoxical nature of the working-class thinking and the instability of its basic orientations. The contradictory assessments and statements of the respondents confirm the vagueness of their class consciousness and the instability of their class identity.

Key words: identity; working class; class consciousness; precariat; youth; working-class youth; wage labour

Funding

The research was supported by the Russian Science Foundation. Project No 17-78-20062 “Life strategies of the new working class youth in contemporary Russia”.

* © V.V. Gavrilyuk, T.V. Gavrilyuk, 2021

The article was submitted on 27.12.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

References

- [1] Baryshnikova I.V. Ponjatie identichnosti v sotsiologicheskom diskurse [The concept of identity in sociological discourse]. *Vestnik VGU. Seriya 7: Filosofija*. 2020; 2 (10). (In Russ.).
- [2] Beck U. *Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu* [Risk Society. Towards a New Modernity]. Moscow; 2000. (In Russ.).
- [3] Boltanski L., Chiapello E. *Novy dukh kapitalizma* [The New Spirit of Capitalism]. Moscow; 2011. (In Russ.).
- [4] Golenkova Z.T., Igitkhanjan E.D. Statusnye kharakteristiki rabochih Rossii [Status characteristics of workers in Russia]. *Sotsiologicheskie Issledovanija*. 2012; 12. (In Russ.).
- [5] Demidova L. Sfera uslug Rossii: trudny put modernizatsii [The service sphere in Russia: A difficult path of modernization]. *Mirovaja Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnoshenija*. 2008; 2. (In Russ.).
- [6] Zhvitiashvili A.Sh. Rabochy klass v postindustrialnom obshchestve [Working class in the post-industrial society]. *Sotsiologicheskie Issledovanija*. 2013; 2. (In Russ.).
- [7] *Zhiznennye strategii molodjzhi novogo rabocheho klassa* [Life Strategies of the New Working Class Youth]. Ed. by T.V. Gavrilyuk. Moscow; 2020. (In Russ.).
- [8] Castel R. *Metamorfozy sotsialnogo voprosa. Hronika naemnogo truda* [Metamorphosis of the Social Question. Chronicle of Wage Labor]. Saint Petersburg; 2009. (In Russ.).
- [9] Koba S.M. Problema identifikatsii makrosotsialnyh grupp rossijskogo obshchestva [Identification of macrosocial groups in the Russian society]. *Idei i Idealv*. 2013; 2 (1). (In Russ.).
- [10] Kozyreva P.M. Sovremennaja konfiguratsija identifikatsij i rol doverija v ee formirovanii [Contemporary configuration of identities and the role of trust in its formation]. *Sotsiologicheskie Issledovanija*. 2008; 8. (In Russ.).
- [11] Maksimov B.I. *Rabochie v reformiruemoj Rossii: 1990-e — nachalo 2000-h godov* [Workers in Reforming Russia: 1990s — early 2000s]. Saint Petersburg; 2004. (In Russ.).
- [12] Marx K. Ekonomicheskoe-filosofskie rukopisi 1844 goda [Economic and philosophic manuscripts of 1844]. Marx K., Engels F. *Sochineniya*. Vol. 42. Moscow; 1974. (In Russ.).
- [13] Mityagina E.V. Klassovaja struktura obshchestva i rabochy klass: dovody v zashhitu i protiv [The class structure of society and the working class: Arguments for and against]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. E.I. Lobachevskogo*. 2014; 1. (In Russ.).
- [14] *Molodezh novogo rabocheho klassa sovremennoj Rossii* [Youth of the New Working Class in Contemporary Russia]. Ed. by T.V. Gavrilyuk. Moscow; 2019. (In Russ.).
- [15] Narbut N.P., Trotsuk I.V. Zhiznennnye plany rossijskikh studentov: ozhidaniya i opaseniya v professionalnoy sfere [Life plans of Russian students: Expectations and fears in the professional sphere]. *RUDN Journal of Sociology*. 2014; 2. (In Russ.).
- [16] Narbut N.P., Trotsuk I.V. Ozhidaniya i opaseniya rossijskogo studenchestva v professionalnoy sfere: rezultaty empiricheskogo proekta [Hopes and fears of Russian students in the professional sphere: Results of the empirical project]. *Poisk*. 2014; 4. (In Russ.).
- [17] *Rossija — novaja sotsialnaja realnost: Bogatye. Bednye. Sredny klass* [Russia — New Social Reality: Rich. Poor. Middle Class]. Ed. by M.K. Gorshkov, N.E. Tikhonova. Moscow; 2004. (In Russ.).
- [18] *Sotsialnoe prostranstvo rossijskih regionov* [Social Space of Russian Regions]. Ed. by Z.T. Golenkova. Moscow; 2017. (In Russ.).
- [19] Standing G. *Prekariat: novy opasny klass* [The Precariat: The New Dangerous Class]. Moscow; 2014. (In Russ.).
- [20] Temnitsky A.L. Rabochie reformiruemoj Rossii kak ob`ekt sotsiologicheskikh issledovanij [Workers of reforming Russia as an object of sociological research]. *Mir Rossii*. 2006; 2. (In Russ.).
- [21] Toshchenko Zh.T. *Prekariat: ot protoklassa k novomu klassu*. [The Precariat: From a Protoclass to a New Class]. Moscow; 2018. (In Russ.).

- [22] Trudovye resursy [Labour resources]. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (In Russ.).
- [23] Trushkov V.V. Sovremenny rabochoy klass v zerkale statistiki [Contemporary working class in the mirror of statistics]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2002; 2. (In Russ.).
- [24] Bondi L. Locating identity politics. *Place and the Politics of Identity*. Ed. by M. Keith, S. Pile. London — New York; 1993.
- [25] Bottero W. Class identities and the identity of class. *Sociology*. 2004; 38 (5).
- [26] Brunt R. The politics of identity. *New Times. The Changing Face of Politics in the 1990s*. Ed by S. Hall, M. Jacques. London; 1990.
- [27] Charlesworth S. *Phenomenology of Working Class Experience*. Cambridge; 2000.
- [28] Clark T.N., Lipset S.M. Are social classes dying? *International Sociology*. 1991; 6 (4).
- [29] Draut T. Understanding the Working Class. URL: <https://www.demos.org/research/understanding-working-class>.
- [30] Fiske J. *Power Plays. Power Works*. London — New York; 1993.
- [31] Hancock A.-M. When multiplication doesn't equal quick addition: Examining intersectionality as a research paradigm. *Perspectives on Politics*. 2007; 5 (1).
- [32] Jensen B. *Reading Classes: On Culture and Classism in America*. Cornell University Press; 2012.
- [33] Metzgar J. Nostalgia for the 30-year 'Century of the Common Man'. *Journal of Working-Class Studies*. 2016; 1 (1).
- [34] Otis E. Beyond the industrial paradigm: Market-embedded labor and the gender organization of global service work in China. *American Sociological Review*. 2008; 73.
- [35] Pakulski J., Walters M. *The Death of Class*. London; 1996.
- [36] Payne G., Grew C. Unpacking 'Class Ambivalence': Some conceptual and methodological issues in accessing class cultures. *Sociology*. 2005; 39 (5).
- [37] Resnick S., Wolff R. The diversity of class analyses: A critique of Erik Olin Wright and beyond. *Critical Sociology*. 2003; 29 (7).
- [38] Rowell A. Who Makes Up the Working Class? A State-by-State Look at America's Diverse Working Class. URL: <https://www.americanprogressaction.org/issues/economy/news/2018/07/06/170670/makes-working-class>.
- [39] Savage M. *Class Analysis and Social Transformation*. Buckingham; 2000.
- [40] Savage M., Bagnall G., Longhurst B. Ordinary, ambivalent and defensive: Class identities in the Northwest of England. *Sociology*. 2001; 35 (4).
- [41] The Global Wealth Report 2018. URL: <https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html>.
- [42] Zweig M. *The Working Class Majority: America's Best Kept Secret*. Ithaca; 2000.



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-855-867

Партия «телевизора» против партии «Интернета»: как медиапотребление влияет на одобрение деятельности властей*

С.Г. Ушкин

Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия
ул. Б. Хмельницкого, 39а, Саранск, 430005, Россия
(e-mail: ushkinsergey@gmail.com)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности медиапотребления россиян, а также их отношение к политическим институтам (федеральным и региональным). Проведенный анкетный опрос населения Республики Мордовия был направлен на поиск корреляций между использованием тех или иных каналов информации, уровнем доверия к ним, а также одобрением деятельности органов власти. Исследование показало, что выбор традиционных (телевидение, газеты, журналы, радио) или новых (социальные сети, интернет-издания, телеграм-каналы) медиа достаточно четко сегментирует людей по политическим предпочтениям. Традиционные медиа (условно — партия «телевизора») чаще объединяют представителей старших когорт, проживающих в сельской местности и поддерживающих действующую власть. Новые медиа (условно — партия «Интернета») притягивают к себе преимущественно молодых людей, проживающих в городах, имеющих сравнительно высокий уровень образования и критично настроенных в отношении политических институтов. Потенциал примирения двух выделенных «партий» — в использовании коммуникативных возможностей личных связей (друзья, родственники, знакомые), где сегодня достаточно широко обсуждается текущая ситуация в стране и регионе. В целом результаты опроса фиксируют высокий уровень недоверия ко всем каналам получения информации, а также невысокий уровень одобрения властных структур. Ситуация в значительной степени усложняется коронавирусом кризисом: в условиях скепсиса по отношению к официальной информации появилось значительное число слухов, дискредитирующих политические институты, что в будущем может негативным образом отразиться на выборных кампаниях всех уровней.

Ключевые слова: медиа; медиапотребление; телевидение; Интернет; цифровизация; политические институты; власть

В российский научный и публицистический дискурс в последние десятилетия вошла метафора борьбы между партиями «холодильника» и «телевизора», где партия «холодильника» — группа, для которой важно материальное благосостояние, а партия «телевизора» — те, кто подвержен воздействию государственной пропаганды [17. С. 138]. Несколько позже к ним присоединилась и партия «Интернета» — объединяющая критически настроенных к

* © Ушкин С.Г., 2021

Статья поступила 24.01.2021 г. Статья принята к публикации 04.06.2021 г.

доминирующей идеологии граждан и фактически представляющая собой «пятое сословие» (которое следует за «четвертым» сословием, включающем прессу, реже — народные массы или пролетариат) [3. С. 133]. Социальные медиа способны «удовлетворять многие личные и общественные потребности, формировать социальные общности и регулировать их деятельность и социальные связи, а также появление правовых норм и юридической ответственности, регламентирующих как поведение отдельного пользователя, так и взаимодействие пользователей» [16. С. 19]. По охвату и влиянию они все больше приближаются к традиционным масс-медиа [4. С. 95; 14. С. 59].

Существует несколько точек зрения на взаимосвязь между медиапотреблением и политическим доверием. Например, результаты исследований в Дании, Израиле, Нидерландах, США и Швеции свидетельствуют об отсутствии здесь прямых зависимостей [20]. Ряд авторов полагает, что новостной контент формирует повестку дня, но не запускает процессы медиапрайминга, которые могли бы сказаться на поддержке действующей власти [19; 24]. Доверие к СМИ рассматривается как сложный многосоставной процесс, на который влияют доверие к выбранным темам, доверие к выбранным фактам, доверие к точности описания и доверие к журналистской оценке [22].

Российские ученые считают, что уровень доверия к медиа в нашем обществе невысок и в значительной степени коррелирует с недоверием к властным институтам [7. С. 285]. Во многом это связано с доминирующей в стране политической культурой и огосударствлением СМИ, которые представляют провластную точку зрения. Дефицит доверия к ним свидетельствует о снижении коммуникационной связи между обществом и государством, что выливается в поиск альтернативных источников информации, представленных преимущественно интернет-ресурсами. Данные компаративистских межстрановых исследований свидетельствуют, что скептицизм по отношению к гражданским и политическим институтам — распространенное явление в посткоммунистических государствах [25]. Причина — в негативном опыте сложных экономических, политических и социальных трансформаций, который потребовал от людей осторожности в любых отношениях [21].

Важный сдвиг в структуре медиапотребления произошел в связи с пандемией коронавируса: многие люди «практически все свое время были вынуждены проводить дома, и далеко не все находились в режиме удаленной работы» [8. С. 567]. Различные данные указывают на то, что в течение 2020 года наблюдался рост общего телерейтинга и особенно документальных программ, социально-политических передач и новостей [13], а также увеличение времяпрепровождения в виртуальных социальных сетях [11]. Соответственно, можно говорить о росте сторонников условных партий «телевидения» и «Интернета», что может отразиться и на доверии политическим институтам, и на реальной поддержке политиков в выборных кампаниях всех уровней.

В то же время нельзя не отметить, что в условиях длительного переживания тревоги и неопределенности, связанных с эпидемиологической угрозой,

на фоне недоверия официальным медиа, люди восполняли дефицит информации конспирологическими теориями [6. С. 430]. Исследователи нашли 167 микросюжетов слухов (включая 68 клишированных рассылок), циркулирующих в российском сегменте социальных медиа в период с 1 февраля по 11 августа 2020 года, и это лишь видимая часть инфодемических нарративов [1. С. 242]. Их репертуар разнится от псевдомедицинских советов до отрицания эпидемиологической опасности, но значительная их часть в той или иной степени дискредитирует институты власти.

Статья базируется на результатах социологического опроса, проведенного в Республике Мордовия в марте 2020 года сотрудниками Научного центра социально-экономического мониторинга. Традиционный опрос был дополнен данными CAWI опроса (компьютерного веб-интервью), реализованного на платформе Google Forms. Всего в исследовании приняли участие 1000 респондентов. Выборка — квотная, репрезентирует половозрастную структуру и расселение жителей региона старше 18 лет. Структура потребления источников информации рассматривалась при помощи вопроса «Откуда Вы чаще всего узнаете новости о стране/республике?», где можно было выбрать все возможные варианты ответов и/или предложить свой. Уровень доверия к источникам информации оценивался при помощи вопроса «Каким источником информации Вы доверяете больше всего в освещении новостей о стране/республике?», где можно было выбрать не более трех ответов. Уровень одобрения деятельности федеральных и республиканских органов власти оценивался при помощи закрытого вопроса «Как Вы оцениваете деятельность органов власти за последние два-три года?» (порядковая шкала удовлетворенности). Дополнительно уровень доверия к республиканским органам власти уточнялся при помощи вопроса «Какое отношение, по Вашему мнению, преобладает у граждан к властям республики?» (порядковая шкала удовлетворенности). На первом этапе была применена процедура многомерного шкалирования — как альтернатива факторному и компонентному анализу [5. С. 929]. Ее основным преимуществом является наглядное (визуальное) сравнение объектов на основе статистического поиска различий между ними [9. С. 332].

Итак, структура источников информации о России представлена на Рисунке 1. На правом полюсе шкалы 1 располагаются телевидение, интернет-издания, социальные сети, друзья, родные и соседи, на противоположном — газеты, радио, журналы и телеграм-каналы. Это измерение дифференцирует источники информации по их популярности. На положительном полюсе шкалы 2 располагаются социальные сети, интернет-издания, телеграм-каналы, друзья, родные и соседи, на отрицательном — телевидение, газеты, радио и журналы. Это измерение разделяет источники информации по направленности: положительный полюс — горизонтальные медиа (дополненные «сарафанным радио») со свойственным им плюрализмом мнений, отрицательный — вертикальные, повестка дня которых монополизирована государством.



Рис. 1. Источники получения новостей о России

Структура потребления новостей о Мордовии, представленная на Рисунке 2, практически не отличается от структуры потребления новостей о России. Исключение — смещение интернет-изданий по шкале 1 влево, а газет, напротив, вправо. Предположительно, это свидетельствует о том, что в Мордовии наблюдается дефицит качественных интернет-изданий, пишущих о региональных проблемах, а газеты покупают или выписывают, чтобы быть в курсе новостей своего района или республики в целом. Проникновение Интернета в регионе еще недостаточное, особенно в сельских районах и среди старших когорт, поэтому издания о жизни Мордовии в целом и ее муниципальных районов в частности в ближайшее время останутся перспективными читательскими нишами, несмотря на наметившийся тренд их вывода на онлайн-площадки.

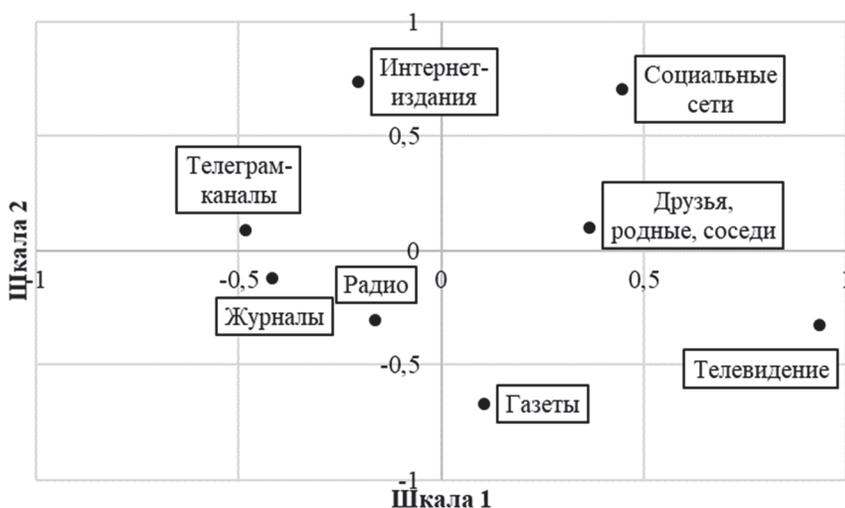


Рис. 2. Источники получения новостей о Мордовии

На втором этапе исследования были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на потребление новостей из тех или иных источников, — построены парные корреляции с независимыми переменными (пол, возраст, место проживания, уровень образования) и зависимыми (одобрение деятельности федеральных и республиканских органов власти и преобладающее отношение граждан к властям республики (табл. 1). Использование тех или иных источников информации о России и Мордовии определяется, в первую очередь, возрастом, местом проживания и уровнем образования. В ряде случаев фиксируется взаимосвязь между потреблением новостного контента и отношением к органам власти: те, кто использует традиционные медиа, положительно оценивают деятельность федеральных и региональных политиков, преимущественно доверяя последним; использование новых медиа слабее коррелирует с одобрением власти и доверием к ней, что согласуется с данными других исследований [23. С. 88].

На третьем этапе исследования была выявлена взаимосвязь между потреблением информации из различных источников и доверием к ним (табл. 2–3).

Таблицы 2 и 3 демонстрируют высокую корреляцию между потреблением информации из предпочтительных для респондентов источников и доверием к ним. Например, те, кто предпочитает смотреть телевизор, доверяют новостям, которые там транслируются. Самые сильные корреляции такого рода фиксируются при чтении газет, самые слабые — при получении информации от друзей, родных, знакомых и из журналов. В перспективе можно ожидать усиления поляризации между потребителями традиционных и новых медиа, особенно по мере поколенческих сдвигов [27]. Как правило, просмотр телевидения располагает к доверию газетам, радио и журналам, чтение интернет-изданий — социальным сетям, телеграм-каналам и друзьям, родным, знакомым; использование социальных сетей — интернет-изданиям, телеграм-каналам и друзьям, родным, знакомым; получение информации от друзей, знакомых, родственников — радио и журналам; чтение газет — телевидению, радио и журналам; прослушивание радио — газетам и журналам; чтение журналов — газетам; просмотр телеграм-каналов — интернет-изданиям и социальным сетям. Для наглядности построен граф, где узлами выступают источники информации, а ребрами — доверие между ними (рис. 3).

Рисунок 3 показывает, что доверие новостям зависит от предпочтения традиционных или новых средств массовой информации. Своеобразным связующим звеном являются друзья, родные и соседи: вероятно, информация, получаемая от ближнего круга, поступает туда из разных источников, что опосредует не самый высокий уровень доверия к его членам. При этом ближний круг играет роль своеобразного буфера, где соотносятся (часто противоречивые) данные, поступающие из традиционных и новых средств массовой информации. В этом отношении показательны и параметры недоверия: те, кто смотрят телевизор, с недоверием относятся к информации от друзей, родных, соседей, из социальных сетей и телеграм-каналов; читают интернет-издания,

просматривают социальные сети или телеграм-каналы — к телевидению; читают газеты — к телеграм-каналам (рис. 4). Центром притяжения недоверия выступает телевидение: не верят новостям на телеканалах пользователи интернет-изданий, социальных сетей, телеграм-каналов, а также те, кто узнает информацию от друзей, родных, соседей.

Таблица 1

Коэффициенты корреляции потребления новостей из разных источников в зависимости от социально-демографических характеристик и отношения к органам власти

Источник информации	Переменные						
	Пол	Возраст	Место проживания	Образование	Одобрение федеральной власти	Одобрение республиканской власти	Отношение к республиканской власти
Новости о России							
Телевидение	0,096**	0,249**	0,120**	-0,045	-0,163**	-0,132**	-0,154**
Интернет-издания	-0,010	-0,126**	-0,090**	0,160**	0,116**	0,063	0,039
Социальные сети	-0,007	-0,306**	0,000	0,117**	0,128**	0,068	0,026
Друзья, родные, соседи	-0,007	-0,025	-0,051	-0,098**	0,194**	0,135**	0,134**
Газеты	0,069*	0,192**	0,147**	0,033	-0,140**	-0,157**	-0,162**
Радио	-0,094**	0,027	0,008	0,067*	0,039	0,012	-0,027
Журналы	-0,004	0,042	0,021	-0,008	-0,025	-0,041	-0,009
Телеграм-каналы	-0,006	-0,186**	-0,120**	0,051	0,091*	0,049	0,019
Не интересуюсь	-0,016	-0,111**	-0,065*	-0,002	-0,002	0,008	0,044
Новости о Мордовии							
Телевидение	0,057	0,281**	0,090**	-0,033	-0,154**	-0,162**	-0,142**
Интернет-издания	-0,003	-0,135**	-0,080*	0,168**	0,081*	0,028	0,020
Социальные сети	-0,010	-0,306**	-0,010	0,100**	0,102**	0,079*	0,023
Друзья, родные, соседи	-0,013	-0,007	-0,065*	-0,101**	0,230**	0,214**	0,168**
Газеты	0,060	0,220**	0,170**	0,066*	-0,129**	-0,163**	-0,175**
Радио	-0,061	0,050	-0,021	0,048	0,012	-0,015	-0,050
Журналы	0,042	0,001	-0,17	-0,008	-0,003	-0,002	-0,038
Телеграм-каналы	-0,004	-0,077*	-0,075*	0,027	0,070*	0,039	0,042
Не интересуюсь	-0,021	-0,117**	-0,030	-0,017	0,047	0,049	0,051

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

Таблица 2

Коэффициенты корреляции потребления новостей из различных источников и доверия к ним (общероссийский контент)

Источник	Доверие к источнику							
	Телевидение	Интернет-издания	Социальные сети	Друзья, родные, соседи	Газеты	Радио	Журналы	Телеграм
Телевидение	0,435**	-0,014	-0,044	-0,049	0,236**	0,066*	0,098**	-0,089**
Интернет-издания	-0,054	0,480**	0,190**	0,086**	-0,001	0,043	0,020	0,097**
Социальные сети	-0,089**	0,107**	0,401**	0,141**	-0,037	0,047	0,030	0,112**
Друзья, родные, соседи	0,020	0,009	0,045	0,259**	0,060	0,134**	0,089**	0,060
Газеты	0,214**	0,025	0,028	0,018	0,514**	0,126**	0,100**	-0,064*
Радио	0,056	0,027	0,022	-0,024	0,110**	0,377**	0,050	0,053
Журналы	-0,008	-0,029	-0,003	0,024	0,086**	0,054	0,254**	-0,028
Телеграм-каналы	-0,119**	0,081*	0,122**	0,043	-0,039	0,019	0,010	0,441**

Таблица 3

Коэффициенты корреляции потребления новостей из различных источников и доверия к ним (региональный контент)

Источник	Доверие к источнику							
	Телевидение	Интернет-издания	Социальные сети	Друзья, родные, соседи	Газеты	Радио	Журналы	Телеграм-каналы
Телевидение	0,450**	-0,048	-0,092**	-0,085**	0,229**	0,096**	0,067*	-0,041
Интернет-издания	-0,097**	0,443**	0,190**	0,032	-0,017	0,025	0,025	0,086**
Социальные сети	-0,098**	0,102**	0,387**	0,087**	-0,057	0,005	-0,026	0,076*
Друзья, родные, соседи	-0,034	0,014	0,029	0,294**	0,076*	0,080*	0,022	0,076*
Газеты	0,176**	-0,030	-0,015	-0,020	0,506**	0,190**	0,115**	-0,035
Радио	0,062	-0,010	-0,019	-0,013	0,157**	0,340**	0,092**	0,019
Журналы	0,026	0,000	0,018	0,016	0,113**	0,015	0,141**	-0,017
Телеграм-каналы	-0,086**	0,079*	0,106**	0,007	-0,030	-0,004	0,039	0,395**



Рис. 3. Доверие между источниками информации

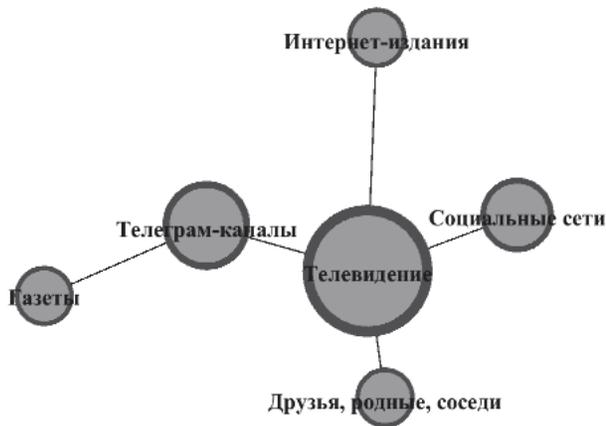


Рис. 4. Недоверие между разными источниками информации

На четвертом этапе исследования были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на доверие источникам информации (табл. 4). Как и в случае с их выбором, наблюдается достаточно устойчивая тенденция: доверие телевидению и газетам коррелирует с одобрением власти. Доверие интернет-изданиям и социальным сетям практически не связано с одобрением власти (намечается слабая негативная связь). Наиболее значимым фактором неодобрения власти и недоверия к ее институтам стало доверие к телеграмм-каналам, которые стали центром концентрации политического протеста и недовольства, но сегодня их использует и российский истеблишмент, что подтверждает его значимость как средства политической коммуникации [26].

Таким образом, респондентов, потребляющих новостной контент о событиях в России, можно разделить на четыре группы с устойчивыми взаимосвязями: телевидение; интернет-издания, социальные сети и друзья, родные, соседи; газеты, радио и журналы; телеграм-каналы. Распределение респондентов, потребляющих новостной контент о событиях в Мордовии, несколько иное: телевидение и газеты; социальные сети и друзья, родные, соседи; газеты, радио и журналы; интернет-издания и телеграм-каналы. На потребление новостного контента оказывают влияние возраст, место проживания и уровень образования: например, телепросмотр возрастает по мере старения и характерен для

сельской местности; использовать социальные сети и интернет-издания в большей степени склонны молодые люди с высоким уровнем образования, преимущественно жители городов и райцентров [12. С. 136–137].

Таблица 4

**Коэффициенты корреляции доверия к источникам информации
в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов
и их отношения к органам власти**

Источник	Пол	Возраст	Место проживания	Образование	Одобрение федеральной власти	Одобрение республиканской власти	Отношение к республиканской власти
Доверие к новостям о России							
Телевидение	0,064*	0,217**	0,140**	-0,032	-0,297**	-0,274**	-0,314**
Интернет-издания	-0,058	-0,105**	-0,070*	0,106**	0,042	0,014	0,008
Социальные сети	-0,038	-0,199**	-0,013	0,021	0,106**	0,073*	0,038
Друзья, родные, соседи	-0,067*	0,059	0,038	-0,016	0,078*	0,082*	0,051
Газеты	0,058	0,181**	0,174**	0,028	-0,172**	-0,161**	-0,180**
Радио	-0,027	0,085**	0,020	-0,014	0,030	-0,008	-0,018
Журналы	0,044	0,045	0,011	-0,078*	-0,060	-0,042	-0,058
Телеграм-каналы	-0,015	-0,171**	-0,112**	0,031	0,138**	0,099**	0,077*
Не доверяю никому	0,013	-0,037	-0,073*	0,003	0,190**	0,159**	0,180**
Доверие к новостям о Мордовии							
Телевидение	0,068*	0,222**	0,162**	-0,016	-0,268**	-0,296**	-0,316**
Интернет-издания	-0,067*	-0,100**	-0,57	0,128**	0,028	0,002	-0,007
Социальные сети	-0,043	-0,197**	-0,38	0,018	0,081*	0,066	0,021
Друзья, родные, соседи	-0,025	0,025	0,015	-0,022	0,070	0,057	0,037
Газеты	0,031	0,191**	0,188**	-0,122**	-0,218**	-0,191**	-0,197**
Радио	-0,041	0,096**	0,032	-0,002	0,002	-0,019	-0,012
Журналы	0,007	0,021	0,031	-0,051	-0,047	-0,045	-0,026
Телеграм-каналы	-0,022	-0,110**	-0,061	0,042	0,092*	0,053	0,090**
Не доверяю никому	0,007	-0,047	-0,059	0,002	0,204**	0,168**	0,184**

Доверие к новостному контенту зависит от источника, который респондент указал в качестве приоритетного: например, те, кто смотрят телевидение, с высокой долей вероятности доверяют ему. Такая ситуация наблюдается по всем источникам информации, что свидетельствует об устойчивости медиапредпочтений: «каждый живет в своем коконе, или, как мы говорим сегодня, в собственной “эхокамере”, читая только ту прессу и смотря только тот канал, который подтверждает его картину мира» [18. С. 63].

По уровню доверия можно выделить две полярные группы: традиционные и новые медиа. Мостиком между ними выступают друзья, родные, соседи, однако через них транслируется преимущественно альтернативная, в некоторой степени дискредитирующая органы власти информация. Обобщенный портрет тех, кто доверяет традиционным медиа, таков: преимущественно представители старших когорт, проживающие в сельской местности и доверяющие действующей власти (условная партия «телевизора»). Те, кто доверяет новым медиа, — как правило, молодые люди, проживающие в городе и обычно имеющие высшее образование (более критичны по отношению к политическим институтам, в меньшей степени склонны им доверять). Например, пользователи региональных пабликов в социальных сетях ориентированы на освещение негативных сторон жизни, описание экономических, миграционных и жилищно-коммунальных проблем [10. С. 27]. Впрочем, их реальный протестный потенциал, судя по нашим исследованиям, невысок [15. С. 87] (условная партия «Интернета»).

Вероятно, дихотомия «традиционные–новые» медиа отражает конфликт отцов и детей в контексте технологической революции [2. С. 9]. Молодые люди, или «аборигены цифровой цивилизации», воспринимают виртуальную среду как нечто естественное, разрозненной информации в которой при должном подходе можно доверять. Представители старших поколений опасаются виртуального пространства, предпочитают доверять традиционным, проверенным временем каналам информации. Безусловно, некоторые люди получают информацию в равной степени из двух наиболее популярных источников — телевидения и Интернета, и в этом смысле их можно назвать условными «центристами» между партией «телевидения» (лояльная к действующей власти аудитория) и партией «Интернета» (критически настроенная аудитория).

Библиографический список

- [1] *Архипова А.С., Радченко Д.А., Козлова И.В., Пейгин Б.С., Гаврилова М.В., Петров Н.В.* Пути российской инфодемии: от WhatsApp до Следственного комитета // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6.
- [2] *Бойд В.* Все сложно. Жизнь подростков в социальных сетях. М., 2020.
- [3] *Джессон Б.* Государство: прошлое, настоящее и будущее. М., 2019.
- [4] *Дукин Р.А., Фадеева И.М.* Информационная активность региона в медиaprостранстве // Регионология. 2015. Т. 25. № 3.

- [5] *Костенко С.А.* Технология применения многомерного шкалирования и кластерного анализа // *Фундаментальные исследования*. 2012. № 11.
- [6] *Макушева М.О., Нестик Т.А.* Социально-психологические предпосылки и эффекты доверия социальным институтам в условиях пандемии // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2020. № 6.
- [7] *Назаров М.М., Иванов В.Н., Кублицкая Е.А.* Медиа, институты и доверие российских граждан // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2019. Т. 19. № 2.
- [8] *Назаров М.М., Иванов В.Н., Кублицкая Е.А.* Медиапотребление в возрастных когортах: ТВ и Интернет // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2020. Т. 20. № 3.
- [9] *Наследов А.Д.* SPSS 19: профессиональный статистический анализ данных. СПб., 2011.
- [10] *Пакишина И.А.* Исследование городской идентичности в интернет-сообществах (по результатам качественного анализа) // *Научный результат. Социология и управление*. 2020. Т. 6. № 2.
- [11] Почти половина россиян стали проводить больше времени в соцсетях // URL: <https://rg.ru/2020/05/28/pochti-polovina-rossiianstali-provodit-bolshe-vremeni-v-socsetiah.html>.
- [12] *Радаев В.В.* Миллениалы: как меняется российское общество. М., 2019.
- [13] Телеаудитория выросла на четверть в апреле 2020 // URL: <https://mediascope.net/news/1139341>.
- [14] *Ушкин С.Г.* Кофейни, джентльменские клубы и социальные сети, или где сегодня формируется общественное мнение // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2017. № 6.
- [15] *Ушкин С.Г.* Новая виртуальная оппозиция: кто она? // *Социологические исследования*. 2012. № 9.
- [16] *Щекотуров А.В.* Социальные медиа: становление нового макдональдизированного института // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2020. Т. 20. № 1.
- [17] *Щербак А.Н., Смирнова Д.О., Озернова Е.П., Лепешко Е.В., Купка А.П., Калинин А.Н.* Холодильник vs. телевизор? Экономическое голосование на выборах в Государственную Думу РФ 2016 г. // *Вестник Пермского университета. Серия: Политология*. 2017. № 3.
- [18] *Юдин Г.Б.* Общественное мнение, или власть цифр. СПб., 2020.
- [19] *Althaus S.L., Kim Y.M.* Priming effects in complex information environments: Reassessing the impact of news discourse on Presidential approval // *Journal of Politics*. 2006. Vol. 68. No. 4.
- [20] *Ariely G.* Does commercialized political coverage undermine political trust? Evidence across European countries // *Journal of Broadcasting & Electronic Media*. 2015. Vol. 59. No. 3.
- [21] *Delhey J., Newton K., Welzel C.* How general is trust in “most people”? Solving the radius of trust problem // *American Sociological Review*. 2011. Vol. 76. No. 5.
- [22] *Kohring M., Matthes J.* Trust in news media: Development and validation of a multidimensional scale // *Communication Research*. 2007. Vol. 34. No. 2.
- [23] *Malkina M.Y., Ovchinnikov V.N., Kholodilin K.A.* Changing fortunes and attitudes: What determines the political trust in modern Russia? // *Oeconomia Copernicana*. 2021. Vol. 12. No. 1.
- [24] *Miller J.M., Krosnick J.A.* News media impact on the ingredients of Presidential evaluations: Politically knowledgeable citizens are guided by a trusted source // *American Journal of Political Science*. 2000. Vol. 44. No. 2.
- [25] *Mishler W., Rose R.* What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies // *Comparative Political Studies*. 2001. Vol. 34. No. 1.
- [26] *Salikov A.* Telegram as a means of political communication and its use by Russia’s ruling elite // *Politologija*. 2019. Vol. 95. No. 3.
- [27] *Towner T., Munoz C.L.* Boomers versus millennials: Online media influence on media performance and candidate evaluations // *Social Sciences*. 2016. Vol. 5. No. 4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-855-867

TV versus Internet: How media consumption affects the approval of the authorities*

S.G. Ushkin

Scientific Center for Social-Economic Monitoring of the Republic of Mordovia
B. Khmelniisky St., 39a, Saransk, 430005, Russia
(e-mail: ushkinsergey@gmail.com)

Abstract. The article considers the features of the Russians' media consumption and their attitudes to political institutions (federal and regional). The survey of the population of the Republic of Mordovia aimed at finding correlations between the use of certain information channels, the level of trust in them, and the approval of the authorities. The study showed that the choice of traditional media (television, newspapers, magazines, radio) or new media (social networks, Internet websites, telegram channels) divides people into groups according to their political preferences. Traditional media (conditionally the "TV" party) tend to unite representatives of older cohorts living in rural areas and supporting the government. New media (conditionally the "Internet" party) tend to attract mainly young people living in cities, having a relatively high level of education and being critical of political institutions. The author believes that there is a potential for reconciliation of these two 'parties' — in the communicative possibilities of personal connections (friends, relatives, acquaintances), because the close social circle seems to provide grounds for discussing the current situation in the country and the region. The results of the survey show a high level of distrust to all information channels and a low level of approval of the authorities. The situation is aggravated by the coronavirus crisis: skepticism about official information determined a significant number of rumors discrediting political institutions, which in the future may negatively affect election campaigns at all levels.

Key words: media; media consumption; television; Internet; digitalization; political institutions; power

References

- [1] Arkhipova A.S., Radchenko D.A., Kozlova I.V., Peigin B.S., Gavrilova M.V., Petrov N.V. Puti rossijskoj infodemii: ot WhatsApp do Sledstvennogo komiteta [Specifics of the infodemic in Russia: From WhatsApp to the Investigative Committee]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2020; 6. (In Russ.).
- [2] Boyd D. *Vse slozhno. Zhizn podrostkov v sotsialnyh setjah* [It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens]. Moscow; 2020. (In Russ.).
- [3] Jessop B. *Gosudarstvo: proshloe, nastojashhee i budushhee* [The State: Past, Present, Future]. Moscow; 2019. (In Russ.).
- [4] Dukin R.A., Fadeeva I.M. Informatsionnaja aktivnost regiona v mediaprostranstve [Information activities of the region in the media space]. *Regionologiya*. 2015; 25 (3). (In Russ.).
- [5] Kostenko S.A. Tehnologija primenenija mnogomernogo shkalirovaniya i klasternogo analiza [Techniques of multidimensional scaling and cluster analysis]. *Fundamentalnye Issledovaniya*. 2012; 11. (In Russ.).
- [6] Makusheva M.O., Nestik T.A. Sotsialno-psikhologicheskie predposylki i efekty doverija sotsialnym institutam v uslovijah pandemii [Social-psychological preconditions and effects

* © S.G. Ushkin, 2021

The article was submitted on 24.01.2021. The article was accepted on 04.06.2021.

- of trust in social institutions under the pandemic]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2020; 6. (In Russ.).
- [7] Nazarov M.M., Ivanov V.N., Kublitskaya E.A. Media, instituty i doverie rossijskikh grazhdan [Media, institutions, and the Russians' trust]. *RUDN Journal of Sociology*. 2019; 19 (2). (In Russ.).
- [8] Nazarov M.M., Ivanov V.N., Kublitskaya E.A. Mediapotreblenie v vozrastnykh kogortah: TV i Internet [Media consumption of different cohorts: TV and Internet]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (3). (In Russ.).
- [9] Nasledov A.D. *SPSS 19: professionalny statistichesky analiz dannyh* [SPSS 19: Professional Statistical Data Analysis]. Saint Petersburg; 2011. (In Russ.).
- [10] Pakshina I.A. Issledovanie gorodskoj identichnosti v internet-soobshhestvah (po rezuleatam kachestvennogo analiza) [The study of the urban identity in online communities (based on the results of the qualitative analysis)]. *Nauchny Rezultat. Sotsiologiya i Upravlenie*. 2020; 6 (2). (In Russ.).
- [11] Pochti polovina rossiyan stali provodit bolshe vremeni v sotssetjah [Almost a half of Russians spend more time on social networks]. URL: <https://rg.ru/2020/05/28/pochti-polovina-rossiianstali-provodit-bolshe-vremeni-v-socsetiah.html>. (In Russ.).
- [12] Radaev V.V. *Millenialy: kak menjaetsja rossijskoe obshhestvo* [Millennials: How the Russian Society Changes]. Moscow; 2019. (In Russ.).
- [13] Teleauditorija vyrosla na chetvert v aprele 2020 [TV audience increased by a quarter in April 2020]. URL: <https://mediascope.net/news/1139341>. (In Russ.).
- [14] Ushkin S.G. Kofejni, dzhentlmenskie kluby i sotsialnye seti, ili gde segodnja formiruetsja obshhestvennoe mnenie [Coffee houses, gentlemen clubs and social networks, or where the public opinion is formed today]. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny*. 2017; 6. (In Russ.).
- [15] Ushkin S.G. Novaja virtualnaja oppozitsija: kto ona? [New virtual opposition: What is it?]. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*. 2012; 9. (In Russ.).
- [16] Shchekoturov A.V. Sotsialnye media: stanovlenie novogo makdonaldizirovannogo instituta [Social media: The development of a new McDonaldized institution]. *RUDN Journal of Sociology*. 2020; 20 (1). (In Russ.).
- [17] Shherbak A.N., Smirnova D.O., Ozernova E.P., Lepeshko E.V., Kupka A.P., Kalinin A.N. Holodilnik vs. televizor? Ekonomicheskoe golosovanie na vyborah v Gosudarstvennuju Dumu RF 2016 g. [Fridge vs. TV? Economic voting at the elections to the Russian State Duma in 2016]. *Vestnik Permskogo Universiteta. Seriya: Politologiya*. 2017; 3. (In Russ.).
- [18] Yudin G.B. *Obshhestvennoe mnenie, ili Vlast tsifr* [Public Opinion, or the Power of Numbers]. Saint Petersburg; 2020. (In Russ.).
- [19] Althaus S.L., Kim Y.M. Priming effects in complex information environments: Reassessing the impact of news discourse on Presidential approval. *Journal of Politics*. 2006; 68 (4).
- [20] Ariely G. Does commercialized political coverage undermine political trust? Evidence across European countries. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*. 2015; 59 (3).
- [21] Delhey J., Newton K., Welzel C. How general is trust in “most people”? Solving the radius of trust problem. *American Sociological Review*. 2011; 76 (5).
- [22] Kohring M., Matthes J. Trust in news media: Development and validation of a multidimensional scale. *Communication Research*. 2007; 34 (2).
- [23] Malkina M.Y., Ovchinnikov V.N., Kholodilin K.A. Changing fortunes and attitudes: What determines the political trust in modern Russia? *Oeconomia Copernicana*. 2021; 12 (1).
- [24] Miller J.M., Krosnick J.A. News media impact on the ingredients of Presidential evaluations: Politically knowledgeable citizens are guided by a trusted source. *American Journal of Political Science*. 2000; 44 (2).
- [25] Mishler W., Rose R. What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies. *Comparative Political Studies*. 2001; 34 (1).
- [26] Salikov A. Telegram as a means of political communication and its use by Russia's ruling elite. *Politologija*. 2019; 95 (3).
- [27] Towner T., Munoz C.L. Boomers versus millennials: Online media influence on media performance and candidate evaluations. *Social Sciences*. 2016; 5 (4).

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-868-880

Социальные представления арабской молодежи: факторы и тренды регионального развития*

В.И. Белов¹, Е.М. Савичева¹, Е.В. Харитонова²

¹Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

²Институт Африки РАН
ул. Спиридоновка, 30/1, Москва, Россия, 123001
(e-mail: savicheva@mail.ru; evh1956@mail.ru; vyou@yandex.ru)

Аннотация. В статье рассматривается ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (так называемая «афразийская дуга нестабильности») в контексте социальных представлений местной молодежи. На базе эмпирического исследования, проведенного по авторской методике, дана оценка представлений о наиболее значимых для эффективного социально-политического развития региона тенденций. В основу методики положен анализ 12 тенденций, определяющих региональное развитие на Арабском Востоке. Исследование позволило оценить социально-политический потенциал арабской молодежи как специфической и влиятельной демографической группы, готовой внести свой вклад в формирование повестки дня стран Арабского Востока. Представлен срез социальных предпочтений арабской молодежи относительно основных трендов регионального развития. Показано, что на арене политической борьбы молодежь не действует изолированно, ее устремления тесно переплетаются с национальными задачами; идет активный поиск путей выхода из экономического кризиса, укрепления национального суверенитета, обеспечения мира и безопасности. Все эти проблемы в последние годы актуализировались в регионе Ближнего Востока, где ряд стран решает сложные задачи преодоления разрушительного воздействия «арабской весны». В молодежной среде выявлены приоритетные запросы, связанные с востребованностью качественных правовых отношений, выработкой национальной идеи и обеспечением национальной безопасности путем укрепления военной силы и обладания оружием сдерживания. Одним из базовых предпочтений арабской молодежи является ориентация на сохранение суверенитета, снижение внешних влияний и создание сильного альянса ближневосточных государств. Сближение с ведущими мировыми державами и региональными объединениями (обозначенными как Запад, Восток и Россия) находится на периферии интересов арабской молодежи.

Ключевые слова: социальные представления; Арабский Восток; Северная Африка; молодежь; Россия; Запад; Восток; тренды развития

Арабский Восток представляет собой один из наиболее нестабильных регионов на планете [14]. Разыгравшаяся в восточном Средиземноморье борьба за энергоресурсы стала причиной усиления конкурентной борьбы ведущих

* © Белов В.И., Савичева Е.М., Харитонова Е.В., 2021

Статья поступила 23.12.2020 г. Статья принята к публикации 04.06.2021 г.

мировых и региональных держав за влияние и контроль над этим регионом. Арабский Восток — одна из ключевых зон столкновения интересов мировых стран-лидеров, и их влияние в регионе зависит от целого комплекса факторов: помимо экономических и военных факторов, следует учитывать социальные представления граждан о стратегических трендах развития своих государств. Какого партнера предпочтут страны Арабского Востока? Будет ли его влияние основано на силе, экономических интересах, дипломатических возможностях, или можно говорить о совпадении представлений о будущем развитии как факторе партнерства? Есть ли у России шанс усилить свое влияние в регионе?

Государства Ближнего Востока и Северной Африки находятся в ситуации глубокого кризиса, затронувшего экономическую, политическую, правовую и социальную сферы. Налицо конфликты во власти, коррупция, межконфессиональные противоречия, террористические и военные угрозы, рост преступности. Например, в Ливане за последние годы выросла преступность и в целом ухудшилась криминальная обстановка: среднее число ограблений с разбоем на 100 тысяч человек составило 6 при минимуме в 0 в 2008 году и максимуме в 40 — в 2015 [10]. В этих условиях так называемый «индекс счастья», включающий и субъективную составляющую, катастрофически падает, а в отдельных странах региона достигает исторического минимума. Так, «индекс счастья» в Ливане сделал в 2020 году резкий скачок вниз и достиг своего минимума за период с 2013 года [9; 13]. Молодежь в этих обстоятельствах является наиболее уязвимой категорией населения, поскольку уровень безработицы постоянно растет: за период с 1991 по 2020 годы среднее значение для Ливана составило 7,56% при минимуме в 6,14% в 2018 году и максимуме в 8,98% — в 2007 [8]. Уровень безработицы среди молодежи значительно превышает средние показатели уровня безработицы по стране: среди молодежи 15–24 лет за тот же период ее средний уровень составил 19,56% при минимуме в 17,27% в 2018 году и максимуме в 23,03% — в 2007 [7].

Правильное выстраивание отношений России со странами этого высокотурбулентного региона невозможно без понимания сути происходящих там процессов. Знание базовых социальных запросов граждан, прежде всего молодежи, их представлений о причинах кризиса и путях его преодоления, вероятных трендах развития, специфике их предпочтений в международном сотрудничестве может усилить конкурентоспособность России в арабском мире. Многие государства региона, оказавшись в сложном положении, встали перед судьбоносным выбором дальнейшего пути развития, включая внутреннюю и внешнюю политику, выбором наиболее приемлемого стратегического партнера. Задача России — делать правильные научно-обоснованные шаги, ориентируясь в том числе на знание коллективных представлений арабской молодежи. Объединяющим моментом для вовлеченной в политические процессы арабской молодежи, несмотря на различия в социально-политической ориентации государств, являются актуальные экономические, социальные и политические задачи — поиск выхода из экономического кризиса, укрепление национального суверенитета и поддержание мира.

Проблематика социальных представлений [11; 16] активно разрабатывается в российской и зарубежной социологии и социальной психологии [1; 2; 4; 5], но практически не представлена в отечественной арабистике, хотя имеет как теоретическое, так и практическое значение [6; 17]. Знание о том, в чем представители региона видят причины отставания своих стран, как они оценивают пути выхода из застоя и депрессии, каково их представление о надежном стратегическом партнере и, наоборот, какие шаги они считают малоэффективными и даже неприемлемыми, может стать необходимым условием и конкурентным преимуществом в налаживании деловых отношений со странами Арабского Востока.

В наиболее общем виде социальные представления определяются как совокупность сложившихся у человека (группы) установок, стереотипов, мнений, оценок других людей, объектов, фактов, явлений и событий. Изучение социальных представлений арабской молодежи позволит выстраивать грамотную и научно обоснованную внешнюю политику в регионе, а также даст возможность оказывать влияние на принятие решений в странах Арабского Востока в выборе стратегического партнера. Специфика нашего исследовательского подхода состояла в предварительном изучении основных проблемных зон в регионе и создании опросных листов, в которых отражены ключевые проблемы и тенденции регионального развития. Перечень региональных проблемных зон и тенденций развития прошел экспертную оценку специалистов, длительно проживающих в странах региона и знающих ситуацию «изнутри». В основу анкетирования положен анализ 12 региональных процессов и тенденций, определяющих особенности развития стран Арабского Востока. Выраженные предпочтения отражают позицию респондента относительно стратегической направленности развития ситуации в регионе, его мнение о причинах кризисного состояния и путях выхода из кризиса.

Эмпирическая база исследования — опрос проживающих в России представителей землячеств стран Арабского Востока и Северной Африки (Ливан, Сирия, Иордания, Тунис, Египет, Марокко) (N = 158; страновые различия не определялись). Были выделены 12 основных тенденций развития, включая вызовы для всего Арабского Востока. После ранжирования респондентами предложенных им 12 тенденций регионального развития были получены рейтинги, где на первых местах находятся предпочитаемые, а на последних — отвергаемые респондентами тренды. Основанием ранжирования служила значимость тенденций для решения задач выхода страны из экономического и политического тупика и достижения национальной безопасности и стабильности.

Респонденты ранжировали тенденции по 12 позициям в 5 опросных листах. Каждый лист задает респонденту новый вопрос: «Если бы я был президентом, что бы я сделал в первую очередь»; вопрос о путях спасения страны/региона; вопрос о том, при каких условиях возможен выход из кризиса; вопрос о вызовах безопасности страны/региона; выбор из 12 вариантов ответа на вопрос «Самое страшное, что сейчас происходит в стране». При составлении диаграмм и таблиц значение каждого показателя определялось в

процентах путем подсчета общего количества поданных за него голосов (например, сколько респондентов поставили его на первое место). При построении круговой диаграммы использовались частоты приписывания каждому фактору первого места в ранговом ряду. Полученные результаты представлены в виде круговой диаграммы (Рис. 1), Таблицы 1 и энниграмм (Рис. 2–5), показывающих предпочитаемые и отвергаемые тенденции регионального развития в разных социально-демографических и конфессиональных группах. Предпочтения респондентов представлены на Рисунке 1.

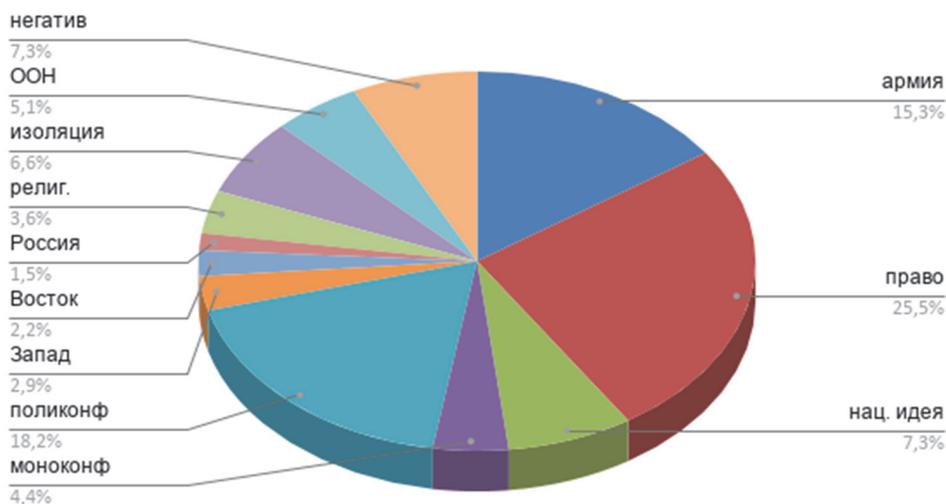


Рис. 1. Частоты выбора тенденции для первой ранговой позиции

Расшифровка использованных обозначений:

- Военная сила, милитаризация (армия)
- Законодательное пространство в стране/регионе (право)
- Национальная идея, патриотизм (нац. идея)
- Реализация религиозного проекта (религ)
- Межконфессиональное согласие, светское государство (поликонф)
- Развитие в рамках одной конфессии (моноконф)
- Интеграция со странами консолидированного Запада (Запад)
- Усиление взаимодействия с азиатскими государствами (Восток)
- Ориентация на комплексное сотрудничество с Россией (Россия)
- Суверенитет, альянс ближневосточных государств (изоляция)
- Ориентация на международное право (ООН)
- Комплексная негативная оценка (отсутствие безопасности, кризис в экономике, отсутствие перспектив для молодежи) (негатив)

Предпочтения респондентов распределились таким образом, что частота приписывания первого рейтингового значения выявила три наиболее значимые тенденции регионального развития (Табл. 1).

Первая тенденция — ориентация на закон, необходимость совершенствования правового пространства, преодоление колоссальной по масштабам коррупции (61%). Комментарии респондентов относительно правового поля государств Арабского Востока как условия развития и преодоления кризиса затрагивают широкий спектр вопросов: большинство респондентов

отмечают необходимость усиления власти внутри страны — реализацию принципа «закон и порядок», первоочередной задачей называют борьбу с коррупцией, отмечая, что «слабая и коррумпированная власть ведет страну к хаосу и экономическому развалу», и «только сильная власть президента и парламента может обеспечить национальную безопасность».

Таблица 1

Наиболее значимые тенденции регионального развития

	армия	нац. право	идея	моноконф	поликонф	Запад	Восток	Россия	религ.	изоляция	негатив ООН	
1. мес	15%	25%	7%	4%	18%	3%	2%	1%	4%	7%	5%	7%
2. мес	12%	20%	11%	4%	18%	1%	2%	5%	9%	8%	9%	1%
3. мес	7%	16%	12%	7%	14%	6%	3%	4%	1%	20%	9%	1%

Вторая по значимости тенденция — ориентация на межэтнический и межконфессиональный консенсус (поликонфессиональность), включая интраконфессиональное согласие между течениями ислама (18,2%), что предполагает отсутствие доминирующей конфессии и допускает строительство светского государства. Следует отметить, что уникальность региона (особенно в Ливане) состоит в проникновении конфессионализма во все сферы общества, и конфессиональная принадлежность продолжает доминировать над общенациональной идентичностью [3], что способно как консолидировать и мобилизовать общество, так и усилить конфликтный потенциал. При этом в Ливане серьезные политические силы выступают с критикой существующей конфессиональной системы, настаивая на необходимости построения современного светского государства с равными правами для всех граждан, независимо от их вероисповедания [15. С. 18]. Президент Ливана Мишель Аун призвал отказаться от конфессиональной системы формирования власти и превратить его в светское государство [12].

Третьей по значимости респонденты считают тенденцию милитаризации и доступа к оружию сдерживания, что отражает напряженную военно-политическую ситуацию в регионе, террористические угрозы, отсутствие безопасности (15,3%), особенно вследствие событий «арабской весны», в той или иной степени затронувших практически все страны региона.

Далее следуют национальная идея, патриотическое воспитание молодежи, потребность в жизненных целях и ориентирах (7,3%). В этой тенденции отражено соединение прошлого (уважение к традициям) и будущего (наличие целей, перспектив, «миссия»). Комплексная тенденция «гегатив» (7,3%) свидетельствует о выраженности установки на эмиграцию в связи с тупиковой ситуацией в стране/регионе, угрозой жизни и неспособностью обеспечить безопасность, а также в связи с отсутствием перспектив развития и самореализации. Эта установка в большей степени выражена в подгруппе

респондентов, не принадлежащих к мусульманской конфессии. Далее следует ориентация на изоляцию от внешних влияний, собственный путь развития, укрепление сотрудничества ближневосточных государств и сохранение государственного суверенитета (6,6%). Ориентация на международное право (5,1%), моноконфессиональное развитие (4,4%) и реализацию религиозного проекта (3,6%) имеют низкие значения, однако их показатели выше в мусульманской подгруппе.

Следующие три позиции касаются партнерства стран Арабского Востока с международными акторами — это страны Запада (2,9%), азиатские государства (2,2%) и Россия (1,5%); все занимают последние позиции, что свидетельствует об их низкой значимости для респондентов — они не рассматривают партнерство в качестве определяющего фактора регионального развития, ориентируясь на суверенитет и преодоление внешнего влияния.

Сравнительный анализ ответов возрастных подгрупп 17–29 лет и старше 30 лет (Рис. 3) показал, что наибольшие баллы получили право, поликонфессиональность и изоляция, и существенные различия прослеживаются при оценке респондентами ориентации на партнерство с Западом, Востоком и Россией — в группе старше 30 лет более выражена ориентация на сотрудничество с другими «центрами силы», помимо региональной консолидации, и роль России оценивается достаточно высоко. В старшей группе выше оценена ориентация на международные правовые институты (7,6 и 6,3 баллов, соответственно) и реализацию религиозного проекта (7 и 6,1). Комплексная негативная тенденция (отсутствие безопасности, патовая ситуация в экономике, отсутствие перспектив для молодежи) имеет низкие значения (1,3 и 2,8), что особенно выражено у респондентов старше 30 лет, и это понятно: молодежь — наиболее уязвимая часть социума в данном регионе, уровень безработицы среди молодежи значительно превышает средние показатели безработицы по странам.

При сравнении данных в конфессиональных группах (мусульмане и немусульмане) (Рис. 3) наиболее заметны различия в оценке тенденции «право»: она более значима для немусульманской подгруппы, что может быть косвенным свидетельством приоритета шариатского права над светским законодательством.

При общем низком показателе позиции «Запад» в группе респондентов-мусульман она ниже, а тенденция «негатив» значительно выше у немусульман (4 балла против 0), т.е. они в большей степени ориентированы на эмиграцию. Отметим комплексность восприятия данной тенденции респондентами. На вопрос, что может обеспечить национальную безопасность страны и региона, один из вариантов ответа был негативно-пессимистичен «вряд ли что-то может помочь, ситуация практически безнадежная»; в вопросе «Что спасет вашу страну/регион» предлагался ответ «уже ничего не спасет, регион и наша страна зашли в тупик»; по поводу экономического развития — вариант «экономике моей страны и региона ждет кризис или коллапс, и самое лучшее сейчас — уехать отсюда»; в вопросе «Как вы думаете, на что сейчас больше всего надеются молодые люди в вашей стране» — ответ «на эмиграцию, чтобы

жить и работать в развитой безопасной стране». В целом по выборке эти ответы занимают нижние позиции, но представления не-мусульман более пессимистичны, некоторые рассматривают вариант эмиграции, в то время как в мусульманской подгруппе значимость негативной тенденции как определяющей ситуацию в регионе стремится к нулю.

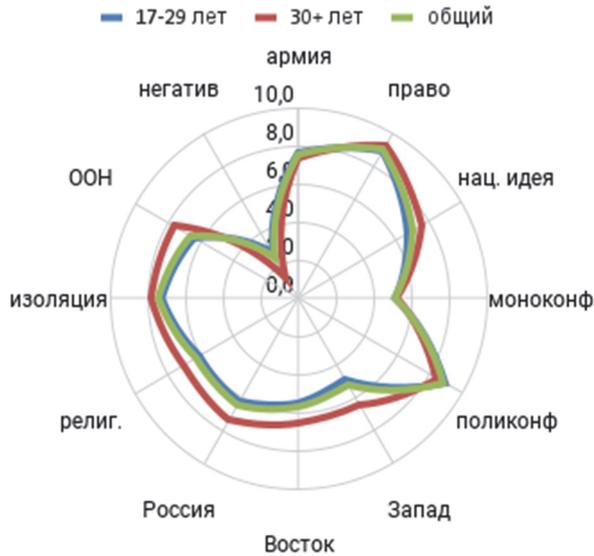


Рис. 2. Сравнительный анализ данных (в баллах) по возрастным подгруппам

- 9–12 — высокий уровень запроса на решение проблемы
- 5–8 — средний уровень запроса на решение проблемы
- 1–4 — низкий уровень запроса на решение проблемы
- 0 — проблема не решается



Рис. 3. Сравнительный анализ ответов конфессиональных подгрупп (в баллах)

Что касается позиции «моноконфессиональность», то у мусульман ее показатель выше, и речь идет об исламе. При этом респонденты-мусульмане в комментариях высказали мнение, что одним из факторов, тормозящих развитие стран Арабского Востока и представляющих серьезную угрозу, являются религиозные конфликты.

Наиболее близкие значения в мужской и женской подгруппах мусульман были получены по тенденциям «право», «Россия» и «изоляция» (Рис. 4).

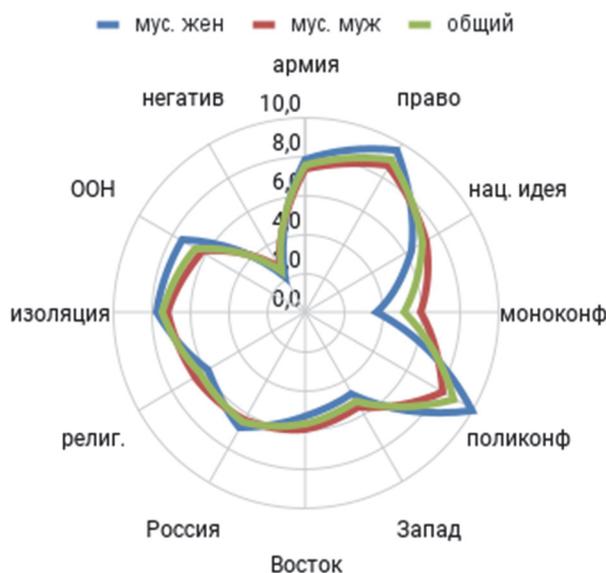


Рис. 4. Гендерные различия в подгруппах мусульман (в баллах)

Более всего отличаются оценки «поликонфессиональности» — у женщин она приближается к максимальному значению 12 баллов, а мужчины-мусульмане предпочитают вариант «моноконфессионального» (исламского) развития, включая реализацию религиозного исламского проекта, и в развитии национальной идеи заинтересованность мужчин-мусульман также выше, т.е. прослеживается потенциальная возможность радикализации мужской части населения региона.

По результатам вычисления коэффициентов ранговой корреляции между 12 тенденциями регионального развития четкой положительной или отрицательной корреляции не выявлено. Однако можно отметить выраженную положительную корреляцию между тенденциями сотрудничества по направлениям Восток и Запад, что показывает их равную нежелательность при создании альянсов на Ближнем Востоке. Также выявлена средневыраженная положительная корреляция между тенденциями сотрудничества по линии Восток и Россия. Напомним, что респонденты ориентированы на изоляционизм, суверенитет ближневосточных государств и создание ими альянса, что похоже на актуализацию идеи панарабизма в арабском мире.

Наиболее выраженная положительная корреляция выявлена между тенденциями «национальная идея» и «моноконфессиональность», т.е. респонденты, высоко оценивающие роль национальной идеи и патриотизма в развитии стран ближневосточного региона, также высоко оценивают роль моноконфессиональности в преодолении кризиса. Между тенденциями сотрудничества по линии Восток–Запад также выявлена выраженная положительная корреляция (консолидация со странами Тихоокеанского региона и со странами Запада не выбрана респондентами в качестве тренда регионального развития). Можно предположить, что ориентация на консолидацию со странами Запада и Тихоокеанского региона (Восток) рассматривается как угроза суверенитету и оценивается как «внешние влияния». Корреляция между тенденцией «ориентация на Запад — демократические ценности, безопасность за счет вхождения в западные альянсы» и тенденцией «ориентация на международные правовые институты, Совет безопасности ООН» практически стремится к нулю.

В целях более точной интерпретации полученных данных был применен балльный анализ (Рис. 5) показателей предпочтений для студентов, аспирантов и работающих. Средний показатель у ООН — 6,5, Востока — 5,5, Запада — 3,5. В группе аспирантов максимальный запрос выявлен по позициям: поликонфессиональность (11 баллов), армия (11), право (10), национальная идея (9). В группе работающих — право (11), изоляция (10), поликонфессиональность (10), национальная идея (7) («негатив» — 0). В группе студентов — право (9), поликонфессиональность (9), армия (7), национальная идея (7). Все группы отметили тренд моноконфессионализма в регионе (3), что можно интерпретировать как озабоченность рисками его дальнейшего доминирования.

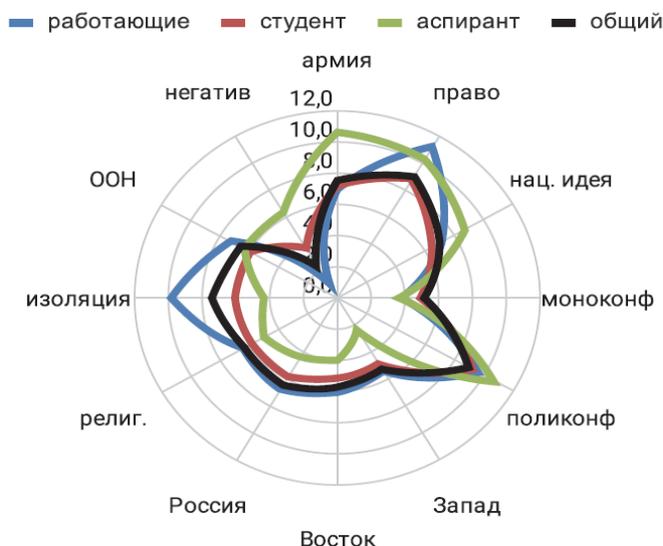


Рис. 5. Предпочтения подгрупп респондентов (в баллах)

Приведенные данные позволяют сделать вывод о тренде антивестернизации среди молодежи Арабского Востока — снижении авторитета международных организаций, включая ООН, при этом Россия находится на среднем уровне (6 баллов).

В целом можно обозначить следующие приоритетные направления развития стран ближневосточного региона, с которыми респонденты связывают свои надежды на лучшее будущее:

- Во внутренней политике — совершенствование правовой системы в рамках светского государства, нацеленной на обеспечение безопасности в широком смысле (от преступности до террористических угроз), стимулирование развития малого и среднего бизнеса и законодательная поддержка международных инициатив в Евразии («Один пояс, один путь» и др.); формирование политической культуры гуманитарно-экономического диалога через отказ от моноконфессионального тренда в пользу поликонфессиональной симфонии в обществе.
- Во внешней политике: разработка и реализация курса на саморазвитие с опорой на национальные и региональные ресурсы; проведение политики гуманитарно-экономического диалога с целью преодоления этноконфессиональных конфликтов и формирования устойчивого поликонфессионального контура взаимодействия на национальном и региональном уровнях; нацеленность на региональную консолидацию с перспективой формирования альянса ближневосточных государств; развитие стратегических партнерств, где лидерами являются Восток, консолидированный Запад с комплексом «демократических» ценностей и историей деятельности в регионе, и Россия (с наибольшими, но пока неустойчивыми шансами). В анкетах содержались комментарии, в которых подчеркивается роль России: *«Чтобы страна выжила, ...у нас должны быть сильные союзники, такие как Россия».*

Результаты исследования показывают, что наиболее существенной причиной кризисных явлений в регионе молодежь считает внешнее влияние, создающее военную, политическую и экономическую напряженность. Молодежь Арабского Востока не ощущает безысходности в сложившейся непростой ситуации. Наоборот, все более выраженное значение приобретает ориентация на суверенитет, внутреннее развитие, создание сильного альянса ближневосточных государств, проработку национальной идеи и патриотическое воспитание, уход от моноконфессионального тренда, ориентация на собственный путь развития без внешних вмешательств. Респонденты выразили недоверие международным институтам, в данном случае ООН, как гаранту мира и безопасности в регионе, а также дали низкую оценку стратегическому партнерству и сближению с Западом. Видимо, надежды на

лучшее будущее арабская молодежь связывает с триадой: «право — порядок — согласие» («бизнес — безопасность — диалог»). Среди возможных стратегических партнеров можно рассматривать трех претендентов: Восток, консолидированный Запад и Россию. Нашей стране предстоит целенаправленная работа, которая должна включать в себя как привычные (политические, экономические, военные) формы сотрудничества, так и весь инструментарий «мягкой силы».

Информация о финансировании

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 20-014-41001.

Библиографический список

- [1] *Андреева Г.М.* Психология социального познания. М., 2005.
- [2] *Андреева Г.М., Богомолова Н.Н.* и др. Зарубежная социальная психология XX столетия: Теоретические подходы. М., 2002.
- [3] *Белов В.И., Савичева Е.М.* Рецензия на книгу: Ближний Восток: политика и идентичность // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2021. Т. 21. № 2.
- [4] *Емельянова Т.П.* Социальное представление — понятие и концепция: итоги последнего десятилетия // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 6.
- [5] *Дюркгейм Э.* Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995.
- [6] *Бовина И.Б.* Стратегии исследования социальных представлений // Социологический журнал. 2011. № 3.
- [7] Ливан: Безработица молодежи // URL: https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/Youth_unemployment.
- [8] Ливан: Внешний долг // URL: https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/External_debt.
- [9] Ливан: Индекс счастья // URL: <https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/happiness>.
- [10] Ливан: Уровень ограблений с разбоем // URL: <https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/robbery>.
- [11] *Московичи С.* Методологические и теоретические проблемы психологии // Психологический журнал. 1995. Т. 16. № 2.
- [12] Президент Ливана на фоне кризиса призвал изменить политическую систему // URL: <https://iz.ru/1054653/2020-08-30/prezident-livana-na-fone-krizisa-prizval-izmenit-politicheskuiu-sistemu>.
- [13] Рейтинг счастья по странам // URL: <https://theworldonly.org/wp-content/uploads/2020/03/Izmenenie-v-rejtinge-schastya-stran-mira-s-2008-2012-po-2017-2019.png>.
- [14] *Савичева Е.М.* К вопросу о геополитической ситуации на Ближнем Востоке: взаимодействие региональных и глобальных тенденций // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2014. № 3.
- [15] *Fakhoury T.* Power-sharing after the Arab Spring? Insights from Lebanon's political transition // Nationalism and Ethnic Politics. 2019. Vol. 25. No. 1.
- [16] *Moscovici S.* The phenomenon of social representations // Social Representations / Ed. by R.M. Farr, S. Moscovici. Cambridge, 1984.
- [17] *Sotirakopoulou K.P., Breakwell G.M.* The use of different methodological approaches in the study of social representations // Papers on Social Representations. 1992. No. 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-868-880

Social representations of the Arab youth: Factors and trends of regional development*

V.I. Belov¹, E.M. Savicheva¹, E.V. Kharitonova²

¹RUDN University

Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198

²Institute for African Studies of RAS

Spiridonovka St., 30/1, Moscow, Russia, 123001

(e-mail: savicheva@mail.ru; evh1956@mail.ru; vyou@yandex.ru)

Abstract. The article examines the situation in the Middle East and North Africa region (the so-called ‘Afrasian arc of instability’) in the context of the social representations of the local youth. Based on the empirical study conducted with the authors’ method, the authors assess the youth’s ideas about the most important factors for the effective social-political development of the region. The research methodology is based on the analysis of 12 trends that determine the regional development in the Arab East. The study allowed to assess the social-political potential of the Arab youth as a specific and influential demographic group ready to contribute to the development agenda for the Arab East. The authors identify the Arab youth’s social preferences regarding the main development trends in the region; show that in the political struggle, young people do not act alone, their aspirations are closely intertwined with national goals; prove that there is an active search for ways out of the economic crisis, for strengthening national sovereignty and ensuring peace and security. All these problems have become urgent in recent years in the Middle East region for a number of its countries strives to solve difficult problems of overcoming the destructive impact of the Arab Spring. The article presents the youth priority requests such as demands for the quality legal relations, developing national idea, and ensuring national security by strengthening military force and possessing weapons of restraint. One of the basic preferences of the Arab youth is preserving sovereignty, reducing external influences and creating a strong alliance of the Middle Eastern states. Rapprochement with leading world powers and regional associations (named as West, East and Russia) seems to be on the periphery of the Arab youth interests.

Key words: social representations; Middle East; North Africa; youth; Russia; West; East; development trends

Funding

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research. Project No. 20-014-41001.

References

- [1] Andreeva G.M. *Psihologiya sotsialnogo poznaniya* [Psychology of Social Cognition]. Moscow; 2005. (In Russ.).
- [2] Andreeva G.M., Bogomolova N.N. at el. *Zarubezhnaya sotsialnaya psihologiya XX stoletiya: Teoreticheskie podhody* [Western Social Psychology of the 20th Century: Theoretical Approaches]. Moscow; 2002. (In Russ.).
- [3] Belov V.I., Savicheva E.M. Retsenziya na knigu: *Blizhny Vostok: politika i identichnost* [Book review: The Middle East: Politics and Identity]. *RUDN Journal of International Relations*. 2021; 21 (2). (In Russ.).

* © V.I. Belov, E.M. Savicheva, E.V. Kharitonova, 2021

The article was submitted on 23.12.2020. The article was accepted on 04.06.2021.

- [4] Emeliyanova T.P. Socialnoe predstavlenie — ponyatie i kontseptsiya: itogi poslednego desyatiletiya [Social representation — a term and a concept: Results of the last decade]. *Psikhologichesky Zhurnal*. 2001; 6. (In Russ.).
- [5] Durkheim E. *Sotsiologiya. Ee predmet, metod, prednaznachenie* [Sociology. Its Subject, Method, Purpose]. Moscow; 1995. (In Russ.).
- [6] Bovina I.B. Strategii issledovaniya sotsialnyh predstavlenij [Strategies for the study of social representations]. *Sotsiologichesky Zhurnal*. 2011; 3. (In Russ.).
- [7] Livan: Bezrobotitsa molodezhi [Lebanon: youth unemployment]. URL: https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/Youth_unemployment. (In Russ.).
- [8] Livan: Vneshny dolg [Lebanon: external debt]. URL: https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/External_debt. (In Russ.).
- [9] Livan: Indeks schastiya [Lebanon: Happiness Index]. URL: <https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/happiness>. (In Russ.).
- [10] Livan: Uroven ograblenij s razboem [Lebanon: rates of robbery]. URL: <https://ru.theglobaleconomy.com/Lebanon/robbery>. (In Russ.).
- [11] Moscovici S. Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii [Methodological and theoretical issues of psychology]. *Psikhologichesky Zhurnal*. 1995; 16 (2). (In Russ.).
- [12] Prezident Livana na fone krizisa prizval izmenit politicheskuyu sistemu [The Lebanese President, amid the crisis, called for a change in the political system]. URL: <https://iz.ru/1054653/2020-08-30/prezident-livana-na-fone-krizisa-prizval-izmenit-politicheskuiu-sistemu>. (In Russ.).
- [13] Rejting schastiya po stranam [Ranking of happiness by country]. URL: <https://theworldonly.org/wp-content/uploads/2020/03/Izmenenie-v-rejtinge-schastyia-stran-mira-s-2008-2012-po-2017-2019.png>. (In Russ.).
- [14] Savicheva E.M. K voprosu o geopoliticheskoy situatsii na Blizhnem Vostoke: vzaimodejstvie regionalnyh i globalnyh tendentsij [On the geopolitical situation in the Middle East: Interaction of regional and global trends]. *RUDN Journal of International Relations*. 2014; 3. (In Russ.).
- [15] Fakhoury T. Power-sharing after the Arab Spring? Insights from Lebanon's political transition. *Nationalism and Ethnic Politics*. 2019; 25 (1).
- [16] Moscovici S. The phenomenon of social representations. *Social Representations*. Ed. by R.M. Farr, S. Moscovici. Cambridge; 1984.
- [17] Sotirakopoulou K.P., Breakwell G.M. The use of different methodological approaches in the study of social representations. *Papers on Social Representations*. 1992; 1.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-881-890

Characteristics of migration from Serbia to Slovakia (on the example of the municipality of Kovačica)*

S. Stojšin, M. Šljukić, D. Hlavča

University of Novi Sad

Dr Zorana Đinđića St., 2, Novi Sad, Serbia

(e-mail: snezanas@ff.uns.ac.rs; marica.sljukic@ff.uns.ac.rs; danielahlavca@gmail.com)

Abstract. Due to numerous transformation problems which determined the collapse of the industrial sector, unemployment and low living standards, an increasing number of working population leaves Serbia. For a very long time, Serbian emigration was directed primarily to the developed Western European countries (especially Germany and Austria). However, Slovakia has recently joined the narrow circle of countries-destinations for emigrants from Serbia. The article focuses on this wave of the working population emigration from Serbia to Slovakia and considers it in the framework of the contemporary migration theories, especially the push-and-pull factors theory. The research data was compared with the relevant data from previous studies. The research was conducted in the municipality of Kovačica (northern Serbia) with a questionnaire on the sample of 100 respondents (the ‘snowball’ method was applied), and the authors also used various other data sources: statistical data (censuses, migration statistics, etc.), media reports and scientific papers. Given the unfavorable social-economic context of the Serbian working population emigration and the chosen theoretical framework, the authors considered economic factors as crucial for this wave of migration, which seems to be similar to the previous waves of migration. In general, this assumption was confirmed: emigrants from Serbia go to Slovakia for a variety of reasons, but the key ones are the small salary in Serbia, the impossibility to find a job in one’s profession, and a poor financial and political situation in the country. On the other hand, Slovakia attracts Serbian migrants by offering possibilities to earn more money, to have higher living standards, better conditions for education and work, thus, promising a better and predictable future.

Key words: migration; factors of emigration; transformation of the Serbian society; working conditions; living standards; Serbia; Kovačica; Slovakia

The necessity to study international migratory routes is determined by the increasing mobility of workforce and by the importance of migrations for globalization. Traditionally, Serbia is an emigration area: from 2011 to 2016, its population decreased on average by 36,000 annually [17. P. 35]. In addition to the negative natural increase, this population decline was influenced to a great extent by migration [11]. Since monitoring of migrations is mainly based on the insufficient official data of receiving countries, it is hard to estimate the real number of migrants. According to some estimates, from 2002 to 2011, about 13,000 to

* © S. Stojšin, M. Šljukić, D. Hlavča, 2021

The article was submitted on 12.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

15,000 people left Serbia annually [9. P. 193]. In the earlier waves of emigration, the most popular countries were Austria and Germany (the number of Serbian emigrants in Austria changed from 1971 to 2011 from 19.7% of the total number of emigrants from Serbia to 22.5%; the same share of Serbian emigrants to Germany decreased from 45.8% to 17.9%; while the share of Serbian emigrants to ‘other European countries’, including Slovakia, increased from 2.5% to 16.8% [19]), in recent years, the emigration to Slovakia for temporary work has increased.

We consider this new wave of emigration in the framework of the contemporary migration theories, especially the theory of push-and-pull factors [13. P. 211], which emphasizes the balance between negative push factors of the country of origin and the positive pull factors of the receiving country. D. Bogue describes different push factors (decrease of wealth, loss of jobs, oppressive or repressive policies, religion, ethnic origin, alienation from the community and a lack of possibilities to have a family) and pull factors (greater possibilities of employment and income, better opportunities for education, good living conditions and climate, dependence on the partner who emigrated, and new, different people and social environment) [2. P. 754]. However, in Serbia, economic factors of emigration seem to be dominant, which is the starting assumption of our research: for more than a quarter of a century, the Serbian society has been going through economic and social transformations characterized by strategic inconsistency, collapse of industry, rise of unemployment and, generally speaking, uncertainty. The assumption that economic factors are the main ones for emigration from Serbia to Slovakia (and the EU in general) is based on previous research and theoretical discussions [1; 7; 8]. To understand emigration processes in Serbia, push factors such as high unemployment, low standard of living and unfavorable conditions for development should be considered [1].

Many young people in Serbia think about emigration, and this trend emerged “one decade after the unblocked post-socialist transformation” [8. P. 229]: although young people are the most educated group in Serbia, they are losing confidence that they will be the winners of transformation. Already in 2004, the study [7] showed a great disappointment of young people in transformations which the youth defined as insignificant changes typical for the period after 2000. Young people showed a great desire for emigration, first, due to the unemployment, especially in their profession, then due to a very low income which did not provide a decent living and the possibility to buy a flat, and finally due to the impossibility to start a family [10]. Therefore, the results of the research in 2013 [8] are no surprise: a half of respondents (54%) thought about leaving Serbia [8. P. 236], especially unemployed and young people without children [8. P. 241].

A particularly interesting issue is the selectivity of migration [1], especially the age of migrants as affecting the decision to migrate, since the majority of migrants are from 20 to 40 years old. Young people are more prepared for emigration because of the possible better position in the work market of the receiving country, their growing dissatisfaction in the country of origin, and a greater profitability of investing in migration [8. P. 233].

Although Slovakia is not traditionally a final destination for immigrants, in the last decade there has been an increasing number of immigrants: the immigrant population in Slovakia had the second largest rise in the EU countries — from 22,108 in 2004 to 97,934 in 2017 [3]. In June 2017, of the total number of immigrants from 130 countries the largest number came from Serbia (8,808), followed by Romania (8,621) [3].

Daily experience as well as theory (primarily theories of neoclassical economy, of the new economy of migrations, of dual or segmented labor market, of the world system, of social capital and of cumulative causality [4; 12]; we focus on neoclassical economic theories and the new economy of migrations) indicate that the main reasons for departure, i.e. migration, are economic. According to the theory of the world system [12], migration is a political-economic consequence of social transformations — when the existing relations are shaken by the emergence of a market, and the population uses migration to find new ways for survival [12. P. 336]. As a rule, migrants come not from poor and undeveloped regions, but rather from societies in transformation [12].

Our choice of the research topic was influenced by two factors. First, in the municipality of Kovačica in the Serbian province of Vojvodina, there is a large number of working populations who have either gone to Slovakia to work there temporarily or plan to leave. We also wondered if these were ethnic migrations, since Kovačica is the municipality with the largest number of Slovaks in Serbia, or they are the ‘usual’ economic migrations. The municipality of Kovačica is located in the South Banat County of the Autonomous Province of Vojvodina. Of 50,321 Slovaks who live in Vojvodina, every fifth Slovak in Serbia lives in the municipality of Kovačica: of the total number of 25,274 inhabitants, according to the last census, the majority are Slovaks (10,577), followed by Serbs (8,407) and Hungarians (2,522) [14]. The second reason for choosing this research question were numerous publications in the Serbian media about as if poor and inhumane working conditions in Slovakia. However, in our informal interviews with the inhabitants of this municipality who worked in Slovakia, most of them assured us that they were happy with their jobs in Slovakia and with the conditions of emigration.

Thus, our study aimed at identifying the reasons why many young people went to work in Slovakia and whether emigrants were happy with their jobs and working conditions. We used a variety of sources: statistical data (censuses and migration statistics), newspaper articles, scientific papers, but mainly the survey based on the questionnaire with 21 questions divided into three parts. The first part focused on the general information about respondents (gender, age and education), the second part — on the living conditions of respondents in Serbia and reasons for leaving, and the third part — on the satisfaction with work and working conditions in Slovakia. The ‘snowball’ sampling method was used, and a total of 100 respondents from the municipality of Kovačica in Serbia, who had (or still have) a working experience in Slovakia, were questioned: 53% — men, 47% — women (this gender structure reflects the gender structure of emigrants from Serbia [19. P. 65]; 95% — ethnic Slovaks, 5% — Serbs; the average age of respondents is 29.3 and more than

a half (54%) are under the age of 30 (which confirmed our assumption that people from 20 to 40 years old are more likely to emigrate; the majority graduated from high school (72%), 21% — from college or university.

According to the last census, in the municipality of Kovačica, 27% of population live on wages, 16% — on pension, 5.1% — on income from real estate, and 43.5% are supported persons [15]. 7,166 inhabitants on the municipality are employed (28.3% of the total population, or 33.6% of the population over the age of 15), mainly in agriculture (20.6%), followed by 19.1% craftsmen, and 16.8% of the inhabitants having simple jobs (courier, cleaner, and so on), 12.5% are employed in services or shops, 9.2% are engineers, associates and technicians, 7.2% are professionals and artists, 4.7% — administrative workers, only 1.9% are managers and functionaries [16].

The largest number of the population are employed in agriculture and crafts, which raises the question about the living standard of the people working in these unprofitable fields. In the first part of the questionnaire, an emphasis was made on the living standard of respondents before their departure to Slovakia: 80% were employed, while 20% have never worked. However, of the total number of the employed respondents, 43% had only seasonal jobs and 19% were employed temporarily. Furthermore, 2% had ‘moonlighting’ jobs (were not registered by the employer), and one informant had his own small business. Only 15% of respondents were permanently employed. Thus, 80% of the employed respondents did not have a secure job, and only 19% were employed in their profession.

The significant influence of the poor financial situation (due to having temporary and/or occasional job) on the decision to leave Serbia is indicated by the following data: 36.6% of respondents named the poor financial situation among the most significant factors, 33.3% — low wages in Serbia (Table 1). One of the most significant pull factors, i.e. motives for going to Slovakia, was better living conditions (Table 2).

Table 1

Reasons for leaving Serbia

Factors	%
Low wages	33.3
Impossibility to find a job in one's profession	11.3
Poor financial situation	36.3
Bad political situation	17.2
Ethnic tension	1.6

Table 2

Reasons for moving to Slovakia

Factors	%
Better salary	28.9
Better living conditions	53.5
Friends or relative going to Slovakia	4.4
Partner going to Slovakia	8.8
Education	3.5
Better future for children	0.8

The results of the Likert scale application also indicate the factors of emigration from Serbia to Slovakia: 78% of respondents blame the quality of life in Serbia (Table 3).

Table 3

Likert scale: push and pull factors

Statements	completely disagree	rather disagree	neither disagree nor agree	rather agree	completely agree
If I stayed in Serbia I would have to do a job which does not fulfill my expectations	7	12	20	26	35
Life in Serbia is very good	49	29	14	4	4
If I had a job, I would stay in Serbia	22	21	27	18	12
I do not see my future in Serbia	13	14	25	18	30
Jobs in Serbia are found through connections	3	7	15	23	52
One can save up much more in Slovakia than in Serbia	5	7	19	25	44
If one wants to find a job in Serbia, one has to be a member of a political party	6	6	21	29	38
Only those who have no possibility to leave stay in Serbia	10	15	32	17	26

Emigrants often consider migrations as short-term and want to return to Serbia as soon as they save up a certain sum of money, but some of them do not want to come back. When asked if they intended to stay in Slovakia permanently, 30% answered positively. On the other hand, another 30% intended to return to Serbia after some time, while 15% wanted to use Slovakia as some sort of ‘spring board’ to go to another country. A quarter of respondents (24%) did not think about whether they would stay in Slovakia or return to Serbia when they were leaving for Slovakia.

Although emigrants have different education and were not satisfied with their jobs in Serbia, more than a half work at factories in Slovakia (52%). A smaller number of emigrants from Serbia are employed in the service sector in Slovakia: 8% work at hotels, restaurants or cafes, 6% — at shops or supermarkets, 4% — at kindergartens or schools, others — in construction, repair shops, farms, and so on. It should be mentioned that some respondents work at embassies, clinics and airlines, but these jobs are reserved for the ethnic-Slovak immigrants.

After finding a job in Slovakia, 43% of respondents have not changed it, while more than a half (57%) have already changed their workplace or plan to do that, 19% have changed a few jobs. In Serbia, only 19% of respondents had a job they were educated and trained for, while in Slovakia this number is higher — 31%.

The length of stay in Slovakia differs: most respondents stayed in Slovakia for only a few months (39%) — they represent immigrants who went to Slovakia

during the wave of working emigration from Serbia with peaks in 2016 and 2017 (at that time, many agencies were employing foreign workers for Slovakia). 8% of respondents stayed in Slovakia for less than a month, 7% — for more than five years, and 23% — from two to five years. The majority of Serbian emigrants in Slovakia work five days a week (66%), 8% — six days a week, 4% — every day, 7% — four days a week, 3% — three days a week, and 2% — only one day a week. The majority work eight hours a day (47%), and 14% — twelve hours or more (a half of them works at factories). 19% of respondents often work overtime and are paid for this extra work; 58% sometimes work overtime (only 3% of them are not paid for that), and almost a quarter (23%) does not work overtime at all. 71% can go on vacation whenever they want, while 22% — only when it is acceptable and convenient for their employer. More than a half of respondents receives a monthly salary (57%), 40% are paid by the hour, and 3% receive a daily wage. The majority of employers in Slovakia pay for health insurance (86%) and in the pension fund (82%). Health insurance is not provided to 9% of respondents, 8% do not have a pension fund, and other are not sure or do not know. These data bring us closer to reasons why the jobs in Slovakia attract citizens of Serbia and other neighboring countries.

Although the previous text does not make an impression that the working conditions for immigrants in Slovakia are quite good, we asked respondents if they were satisfied with their jobs in Slovak companies, also to check the Serbian media reports on the poor working conditions of Serbian emigrants in Slovakia [5; 20]. For instance, according to one newspaper article, “every month, for miserly wages, thousands of people from Serbia come to Slovakia and work without a contract, as ‘tourists’ in rounds of three months. They work twelve hours a day for wages that are only a half of those set by the Slovakian law, and without a paid break” [5].

To explain the difference between our data and the information from the media obtained from interviews with emigrants, we reconsidered the structure of our sample: 95% of our respondents were Slovak (the survey was conducted in the municipality with the Slovak majority in its population), and we should take this fact into account when interpreting the data. Ethnic membership is a significant factor, because it facilitates the adaptation and integration of Slovak emigrants in the receiving country, helps them to find better jobs (in terms of both wages and working conditions), primarily due to the lack of the linguistic barrier and thanks to the similar cultural patterns. The assumption is that this category of immigrants in Slovakia is better accepted by employers, because there are no (or much less) difficulties in communication (linguistic and cultural).

Besides, in Slovakia, there are formal differences between immigrants from Serbia. Although ethnic Slovaks and other citizens of Serbia, who go to Slovakia to work, are foreign citizens, Slovak immigrants receive at their historical home the so-called *krajanka* — an ID card that allows them to work in Slovakia for five years, unlike other citizens of Serbia who come to Slovakia for three months, after which they have to go back home and stay there for another three months before they can return to Slovak factories. This advantage is one of the reasons why Slovaks from

Serbia prefer to go and work in Slovakia rather than in some other country. To get citizenship, which is a precondition for a better paid job, the immigrant must stay in Slovakia for five years.

Other immigrants from Serbia, who do not belong to the Slovak ethnic group, prefer to go to Slovak towns to be employed at the industry. Most foreign workers are employed in the regions of Bratislava and Trnava, where large car factories and household appliance plants are located (mainly LG and Samsung factories). These are not Slovak but foreign companies which opened plants in Slovakia due to a number of advantages, and one of them is cheaper workforce. Perhaps, these factories started hiring immigrant workers from the neighboring countries, because the Slovak population demanded higher wages, but the companies preferred to import cheaper workforce from the neighboring countries with lower standards of living. The greatest demand in Slovakia is for industrial workers and seasonal agricultural workers (for the harvest period). Two buses of workers leave Vojvodina every week to Slovakia and the most demanded are “*workers for the food, car and electric industries, for factories producing parts for LCD TVs and sandwich packing. Jobs are mainly manual and are learnt quickly, so anyone can do them*” [6] after a short training which is possible even without a perfect knowledge of language. After the collapse of industry in Serbia (a great number of industrial workers lost their jobs), Serbian immigrants are directed to the Slovak industrial sector, because they can do such work due to having good knowledge and skills acquired in the process of formal education and at the factories in Serbia.

The migration we study is motivated mainly by the fact that both industrial and non-industrial organizations have a developed technical division of labor, which does not require too much efforts to adapt to the new work place. Simple actions that they have to learn and do determines an intensive mobility of the workforce, in which both migrant workers and employers are interested (cheaper workforce): the latter also do not worry about the quality of working conditions, because every worker who complains can be easily replaced by another worker who will be quickly trained to do what is needed.

Despite such a working climate, most respondents are not dissatisfied with their jobs in Slovakia, and the main indicators of job satisfaction are the regular income, possibilities of promotion, spending time with colleagues, and so on (Table 4).

Finally, we asked respondents about returning to Serbia: only 22% do not think about going back — 18% named a better life in Slovakia as a reason to stay. More than a half of respondents would return to Serbia (56%), and the reasons are various: they love Serbia (38%), it does not make a difference where to work (11%), a better life in Serbia (5%), their family lives in Serbia (2%).

Thus, due to transformation problems (the collapse of the industrial sector, unemployment, poor living standard, uncertainty, strategically inconsistent transition), an increasing number of the Serbian working population looks for employment abroad, and the attracting countries change: for a very long time, Serbian emigrants moved to Germany and Austria, followed by France and Scandinavian countries, but in the last three decades, there is an increasing

emigration wave of the working population to distant continents (Asia, Australia, Canada), and to Slovakia. The advantage of Slovakia as compared to other countries is that it is a relatively close Slavic country, and in Serbia, there are many people who belong to the Slovak ethnic group (especially in the northern province of Vojvodina) and for whom this migratory route is the most favorable one. Emigrants from Serbia go to Slovakia for a variety of reasons: the main push factors are small wages, impossibility to find a job in one’s profession, and a poor general financial and political situation; while the main pull factors are provided by Slovakia possibilities to earn more money, to have higher living standards, better conditions for education and, in general, a better future. However, although the standard of living in Slovakia is definitely better, because the economy is more developed than in Serbia, we should also take into account the influence of multinational (industrial) companies located in Slovakia — they are interested in labor immigrants, who accept even poor working conditions.

Table 4

Likert scale — job satisfaction

Statements	completely disagree	rather disagree	neither disagree nor agree	rather agree	completely agree
My salary is adequate to the effort	5	19	20	6	20
I never get my salary on time	80	7	8	3	2
I get a bonus for a job well done	14	13	17	4	32
Mistakes at work are strictly punished	26	28	22	5	9
My job physically exhausts me	31	21	19	1	8
My job gives me pleasure	6	15	32	4	23
I often force myself to go to work	34	28	24	0	4
Working conditions have a bad effect on my health	39	24	24	0	3
A break at work is not paid	21	11	14	1	43
If I do my job well, I have the possibility to get a promotion and a better position	7	10	22	2	39
I often think about quitting	49	18	25	5	3
The job that I do is interesting	4	11	28	22	35
I am afraid of being fired	67	14	13	2	4
I spend time with my colleagues after work	12	14	21	9	24
I am satisfied with the expertise of supervisor	7	8	26	1	28
My supervisor is too demanding	24	27	28	1	10
My supervisor accepts my suggestions	3	14	21	0	22

References

- [1] Bobić M., Babović M. Međunarodne migracije u Srbiji — stanje i perspektive. *Sociologija*. 2013; LV (2). (In Serbian).
- [2] Bogue D. *Principles of Demography*. New York; 1969.
- [3] IOM: *Migration in Slovakia*. URL: <https://www.iom.sk/en/migration/migration-in-slovakia.html>.
- [4] King R. *Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer*. Malmö; 2012.
- [5] Krsnik D. *Reporter Nedeljnika na tajnom zadatku: Tri meseca u slovačkoj fabrici u kojoj se građani Srbije tretiraju kao robovi*. URL: <http://admin.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalanews/reporter-nedeljnika-na-tajnom-zadatku-tri-meseca-u-slovačkoj-fabrici-u-kojoj-se-gradani-srbije-tretiraju-kao-robovi>. (In Serbian).
- [6] Matijević J., Rogač M. *Da nema ljudi iz Srbije stale bi fabrike*. URL: <http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:645703-Da-nema-Srba-stale-bi-trake-u-fabrikama>. (In Serbian).
- [7] Mihailović S. Oduzimanje budućnosti: Omladina Srbije u vodama tranzicije. Mihailović S. (Ed.). *Mladi izgubljeni u tranziciji*. Beograd; 2004. (In Serbian).
- [8] Mojić D., Petrović I. Mladi i legitimnost društvenog poretka u Srbiji: razmišljanja i delanja u pravcu emigracije. *Sociologija*. 2013; LV (2). (In Serbian).
- [9] Nikitović V. Migraciona tranzicija u Srbiji: Demografska perspektiva. *Sociologija*. 2013; LV (2). (In Serbian).
- [10] Nikolić M. Uvod: mladi su budućnost ovog društva. Mihailović S. (Ed.). *Mladi izgubljeni u tranziciji*. Beograd; 2004. (In Serbian).
- [11] Penev G., Predojević-Despić J. Promene Stanovništva Srbije u postjugoslovenskom periodu (1991–2017): Važniji demografski aspekti. *Sociološki Pregled*. 2019; LIII (3). (In Serbian).
- [12] Poleti D. Savremene radne migracije u evropskom kontekstu — ekonomski i politički aspekti. *Sociologija*. 2013; LV (2). (In Serbian).
- [13] Predojević-Despić J. Migrantske mreže: nezaobilazna perspektiva u proučavanju savremenih međunarodnih migracija. *Sociološki Pregled*. 2009; XLIII (2). (In Serbian).
- [14] SORS. Religion, mother tongue and ethnicity. 2011 Census of Population. Households and Dwellings in the Republic of Serbia. Book 4. Belgrade; 2013.
- [15] SORS. Sources of Livelihood. 2011 Census of Population. Households and Dwellings in the Republic of Serbia. Belgrade; 2014.
- [16] SORS. Economically active population that perform occupation. 2011 Census of Population. Households and Dwellings in the Republic of Serbia. Book 19. Belgrade; 2014.
- [17] SORS. Statistical Yearbook of the Republic of Serbia. Belgrade; 2017.
- [18] SORS. Workforce survey. November 30, 2017. Belgrade; 2017. (In Serbian).
- [19] Stanković V. *Srbija u procesu spoljnih migracija*. Beograd; 2014. (In Serbian).
- [20] Veselinović T. *Privremeni rad u Slovačkoj: Ponižavajući uslovi, bez ugovora*. URL: <https://rs.n1info.com/biznis/a228439-ponizavajući-uslovi-za-radnike-u-slovačkoj>. (In Serbian).

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-881-890

Особенности миграции из Сербии в Словакию (на примере муниципалитета Ковачица)*

С. Стойшин, М. Шлюкич, Д. Хлавча

Университет Нови Сада

ул. Др. Зорана Џинђича, 2, Нови Сад, Србија

(e-mail: snezanas@ff.uns.ac.rs; marica.sljukic@ff.uns.ac.rs; danielahlavca@gmail.com)

Анотация. Следствием многочисленных трансформационных проблем в Сербии (разрушение промышленного сектора, безработица и низкий уровень жизни) стал возрастающий

* © Стойшин С., Шлюкич М., Хлавча Д., 2021

Статья поступила 12.07.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

миграционный отток трудоспособного населения. В течение длительного времени сербские трудовые мигранты устремлялись преимущественно в развитые страны Западной Европы (особенно Германию и Австрию). Однако в последние годы Словакия пополнила достаточно узкий круг стран, куда направлена сербская трудовая миграция. Статья посвящена этой новой волне миграционного оттока трудоспособного населения из Сербии в Словакию, и авторы рассматривают ее в контексте современных миграционных теорий, особенно теории факторов притяжения и выталкивания. Полученные опросные данные были сопоставлены с результатами предшествующих проектов. Анкетирование было проведено на севере Сербии, в муниципалитете Ковачица на выборке в 100 человек, отобранных методом «снежного кома» (по критерию участия в миграции в Словакию), и авторы также использовали статистические данные (переписи, миграционная статистика и т.д.), сообщения средств массовой информации и научные работы. Учитывая неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в Сербии, определяющую масштабы и векторы трудовой эмиграции, и выбранный ими концептуальный подход, авторы считают экономические причины главным фактором нынешней волны сербской трудовой миграции, что делает ее похожей на все предыдущие волны. В целом это предположение было подтверждено результатами эмпирического исследования: мигранты из Сербии едут в Словакию по многим причинам, но все же основные — это низкие зарплаты, невозможность найти работу по профессии и сложная финансовая и политическая ситуация в стране. С другой стороны, Словакия привлекает сербских мигрантов, предлагая им возможности более высокого заработка, более высокого уровня жизни, лучших условий получения образования и работы, т.е., по сути, гарантируя им лучшее и предсказуемое будущее.

Ключевые слова: миграция; факторы эмиграции; трансформация сербского общества; условия работы; уровень жизни; Сербия; Ковачица; Словакия



РЕЦЕНЗИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-891-902

Повседневный народный российский патриотизм: возможности и ограничения социологического исследования и типологизации*

И.В. Троцук

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
просп. Вернадского, 82, Москва, 119571, Россия

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия
(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу К. Клеман «Патриотизм снизу. “Как такое возможно, чтобы люди жили так бедно в богатой стране?”» (М.: НЛЮ, 2021. 232 с.). Книга основана на результатах исследовательского проекта, нацеленного на развернутую характеристику разных типов повседневного российского патриотизма посредством использования качественного подхода (по сути, проведены кейс-стади и полуструктурированные интервью, хотя обозначены они в книге как этнографическое исследование и глубинные интервью). В работе выделены и описаны следующие виды «низового» российского патриотизма, далеко не всегда совпадающего с государственным патриотическим дискурсом (патриотизмом «сверху»): негосударственный и государственный повседневный патриотизм, не-патриотизм, отстраненный патриотизм и локальный патриотизм. В рецензии обозначены как несомненные достоинства книги, так и ее концептуальные, методические и аналитические ограничения, которые могут стать отправной точкой для дальнейшего социологического изучения дискурсивных практик и поведенческих паттернов россиян, особенно живущих в российской «глубинке» (депрессивных периферийных районах страны).

Ключевые слова: патриотизм; повседневный патриотизм; патриотизм «сверху» и «снизу»; государственный дискурс; обыденные трактовки; негосударственный и государственный патриотизм; локальный патриотизм

Патриотическая риторика неизменно пронизывает российский государственный дискурс, хотя причины обращения к проблематике патриотизма и расставляемые здесь акценты могут значимо различаться в зависимости от конкретных задач (социальных, экономических, (гео)политических, образовательных и пр.). Причем патриотически фундированный управленческий дискурс («патриотизм сверху») не всегда резонирует с обыденными

* © Троцук И.В., 2021

Статья поступила 01.08.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

трактовок «правильной любви к родине» («патриотизм снизу»). Несмотря на, казалось бы, прозрачное содержание понятия «патриотизм», зафиксированное во множестве словарей — «любовь к своей стране, отчизне» (патриот, соответственно, — «любитель отечества, ревнитель о благе его» [3. С. 24]), определения патриотизма в целом и его конкретных проявлений (патриотического поступка, решения, поведения и пр.) обросли множественными коннотациями. Причины тому — предсказуемые отличия задач управления (например, широкой общественной консолидации) от реалий повседневной жизни, и неоднозначное отношение к патриотизму, особенно с точки зрения «служения государству», зафиксированное, в частности, в русской художественной и публицистической литературе: трактовки патриотизма варьируют от абсолютного добра и блага (настоящий, правильный, хороший патриотизм) до источника межнациональной розни и социальных проблем (шовинизм, дурной патриотизм, ксенофобия и пр.).

В российском публичном дискурсе часто упоминаются, а сегодня и жестко критикуются высказывания Л.Н. Толстова о патриотизме как «чувстве неестественном, неразумном, вредном, причиняющем большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество», чувстве «отсталом, несвоевременном и вредном», «грубом, стыдном, дурном, а главное — безнравственном», поскольку выступает оно причиной «разоряющих народ всеобщих вооружений и губительных войн», делая человека «рабом своего правительства» и заставляя его «совершать поступки, противные своему разуму и своей совести» [10]. Критика подобных определений патриотизма обосновывается не только текущими задачами государства и состоянием общества, но и наличием совершенно противоположных высказываний: например, согласно Н.А. Добролюбову, в порядочном человеке патриотизм — это «желание трудиться на пользу своей страны», «желание делать добро», поэтому патриотизм — «живой» и «деятельный», не допускающий «хвастливых и восторженных восклицаний о своем народе» и не уживающийся с «неприязнью к отдельным народностям» [4]. Д.И. Менделеев подчеркивал, что «любовь к отечеству, или патриотизм, ...составляет одно из возвышеннейших отличий развитого, общежитного состояния людей от их первоначального, дикого или полуживотного состояния» [5. С. 112]. Те, кто смотрит политические ток-шоу на российских телеканалах, постоянно слышат большую часть перечисленных в этих определениях эпитетов патриотизма с соответствующими (политической повестке дня) оценками.

Рецензируемая книга (автор — Карин Клеман, но в работу включены главы, написанные другими членами исследовательского коллектива, и повествование ведется от лица «мы») представляет читателю результаты проекта, всю совокупность задач которого можно свести к двум основным: во-первых, уйти от оценочных суждений по поводу патриотизма, разведя два его «уровня» — всегда позитивно коннотированный патриотизм «сверху» (идеологический, стратегический, декларативный, мобилизационный и пр.) и более сложно составленный (обязательно включающий в себя социально-

критическую компоненту) патриотизм «снизу». Во-вторых, разработать типологию, которая помогла бы не только выделить характерные для российского общества типы «низового» патриотизма, но и объяснить с помощью этой аналитической «оптики» особенности национально-гражданского и обыденно-политического мировоззрения россиян.

Следует сразу предупредить читателя об особенностях книги — на тот случай, если он приобрел ее, ориентируясь на название (работа о патриотизме), но ничего не знает о Карин Клеман — исследователе-активисте, специалисте по низовым движениям и социологе с западной подготовкой, проводившем максимально включенное наблюдение за российскими реалиями в течение более двадцати лет. Во-первых, для российского научного и публицистического дискурса не характерен термин «национальное строительство», поэтому утверждения автора, что «в постсоветской России этот процесс все еще не завершен» (на фоне стран Западной Европы и США), вряд ли соответствуют тому, как российские исследователи характеризуют происходящее в стране. Впрочем, сегодня можно поспорить и с утверждением автора, что «в современном мире есть состоявшиеся нации, нации в процессе создания (национального строительства) и национальные группы, стремящиеся к созданию собственного государства или другой формы политической автономии» (С. 16), не по сути, а по тому, кто подразумевается под «состоявшимися нациями» — автор относит к таковым, прежде всего, США и страны Западной Европы, но движение Black Lives Matter в первом случае и миграционный кризис во втором заставляют усомниться в их «национально-строительной завершенности».

Заданный концептуальный фрейм автор использует, чтобы представить понятия национализма и патриотизма как синонимы (в рамках национального государства), но в России соотношение национальной и гражданской идентичностей не столь однозначно, особенно в региональном и этническом «измерениях». Отсюда же автор выводит связь патриотизма/национализма с обязанностью достойного гражданина/представителя нации участвовать в политике для построения демократического общества, что тоже не всегда понятно российскому читателю. Более того, попытка использовать понятия национализма (отношение к «стране как государству, политике, а не географическому локусу») и патриотизма («чувство привязанности к родине/стране как месту и к людям, его населяющим») как синонимы приводит к тому, что автору приходится придумывать слово «русско-российский», поскольку речь идет не только об этнических русских, но и о россиянах других национальностей, однако отмеченное автором смещение (вернее почти синонимическое употребление) понятий «русский» и «россиянин» в повседневной жизни не означает, что россияне не различают этническую и гражданскую идентичности. Причем автор сам себе противоречит: в книге неоднократно упоминается, что даже те респонденты, которые нормально относятся к мигрантам и практически не обращают внимания на национальность людей вокруг, используют для характеристики представителей других национальностей

неполиткорректные обозначения — это результат того, что их считают «своими» (россиянами — по гражданству или старожильчеству), но помнят о национальных отличиях, особенно если они связаны с религиозно-конфессиональной принадлежностью, традициями в целом и гендерными ролями в частности.

Вторая особенность книги состоит в том, что, как человек, занимающий активную социально-политическую позицию, автор иногда использует достаточно оценочно-жесткие (для академического издания) понятия, хотя речь может идти о постановке исследовательских задач («ксенофобская великодержавность», «идеологическая пропаганда во имя несменяемости власти» и др.), и слишком увлечена отсылками к В.В. Путину, гиперперсонализируя многие проблемы российского общества. Не следует радикально критически относиться к подобным концептуальным и понятийно-оценочным нюансам книги, учитывая западную исследовательскую подготовку и социальный активизм автора, потому что можно упустить интересные эмпирические находки.

В-третьих, у «методологически травмированного» социолога не могут не вызвать вопросы и методические аспекты эмпирического проекта. Он заявлен как основанный на качественном подходе, что обусловлено не только предметом (содержание и типы низового российского патриотизма), но и стремлением показать, что скрывается за воодушевляющими (руководство страны) результатами общероссийских социологических опросов (количественный подход), показывающими рост патриотических настроений среди россиян. С практической точки зрения (что, как и зачем было сделано на этапах сбора и анализа эмпирических данных) «качественность» исследовательского проекта оправдана, но в книге встречаются терминологические неточности (вряд ли речь идет о глубинных интервью — скорее о полуформализованных интервью-беседах; называть проведение интервью «для выяснения проблем межэтнических отношений на локальном уровне» этнографическим исследованием некорректно даже с учетом западной расширительной трактовки этой тактики), методические недоговоренности (не объясняются причины проведения не только индивидуальных, но и коллективных интервью, не указано их соотношение) и необъяснимое калькирование количественного подхода в анализе данных, хотя исследование носило разведывательно-поисковый характер и не в полной мере выполнило требования даже к использованной целевой выборке.

Сомнения вызывает и использованный в книге подход к анализу полученных данных — текстов индивидуальных и коллективных интервью. Автор описывает его как обнаружение в транскриптах «признаков “следов патриотизма”» (на С. 36 приведен список признаков), по каждому из которых фиксировались «контекст высказывания, ...эмоции, сопровождающие упоминание того или иного понятия или явления [как именно они фиксировались, не уточняется], ...смысл, вкладываемый респондентом в тот или иной признак (чаще всего требовался уточняющий вопрос интервьюера), ...оценки или

суждения, сопровождающие упоминание признака, наличие или отсутствие у респондента идентификации с упоминаемым явлением» (С. 37). Все это напоминает либо привычный для качественного подхода нечастотный контент-анализ [см., напр.: 7; 8; 13], либо «обоснованную теорию» [см., напр.: 6; 13; 15; 18] («живые коды», несколько процедур кодирования, чтобы выйти на набор категорий — типы патриотизма — и «теоретическая выборка» рассмотренных «кейсов»). Неиспользование общепринятой модели текстового анализа делает итоговую типологию низовых патриотизмов несколько хаотичной, а непроработка «категорий» (типов патриотизма) по правилам контент-анализа или кодирования «обоснованной теории» порождает множественные пересечения типов.

Таким образом, можно суммировать возникающие к книге вопросы следующим образом: что касается общего теоретико-методологического «фрейма», то непонятно, почему в качестве такового не был использован критический дискурс-анализ [см., напр.: 9; 11; 13; 14; 16; 17]. С одной стороны, он бы не позволил задавать риторические исследовательские вопросы типа «если чувство принадлежности к нации в России и крепнет, то процесс этот является частью мирового тренда, но почему же тогда в мировых СМИ и научной литературе получило широкое распространение представление о россиянах как об особенно ярых националистах, шовинистах или империалистах?» (С. 10). Во-первых, хотелось бы увидеть ссылки на эти научные источники, потому что я не сталкивалась с такими описаниями россиян в академических изданиях — как «людей зомбированных, слепо следующих пропаганде» (С. 22). Во-вторых, в рамках критического дискурс-анализа подобный вопрос невозможен: мы живем в мире дискурсивно-конструируемом, и, в частности, медийный дискурс решает задачи проведения демаркационных границ между «мы» и «они» и создания образа «врага». В эту модель укладывается и представленная в книге характеристика нынешнего российского государственнического дискурса — как направленного на «развитие патриотизма... он стремится к достижению национального единения, понимаемого как укрепление государства, возвеличивание славного прошлого и великой культуры», что выразилось во «всплеске патриотизма, последовавшего за присоединением Крыма» и зафиксированного всеми опросами общественного мнения (С. 12). С другой стороны, в книге используется категориальный аппарат дискурс-анализа («нарративы», «дискурсы», «социальная критика» и пр.) и упоминаются представители его разных версий, например, Э. Лаклау с его понятием «пустого означающего» (С. 85). Поэтому декларативный отказ автора от изучения «патриотического дискурса или государственного патриотического проекта» (С. 15) сути исследования не меняет — автор проводит критический дискурс-анализ, показывая соотношение государственного и повседневного дискурсов в контексте патриотической проблематики, а также борьбу государственного дискурса за «правильное» структурирование, событийное и оценочное наполнение обыденного дискурса.

Что касается методологического подхода (качественного), то автор совершенно обоснованно обращается к нему для подтверждения гипотезы о существовании в России «множественных национализмов с различными значениями» и раскрытия «множественных смыслов, вкладываемых людьми в свое чувство патриотизма» и не просматриваемых в опросах общественного мнения, «свидетельствующих одновременно о высоком рейтинге главы государства и о высоком уровне патриотизма» (С. 13). Действительно, «качественные методы более чутки к тому, что респонденты говорят и делают», показывают, что «существует намного больше различных вариантов восприятия смысла того, чтобы быть россиянином или русским и жить в России» (С. 13), но зачем тогда использовать приемы количественного подхода? Качественный подход с момента своего оформления в эмпирической социологии (в работах представителей Чикагской школы) обосновывал достаточность аналитических обобщений (типологий) как результата исследования, проведенного с помощью (нерепрезентативной) целевой выборки (аналитической индукции) и полуформализованных методик (включенного наблюдения и разных типов интервью). В книге же встречаются утверждения, что проект «доказал наличие различных версий патриотизма, отличающихся от... кремлевского проекта» (С. 14 — все же не доказал, а показал), а выборка слишком смещена в пользу Санкт-Петербурга — 95 интервью из 237, что якобы дает авторам право проводить сопоставления по социально-профессиональным группам, причем в Москве было взято всего 26 интервью, а в Астрахани — 41, Казани — 24, Перми — 25, и разные типы поселений (село, моногород, столица и еще один город) были охвачены только в Алтайском крае.

Перекося в пользу Санкт-Петербурга можно было бы объяснить рассмотрением его как кейса, а не как «основного поля» (и все же не дающего возможности «сравнивать одинаковые социально-профессиональные группы в Санкт-Петербурге и в других городах» — С. 31), и привлечением некоторых других «полей» для сопоставительной контекстуализации данных и проверки разработанной типологии патриотизма. На небольшой (по меркам количественного подхода), целевой и не квотированной выборке некорректно проводить сравнения по большому количеству параметров, рассчитывать относительные частоты, представлять их в табулированном виде и делать выводы о региональных и иных различиях. Получается, что исследователи «отказались от использования количественных методов» как «измеряющих распространенность абстрактных представлений» и «выявляющих доминирующие в обществе стереотипы» (С. 25), подчеркивают, что их «метод носит строго качественный характер» (С. 121), но при этом калькируют формат отчетности количественного подхода, рассчитывая проценты по 237 интервью (в среднем одночасовой продолжительности), причем 50 из них «приходилось на неформальные ситуации» (непонятно, о чем идет речь, вероятно, о коллективных интервью — когда опрашивались люди, собравшиеся по просьбе исследователей или для решения своих вопросов). Несомненно, результаты анализа

транскриптов интервью можно представлять в «количественном» формате (это суть контент-аналитической их обработки), но только как соотношение выделенных категорий и составляющих их элементов, а не как «распределение различных типов патриотизма, в том числе по регионам» в процентах (С. 38), делая выводы, что «в целом государственных патриотов меньше, чем негосударственных» (С. 39), что «особенно широко локальный патриотизм распространен на Алтае (65%)» (С. 42) и «повсюду сопровождается антимосковскими настроениями» (С. 43), что «более половины респондентов предъявляют претензии государству» (С. 69), а тем более что «в Москве, в противоположность тому, что говорят опросы общественного мнения (!), зафиксированный уровень ксенофобии низкий, ниже, чем в Санкт-Петербурге» (С. 130).

Все сказанное выше не означает, что книгу не нужно читать — обязательно нужно, потому что в ней показаны важные тенденции развития российского общества, предпринята смелая попытка охарактеризовать «народный» патриотизм как не вполне совпадающий с государственными программами и риторикой патриотического воспитания и предложена полезная типология российского повседневного патриотизма — для проверки, уточнения и доработки в эмпирических исследованиях, в том числе в опросах общественного мнения. Однако следует читать книгу как кейс-стади со множеством ограничений концептуального и методологического характера, отстраняться от политизированных выводов автора и воспринимать неполитизированные выводы не как «доказательства», а как вероятностные суждения, требующие дальнейшей проверки.

Итак, какие виды патриотизма описаны в книге по результатам эмпирического исследования: прежде всего, это низовой/повседневный патриотизм в целом — он «показывает, каким образом люди, не принадлежащие к элитам, воспринимают свою страну и других ее жителей» (С. 15), это патриотизм «не риторический и не являющийся политическим проектом [в отличие от патриотизма «сверху»]», а скорее «обнаруживаемый на уровне чувств и эмоций, в практиках и неформальных разговорах», «не живущий и развивающийся в отрыве от обыденного существования, а, напротив, глубоко укорененный в опыте повседневности» (С. 17). Важность социологического изучения именно такого патриотизма объясняется тем, что наблюдается «расхождение или неполное совпадение между “верхушечным” национализмом [все же патриотизмом] (нацеленным на укрепление государства и лояльности правящим элитам) и низовым (т.е. пониманием нации [все же социальной общности] и ее значимости в повседневной жизни и рутинных отношениях)» (С. 34), т.е. социологу «необходимо интересоваться теми различными смыслами, которые могут быть присвоены (и присваиваются) официальным категориям и словесным клише. Патриотизм, патриот, родина, политика — все эти понятия могут наполняться разным содержанием — в зависимости от ситуации и жизненного опыта человека» (С. 35), и социолог может это «наполнение» типологизировать.

Повседневный патриотизм автор делит на негосударственный и государственный. Первый «характерен для респондентов, которые имеют свою версию патриотизма, отделяют ее от пропагандистской, осуждают “ура-патриотизм” и не одобряют роль, которую государство играет в насаждении патриотизма сверху, но... это не то же самое, что патриотизм оппозиционный», и он часто сопровождается «народным патриотизмом — в этом случае человек делает упор на лояльность народу, а не государству» (С. 38). «Государственные патриоты, напротив, одобряют официальную пропаганду, политику патриотического воспитания и роль государства в усилении нации, в первую очередь внешнеполитическом... но не обязательно поддерживают нынешний политический курс» (С. 39). В качестве элементов государственного патриотизма выступают: противопоставление России и Запада (необязательно враждебно-агрессивное, речь может идти о том, что «мы не хуже Запада»); желание подвести черту под «лихими девяностыми» (периодом, когда «любить родину было стыдно»); поддержка идеального образа своей общности посредством игнорирования некоторых изъянов («нить поменьше надо» и «не лить помой на страну, в которой живешь»); запрос на экспроприацию олигархической собственности в пользу государства, чтобы «поднять страну».

Третий тип — не-патриотизм: «не-патриоты отвергают всякий патриотизм, нередко бранят и гневно осуждают Россию..., считают, что в России все плохо, либо являются яркими оппонентами нынешних властей, отождествляя при этом Россию с последними и отвергая, соответственно, то и другое» (С. 41). Основным элементом непатриотизма (или декларации об отсутствии патриотизма) выступает негативная оценка России в целом — и государства (руководства страны), и населения, которая может основываться и на «идеализации Запада», и на «чувстве безысходности, заброшенности и беспомощности, невозможности что-либо сделать для улучшения общей и личной ситуации ни локально, ни тем более в масштабах страны» (С. 58).

Четвертый тип — «отстраненные патриоты» (слабая форма патриотизма): без наводящих вопросов не затрагивают тему патриотизма, но на прямой вопрос отвечают, что «любят Россию, но это не является важным компонентом мироощущения; ...важнее другое — то, как живет ему и другим здесь и сейчас... чаще отстраненный патриотизм сопровождается критическим отношением к государственной патриотической пропаганде» (С. 41). «Больше всего отстранены от вопросов... патриотизма люди, живущие в бедности или даже нищете и вынужденные постоянно бороться за выживание... Человек живет исключительно повседневными заботами... и отрицательно относится к государственному патриотическому проекту именно потому, что он никак не резонирует с его обыденной жизнью и вступает в противоречие с его непосредственным опытом»: «вот мне лично по барабану, Крым у нас там, не Крым, ты зарплату подними людям, дай нашим детям образование» (С. 59).

Несколько особняком стоит «локальный патриотизм — привязанность к району, селу, городу или региону», который может присутствовать во всех формах (общероссийского) патриотизма (С. 42), хотя в социологических

исследованиях все же принято выделять уровни патриотизма — любовь к малой родине и любовь к большой родине (стране). Локальный патриотизм может «разрастаться» до региональных размеров, как в случае с Татарстаном, где сложился региональный «патриотизм гордости» — «образ Татарстана ассоциируется с прогрессом, спортом, мультикультурализмом и межэтнической толерантностью, ростом благосостояния и высоким качеством жизни, ...нередко сопровождается критикой татарских властей (клановость, коррумпированность), ...для него характерна критика курса федерального руководства на централизацию, которой часто сопутствует пожелание большей автономизации региона» (С. 61).

Большая часть книги представляет собой детальные описания выделенных типов повседневного российского патриотизма на основе собранных и проанализированных интервью, и выводы и интерпретации авторов подтверждаются многочисленными цитатами из интервью, т.е. читатель получает возможность «услышать» голоса респондентов (с резкими оценками, юмором и матом), объясняющих свое отношение к российскому государству, обществу, различным социально-профессиональным группам, «своим» и «чужим» (по разным критериям). Во второй части книги представлено несколько своеобразных кейсов российского «активистского патриотизма» — описаны «активисты националистических или патриотических движений, сознательно апеллирующие к национализму или патриотизму в своей общественно-политической деятельности» (С. 142). Вторая часть книги написана в ином стиле, чем первая, потому что кейсы охарактеризованы по всем правилам кейс-стади (анализ публикаций, включенное наблюдение и интервью в разных сочетаниях), — это молодежные патриотические клубы и «прокремлевские» националистические движения (краткий очерк без интервью и наблюдений), русские националистические клубы как пример либеральной версии национализма и перформативные практики арт-группы «Родина» (сочетание всех методических решений).

Со многими выводами книги, особенно «количественного» характера, трудно согласиться, как и с отдельными аналитическими обобщениями, скажем, с конструкцией «социальный расизм» — как обозначением презрительного отношения якобы интеллигентного человека к якобы «зомбированным ура-патриотам» — или с разведением «моральных ксенофобов» и «ксенофобов по экономическим причинам». Однако нельзя не согласиться с авторами в том, что тип патриотизма в значительной степени определяет запросы к государству (перестать обогащать «денежные мешки», предоставить населению широкие социальные гарантии в сфере образования, здравоохранения и пр., развивать экономику через поддержку производства, а не финансового сектора и торговли и т.д.), но, независимо от типа повседневного патриотизма, главное требование простых россиян к государству — борьба с социальным неравенством. «По ощущению респондентов, именно социальное неравенство, а вовсе не межнациональная рознь — главный источник напряжения в

обществе» [см., напр.: 2]: «кто платит, тот заказывает музыку... богатые себе присвоили все ресурсы страны» (С. 89); «одни концы с концами свести не могут, а другие не знают, на что потратить свои огромные средства» (С. 91); «у нас как родился, так и начинаешь бороться за выживание» (С. 95) и т.д.

Позитивно-практический потенциал повседневного патриотизма как социальной установки (или ценностной ориентации) в книге обозначен предельно социологически: по аналогии с «социологическим воображением» (неотъемлемая часть профпригодности) патриотизм охарактеризован как «расширение социального воображения» — когда «человек живет не только своей ближайшей средой, не только в узком кругу “своих”... но и поднимает взгляд от земли и видит горизонт... вместо “своих” возникает группа “мы”, включающая в себя в том числе отдаленных друг от друга людей» (С. 21, 22) (использована модель «воображаемых сообществ» Б. Андерсона [1]). Однако, к сожалению, выводы книги не вписаны в контекст сложившихся в российской социологической литературе аналитических обобщений. Возможно, это объясняется тем, что сельское население и жители малых городов практически не попали в фокус внимания проекта, и автор не обращался к работам о российской (сельской) периферии, где убедительно показано, что тот негосударственный народный патриотизм, о котором автор пишет как о фундаменте низовой солидарности — «чувстве причастности к большой социальной общности “простых”, “бедных”, “трудящихся” людей, которая противопоставляется “богатым” и “ненастоящим патриотам”, т.е. патриотам только на словах, которые не готовы вкладывать собственные средства в развитие страны или прилагать усилия для общего блага» (С. 48), — это устойчивое основание для коллективных практик так называемой «Второй России» [см., напр.: 12] (прежде всего, депрессивной сельской периферии). Здесь повседневный локальный негосударственный патриотизм становится основой солидарного коллективного действия, обусловленного «чувством общности с теми, кто несправедливо беден» (С. 95), и, тем самым, основой сохранения человеческого и социального капитала сельских территорий и без предлагаемого в последней главе «левого патриотизма как органической идеологии местного активизма» (С. 221). Собственно об этом автор и пишет, говоря о главной линии раскола в российском обществе — «делении на богатых и бедных» — и низовом социально-критическом патриотизме, направленном против несправедливости в целом и несправедливого обогащения в особенности: «богатые — это в основном... те, кто занят в финансовом секторе; коррумпированные чиновники, олигархи и власть имущие; бедные — это в основном трудящиеся (те, кто работает тяжело, но зарабатывает копейки), пенсионеры, безработная молодежь, а также большинство жителей отдаленных регионов и сел. Первые — не патриоты или патриоты “на словах”; вторые — “настоящие патриоты”» (С. 88).

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего образования РФ (№ соглашения о предоставлении гранта: 075-15-2020-908).

Библиографический список

- [1] *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
- [2] *Божков О.Б., Троцук И.В.* Постсоветский фермерский интернационал в сельском хозяйстве Северо-Западного региона // *Крестьяноведение*. 2020. Т. 5. № 4.
- [3] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 3.
- [4] *Добролюбов Н.А.* Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым // *Собрание сочинений в 3-х тт.* М., 1986. Т. 1.
- [5] *Менделеев Д.И.* К познанию России. СПб., 1907.
- [6] *Страусс А., Корбин Дж.* Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. М., 2001.
- [7] *Таршиц Е.Я.* Контент-анализ: принципы методологии (Построение теоретической базы. Онтология, аналитика и феноменология текста. Программы исследования). М., 2014.
- [8] *Таршиц Е.Я.* Перспективы развития метода контент-анализа // *Социология: методология, методы, математическое моделирование*. 2002. № 15.
- [9] *Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е.* Методы анализа текста и дискурса. М., 2009.
- [10] *Толстой Л.Н.* Патриотизм и правительство // *Полное собрание сочинений в 90-та тт.* М., 1958. Т. 90.
- [11] *Троцук И.* Дискурсивное конструирование социальной реальности: концептуальные основания и эмпирические приемы разоблачения «скверных» практик // *Социологическое обозрение*. 2014. Т. 13. № 2.
- [12] *Троцук И.В.* «Вторая Россия»: форматы «обнаружения» и дискурсивной презентации // *Пути России. Новые языки социального описания*. М., 2014.
- [13] *Троцук И.В.* Текстовый анализ в социологии: проблемы и обещания разных типов «чтения» слабоструктурированных данных. М., 2014.
- [14] *Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В.* Дискурс-анализ. Теория и метод. Х., 2004.
- [15] *Charmaz K.* *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis*. Thousand Oaks, 2006.
- [16] *Fairclough N.* Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities // *Discourse & Society*. 1993. № 4.
- [17] *Fairclough N.* *Media Discourse*. L., 1995.
- [18] *Miller S.I.* How does grounded theory explain? // *Qualitative Health Research*. 1999. Vol. 9. No. 4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-891-902

Everyday people's patriotism in Russia: Possibilities and limitations of sociological study and typologization*

I.V. Trotsuk

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Vernadskogo Prosp., 84, Moscow, 119571, Russia

RUDN University
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, 117198, Russia
(e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru)

Abstract. The article is a review of the book by K. Clément *Patriotism from Below. "How Is It Possible That People Are So Poor in the Rich Country?"* (Moscow: NLO, 2021. 232 p.). The book is based on the results of the research project aimed at the detailed description of different types of

* © I.V. Trotsuk, 2021

The article was submitted on 01.08.2021. The article was accepted on 28.09.2021.

everyday Russian patriotism with the help of the qualitative approach (in fact, case studies and semi-formalized interviews were conducted, although the book presents them as ethnographic research and in-depth interviews). The book identifies and describes the following types of the ‘grassroot’ Russian patriotism which does not always coincide with the state patriotic discourse (patriotism ‘from above’): non-state and state everyday patriotism, non-patriotism, detached patriotism, and local patriotism. The review identifies both the undoubted merits of the book and its conceptual, methodological and analytical limitations which can become a starting point for further sociological studies of discursive practices and behavioral patterns of Russians, especially of those living in the Russian ‘hinterland’ (depressed peripheral regions of the country).

Key words: patriotism; everyday patriotism; patriotism ‘from above’ and ‘from below’; state discourse; everyday interpretations; non-state and state patriotism; local patriotism

Funding

The article was prepared in the framework of a research grant funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (grant ID: 075-15-2020-908).



DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-903-910

Транснационализм и интернационализм: возрождение понятий*

В.В. Бабашкин

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
просп. Вернадского, 84, Москва, 119606, Россия
(e-mail: babashkinvv@outlook.com)

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу «“Жить в двух мирах”: переосмысливая транснационализм и транслокальность» (М.: НЛЮ, 2020. 259 с.). Рецензируемая книга стала одним из результатов исследовательского проекта «Транснациональные и транслокальные аспекты миграции в современной России», работы в рамках которого проводились на базе Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2015–2017 годы при поддержке Российского научного фонда. В рецензии убедительно показано, что коллективу авторов, чьи статьи составили научную монографию, действительно удалось переосмыслить стоящие за социологическими терминами «транснациональная миграция» и «транслокальная миграция» сложные социальные феномены. Автор рецензии, опираясь на коллективную монографию, пытается ответить на вопрос о причинах введения в теоретический научный лексикон рассматриваемых терминов и о том, какое направление для их переосмысления предлагают статьи сборника.

Ключевые слова: миграция; транснационализм; транслокальность; национализм; общества

Заявка на то, чтобы при изучении таких явлений, как эмиграция, международная миграция, возвратная и маятниковая миграция в пределах одной страны и т.д., использовать новую терминологию — «транснационализм» и «транслокальность», состоялась в начале 1990-х годов, когда коллективом исследователей была опубликована обоснованная критика классических трудов по проблематике миграции, основывающихся на теории национализма [1]. Предполагалось, и не без основания, что при помощи новой терминологии исследователям будет легче описать и понять некоторые аспекты миграционных явлений, связанных, прежде всего, с процессами стремительной глобализации мировой экономики и международных отношений. Таким образом, изначально понятие «транснационализм» вводилось с целью преодоления — даже на уровне словоупотребления — методологического национализма, под которым подразумевается восприятие национальных государств и их границ

* © Бабашкин В.В., 2021

Статья поступила 24.07.2021 г. Статья принята к публикации 28.09.2021 г.

как чего-то естественно предзаданного и само собою разумеющегося. Этим термином, наряду с такими словами, как «транслокальность» и «трансмигранты», помимо социологов, в англоязычном интеллектуальном пространстве стали пользоваться антропологи, этнографы и политологи, полагая их вполне удачными для фиксации новых важных деталей в рамках предмета своего научного интереса: стратегии развития национальных государств, стратегии выживания расширенных семей, расширения социальных пространств индивидов и т.д.

Во введении авторы приводят подробный обзор дискуссии о том, какое содержание следует вкладывать в понятие транснационализма и стоящую за ним теоретическую концепцию. Дискуссия имеет место в западной литературе вот уже порядка трех десятилетий, и видимая готовность и даже заинтересованность специалистов в области национальных взаимоотношений к этому словоупотреблению лишь нарастает. Но именно это пугает авторов обзора: по их мнению, «популярность транснациональной концепции в миграционных исследованиях рубежа XX–XXI веков привела к тому, что через обращение к идее транснациональности стали рассматривать все варианты международной миграции. Подобная экспансия зачастую выхолащивает эту категорию, делает ее “общим местом”, так что концепция стала терять свой объяснительный смысл» (С. 16). В качестве критической реакции на такое положение вещей не замедлили появиться публикации, призывающие использовать данную научную категорию строго по делу, т.е. для анализа тех миграционных потоков, природу и характер которых целесообразно анализировать с опорой на концепцию транснационализма. Оказалось, что применение этой аналитической категории целесообразно лишь к относительно небольшой части мигрантов и миграционных процессов.

С другой стороны, авторы сборника убеждены, «что использование концепции транснационализма отнюдь не исчерпало себя, а вполне оправданно и полезно именно сейчас и именно для тех сюжетов, которым сборник посвящен. Удивительно, но несмотря на былую популярность концепции в западных дебатах, она фактически была проигнорирована в российских исследованиях» (С. 17). Это, конечно, явное упущение в отечественной науке о национальных взаимоотношениях, однако содержание рецензируемого издания, тематика и качество составивших его материалов вселяют здоровый оптимизм. Тем более что и транснационализм, и транслокальность, кажется, наилучшим образом подходят как раз для целей исследования важных аспектов социального бытия в постсоветском содружестве независимых государств.

Последнее подтверждается оригинальной методологией и логикой рецензируемой монографии: изучались конкретные факты возвратной миграции (или трансмиграции) жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в Москву и Санкт-Петербург. В фокусе внимания коллектива соавторов было тридцать кейсов, поровну разделенных между этими странами Средней Азии. Ставилась задача одновременного изучения воздействия миграции на самих мигрантов и на членов их семей, остающихся в странах исхода, ради

которых люди и отправлялись на заработки. В мегаполисах с приезжими работали российские социологи, а с их остающейся дома родней входили в контакт узбекские, таджикские и кыргызские исследователи. В последнем случае помимо интервью и неформальных бесед практиковался широкий спектр социологических методик. В рамках изучения каждого конкретного кейса социологи с обеих сторон имели возможность прибыть в другую часть рассматриваемой транслокальности, чтобы непосредственно удостовериться в том, насколько адекватная картина складывается по исследованию в целом, по находящейся в его фокусе «двуединой» реальности.

Главной идеей всех статей сборника стала попытка взглянуть на миграцию в транснациональном/транслокальном измерении, т.е. увидеть жизнь мигрантов, конкретных людей, в разных перспективах — не только там, где они в данный момент работают, но и там, где жили (и куда, вероятнее всего, в большинстве своем вернутся), увидеть коммуникации и социальные/семейные взаимосвязи между разными локальностями, перемещение между ними мигрантов, вещей и денег, постоянный обмен информацией, в том числе при помощи мобильной связи, увидеть смыслы и планы, которые формируются в одном месте, а реализуются в другом, уловить те дополнительные привходящие ценности, которые в ходе всего этого формируются. Такая транснациональная перспектива делает объемным взгляд на постсоветскую миграцию — мы получаем возможность увидеть и понять ее не только с внешней (ограниченной) российской точки зрения, но и с позиции мигранта, который живет в физическом/виртуальном пространстве нескольких стран, а также с точки зрения близких мигранта, которые остаются дома, но продолжают влиять на него.

Вернемся к упомянутому выше ажиотажу, который вызвали в западной литературе, специализирующейся на изучении миграции, слова «транснационализм» и «транслокальность» и стоящая за ними теоретическая концепция. Отклик среди специалистов был настолько значительным, что на рубеже веков можно было говорить о «транснациональном повороте» в исследованиях. Вероятно, это один из тех нередких случаев, когда уместен известный афоризм В. Гюго: «В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло». Не исключено, что великий француз был вдохновлен на столь остроумное умозаключение, в частности, наблюдая, с какой силой в современной ему Западной Европе работает идея пролетарского интернационализма.

Ссылаясь на обширную исследовательскую литературу по миграции, которая с готовностью стала брать на вооружение концепт транснационализма, авторы подчеркивают, что «осмысление социального сугубо в границах национальных государств ограничивает понимание многообразия социальных миров, поскольку территориальные границы и границы социальных пространств в современном мире, как правило, не совпадают» (с. 11). Было бы, наверное, излишне решительным делать из этого вывод, что ныне под натиском транснационализма по швам трещит та историческая и вполне

современная реальность, которую в советское время было принято обозначать как «буржуазный национализм» (теперь принято говорить просто о национализме, без буржуазности). Более того, показывая особенности концепта «транснационализм» как теоретической линзы и подчеркивая его широкий эвристический диапазон, авторы утверждают, что это слово подходит и для характеристики одной из новых стратегий развития национальных государств. Например, в некоторых странах, откуда происходит возвратная миграция или эмиграция, разрабатываются такие правовые институты, как двойное гражданство, поскольку экономическое, политическое и культурное соучастие бывших сограждан в общественной жизни стран исхода государственным руководством последних нередко поощряется.

Ссылка при этом делается, помимо прочего, на работу Б. Андерсона «Удаленный национализм», опубликованную в Амстердаме в 1992 году. А ведь это тот самый Андерсон, чья книга «Воображаемые сообщества» [2] произвела настоящую методологическую революцию в области теоретического исследования национальной проблематики. Достаточно вспомнить количество ее переизданий и переводов на иностранные языки, включая русский, чтобы понять объяснительную силу данного теоретического подхода при осмыслении одной из самых загадочных сфер человеческого бытия — области национальных отношений. Как пишет автор аналитической статьи, предваряющей текст русского перевода «Воображаемых сообществ» С.П. Баньковская, сама формула, вынесенная в название монографии, содержит настолько новаторский подход, что «дальше, собственно, “можно и не читать” — и так ясно, что национализм обязан своим возникновением не осознанию подлинно существующей между людьми общности, но конструкции, воображению, чему-то, скорее всего, не подлинному и ошибочному» [3. С. 5].

Прежний взгляд на область национальных отношений как на нечто объективно существующее подразумевал и наличие специалистов по исследованию этой объективной реальности, способных отражать ее максимально адекватно, а, следовательно, и возможность научно обоснованных рекомендаций для политиков, которые принимают решения в этой сфере общественного бытия. Однако новейшая история человечества дает слишком мало примеров того (если вообще дает), что такие рекомендации в принципе возможны. Ведь специалистов по их выработке, если следовать железной логике теории прогресса [4], должны были поставлять человечеству системы университетского образования передовых, наиболее прогрессивных стран. А теория эта, как известно, безраздельно утвердилась с конца XVIII века в гуманитарном знании стран романо-германской цивилизации и пришлась ко двору политическим элитам, которые поспешили объявить свои страны таковыми. Все это неизбежно должно было порождать представления о цивилизаторской миссии передовых наций по отношению к отсталым. И эти представления, оформленные в наукообразные общесоциологические теории, прекрасно справлялись с функцией идеологического обеспечения не самых благовидных действий цивилизованных стран в области международных отношений.

Сказать, что с выходом в свет «Воображаемых сообществ» все это стало стремительно уходить в прошлое, было бы проявлением излишнего оптимизма. Прежние теории наций и национальных отношений цепко удерживаются на плаву в политическом лексиконе. Это одна из тех областей гуманитарного знания, в которой парадоксальное единство марксизма и либерализма проявляется особенно отчетливо. Вспомним знаменитую ленинскую фразу из «Детской болезни “левизны” в коммунизме» о том, что русский образец показал всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалекого будущего. Вспомним, что в этой связи было написано в советских учебниках по научному коммунизму — о возможности для народностей докапиталистической формации превратиться в социалистические нации, «минуя стадию капитализма». И если появится в ответ желание заявить, что перестройка и последовавшие «лихие 1990-е» все это обнулили, попробуем поменять в ленинской фразе «русский образец» на «американский», а ведь на подходе еще и «китайский» — вот вам и единство марксизма и либерализма, коммунизма и антикоммунизма.

Андерсон отмечал, что один из продолжателей богатой марксистской традиции в западной историографии Т. Нейрн пришел к чистосердечному признанию: «Теория национализма представляет собой великую историческую неудачу марксизма» [3. С. 28]. Причина неудачи в том, что ни марксистам, ни их вечным оппонентам из либерально-демократического лагеря в голову не приходило, что определение столь серьезной научной категории, как «нация» (если уж пользоваться именно этим термином для постижения сложных и важных проблем обществоведения), следует основывать не на «базисе», т.е. не на уровне развития технологий материального производства, определяющем характер социально-экономических отношений страны обитания нации, а на «надстройке». «Поступая так, как обычно поступают в антропологии, — пишет Андерсон — я предлагаю следующее определение нации: это воображаемое политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное... На самом деле, все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются» [3. С. 31].

Какое все это имеет отношение к главным героям статей, составивших книгу «Жить в двух мирах»? Самое непосредственное. Описываемые люди — таджики, узбеки и киргизы, и дальше задумываешься — как по-русски грамотно продолжить прерванную фразу: «по нации» или «по национальности». Советским студентам гуманитарных факультетов разъяснялось, что нация есть теоретическая категория, пригодная для анализа буржуазного общества, в отличие от докапиталистической народности. Но фразу «таджик по народности» язык не повернется выговорить. Поэтому, чтобы на уровне самой точной из гуманитарных наук и самой гуманитарной из точных (каковой, согласно М.А. Кронгаузу, является лингвистика [5. С. 63–64]), обойти

этот острый угол, советская историография в свое время старательно придерживалась взгляда, что среди всего этнического богатства и многообразия до-революционной Российской империи русские точно были нацией. А всех тех, кто не без основания сомневался в историческом факте прохождения русской деревней (т.е. огромным большинством этнических русских) стадии капитализма в своем развитии (интересно, что по городу подобные сомнения отмечались сразу), стыдили за методологическую несостоятельность. В результате получалась вроде бы строго научная и логичная картина: русская нация дружно демонтировала капиталистический «базис», успешно перестроив его к середине 1930-х годов в более передовой и прогрессивный социалистический. И в ходе этой гигантской перестройки коренным жителям национальных окраин бывшей империи удалось пройти в кильватере, создав при руководящей роли русского народа необходимое условие для перехода в категорию наций — основы национальной экономики.

Эта славная и непротиворечивая картина мира рухнула приблизительно тридцать лет назад и в теории, и на практике. Можно ли ее как-то реставрировать? Убежден, что можно и нужно, но это будет уже иная картина, потому что для восстановления теоретического единства по проблематике постсоветского интернационализма необходимо радикально поменять тот стиль, в котором воображаются складывающиеся ныне отношения между бывшими согражданами по большому многонациональному союзному государству, тот стиль, о котором писал Андерсон. Теперь редко кто вспоминает, что в позднесоветской политической пропаганде добросовестно эксплуатировался штамп «новая историческая общность людей — советский народ». В рамках вульгарного марксизма (который в СССР начиная с 1956 года стремительно приобретал все более вульгарный вид) процесс строительства коммунизма мыслился еще и как успешное преодоление национальных различий между людьми, а не только социальных. Вероятно, это — прямо или косвенно — способствовало «трансмиграции советского типа», когда укреплялась русская диаспора в национальных республиках и национальные диаспоры в России. Политически это приветствовалось, идеологически трактовалось как свидетельство становления нового, продвинутого уровня интернационализма. И это важное историческое обстоятельство обуславливает особую актуальность того, что авторы монографии «Жить в двух мирах» детально и многопланово применяют концепцию транснационализма и транслокальности именно к постсоветскому социуму.

В принципе в каждой из статей, составивших сборник, при желании можно найти достаточно свидетельств того, что транснационализм и транслокальность на исторической почве бывшего СССР в условиях современной постсоветской России отличаются интересной спецификой, которую можно трактовать как пережитки социализма с его дружбой народов либо объяснять как-то иначе. Так, в статье «Жизнь в миграции» М. Ривз пишет, что, познакомившись с молодой супружеской парой из Кыргызстана, мигрировавшей в Москву, изучив оставшиеся на родине связи своих новых знакомых, их

мотивы к миграции и мотивации к труду, она сознательно идет «наперекор тенденции, характерной для нарративов о трудовой миграции в России, — восприятию мигрантов как уклоняющихся от закона сомнительных субъектов (“нелегалов” на бюрократическом сленге) либо как жертв эксплуатации и жестокого обращения», стремясь сфокусироваться «на социальной агентности и этической логике трудовых мигрантов» (С. 30).

Ривз много внимания уделяет теоретическому обоснованию своего подхода и выводов эмпирического исследования, что прослеживается даже по подзаголовкам ее статьи: «Погоня за “честно заработанными деньгами” в эпоху неравенства»; «“Свои чужие”» (о том, насколько ближе работодателям в России жители стран СНГ, нежели гастарбайтеры из дальнего зарубежья); «Ценность труда»; «Деньги и нечто иное». В итоге Ривз выражает принципиальное несогласие со своей коллегой Ф. Пайн, изучающей сельскую Польшу как еще один регион интенсивной миграции и утверждающей, «что миграция по сути противоположна советской социалистической этике», «что миграция сводит на нет ценность труда» (С. 32). Ее кыргызские знакомые имеют не так много оснований признать, «подобно польским мигрантам, описанным Пайн, что миграция “лишает труд моральной ценности”» (С. 39). Есть много здравого смысла в том, чтобы под этим углом зрения присмотреться к главным героям других статей рецензируемой книги, да и в целом к транслокальной трансмиграции в постсоветском социально-экономическом и морально-этическом пространстве.

Информация о финансировании

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Библиографический список

- [1] *Glick Shiller N., Bash L., Blanc-Szanton C.* (Eds.). Towards a transnational perspective on migration: Race, class, ethnicity, and nationalism reconsidered // *Annals of the New York Academy of Sciences*. 1992. Vol. 645.
- [2] *Anderson B.* Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L.–N.Y., 1983.
- [3] *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
- [4] *Шанин Т.* Идея прогресса // Неформальная экономика. Россия и мир. М., 1999.
- [5] *Кронгауз М.А.* Русский язык: на грани нервного срыва. М., 2009.
- [6] *Троцук И.В.* Миграционные процессы в советском обществе 1960-х — 1980-х годов: наблюдения и прогнозы Т.И. Заславской // *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*. 2013. № 3–4.
- [7] *Троцук И.В.* Дискурсивные репрезентации (капиталистических) итогов «китайского экономического чуда» // *Социологическое обозрение*. 2020. Т. 19. № 2.
- [8] *Троцук И.* Дискурсивное конструирование социальной реальности: концептуальные основания и эмпирические приемы разоблачения «скверных» практик // *Социологическое обозрение*. 2014. Т. 13. № 2.
- [9] *Божков О.Б. Троцук И.В.* Постсоветский фермерский интернационал в сельском хозяйстве Север-Западного региона // *Крестьяноведение*. 2020. Т. 5. № 4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-903-910

Transnationalism and internationalism: Revival of the terms*

V.V. Babashkin

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Vernadskogo Prosp., 84, Moscow, 119606, Russia
(e-mail: babashkinvv@outlook.com)

Abstract. The article is a review of the book *“Living in Two Worlds”: Rethinking Transnationalism and Translocality* (Moscow: NLO; 2020. 259 p.). The book was one of the results of the research project “Transnational and translocal aspects of migration in contemporary Russia” conducted at the European University of Saint Petersburg in 2015–2017 with the support of the Russian Science Foundation. The review convincingly shows that the authors of this scientific monograph really succeeded in rethinking the complex social phenomena behind the sociological terms ‘transnational migration’ and ‘translocal migration’. The author of the review tries to answer the questions about reasons for the introduction of these terms into the theoretical scientific discourse and about directions the articles suggest for their rethinking.

Key words: migration; transnationalism; translocality; nationalism; community

Funding

The article was written on the basis of the RANEPА state assignment research program.

* © V.V. Babashkin, 2021

The article was submitted on 24.07.2021. The article was accepted on 28.09.2021.



НАШИ АВТОРЫ

Бабашкин Владимир Валентинович — доктор исторических наук, профессор кафедры политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций Института экономики, математики и информационных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (e-mail: vbabashkin@ranepa.ru).

Белов Владимир Иванович — доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений и директор Центра африканских исследований Российского университета дружбы народов (e-mail: vyou@yandex.ru).

Беляева Людмила Александровна — доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения социокультурных изменений Института философии Российской академии наук (e-mail: bela46@mail.ru).

Гаврилюк Вера Владимировна — доктор социологических наук, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского индустриального университета (e-mail: gavriliuk@list.ru).

Гаврилюк Татьяна Владимировна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра перспективных исследований и инновационных разработок Тюменского индустриального университета (e-mail: tv_gavrilyuk@mail.ru).

Гаспаршвили Александр Тенгизович — кандидат социологических наук, заместитель директора Центра стратегии образования Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: gasparishvili@yandex.ru).

Гнатик Екатерина Николаевна — доктор философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания Российского университета дружбы народов (e-mail: gnatik-en@rudn.ru).

Гонсалес-Вилья Карлос — доцент кафедры политических наук факультета юриспруденции и публичного права и Центра европейских исследований Университета Кастилии-Ла-Манча (e-mail: Carlos.GonzalezVilla@uclm.es).

Горшков Михаил Константинович — доктор философских наук, академик РАН, директор Института социологии, научный руководитель Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: m_gorshkov@isras.ru).

Захарова Светлана Валерьевна — заместитель директора департамента дополнительного профессионального образования Клинского института охраны и условий труда (e-mail: svetlanochka.zakharova@gmail.com).

Зеленев Илья Александрович — научный сотрудник кафедры социальной психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (e-mail: zelenev@yandex.ru).

Золотарева Ольга Анатольевна — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: OAMahova@yandex.ru).

Кильдюшов Олег Васильевич — научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: okildyushov@hse.ru).

Кучмаева Оксана Викторовна — доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: kuchmaeva@yandex.ru).

Ларина Татьяна Игоревна — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (e-mail: larina-ti@rudn.ru).

Латыпов Ильяс Альбертович — аспирант факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: ialatypov@hse.ru).

Подвойский Денис Глебович — кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова; доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник отдела теории и истории социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: dpodvoiski@yandex.ru).

Прохода Владимир Анатольевич — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник кафедры философии образования Московского

государственного университета им. М.В. Ломоносова; доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (e-mail: prohoda@bk.ru).

Пузанова Жанна Васильевна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (e-mail: puzanova-zhv@rudn.ru).

Раделжич Бранислав — доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений факультета политических наук Университета Некметтина Эрбакана (Турция); приглашенный профессор кафедры европейской политики факультета социальных наук Университета Антонио де Небриха (Испания) (e-mail: radeljic@erbakan; BRadeljic@nebrija.es).

Радкевич Константин Владимирович — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов (e-mail: radkevich-kv@rudn.ru).

Ростовская Тамара Керимовна — доктор социологических наук, заместитель директора по научной работе Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: rostovskaya.tamara@mail.ru).

Савичева Елена Михайловна — кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (e-mail: savicheva@mail.ru).

Стойшин Снежана — доктор социологии, доцент кафедры социологии факультета философии Университета Нови Сада (Сербия) (e-mail: snezanas@ff.uns.ac.rs).

Харитоновна Елена Владимировна — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки Российской академии наук (e-mail: evh1956@mail.ru).

Хлавча Даниэла — ассистент кафедры социологии факультета философии Университета Нови Сада (Сербия) (e-mail: danielahlavca@gmail.com).

Стрельник Ольга Николаевна — кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания Российского университета дружбы народов (e-mail: strelnik-on@rudn.ru).

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий

научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru).

Тюрина Ирина Олеговна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (e-mail: irina1-tiourina@yandex.ru).

Ушкин Сергей Геннадьевич — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник отдела мониторинга социальных процессов Научного центра социально-экономического мониторинга Республики Мордовия (e-mail: ushkinsergey@gmail.com).

Шлюкич Марица — доктор социологии, доцент кафедры социологии факультета философии Университета Нови Сада (Сербия) (e-mail: marica.sljukic@ff.uns.ac.rs).

Ястребов Олег Александрович — доктор юридических наук, заведующий кафедрой административного и финансового права юридического института Российского университета дружбы народов, ректор РУДН (e-mail: rector@rudn.ru).



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 30 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 20 до 30 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. Все **таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовки, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии AMA. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ◆ **аннотация** (резюме) объемом 250–300 слов на русском и английском языках;
 - ◆ **список 7–8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
 - ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность, ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места

работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес; в статье **допускается не более четырех соавторов**.

Срок рассмотрения и принятия решения о публикации составляет не менее **шести** месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редколлегия не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.



AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and interdisciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 30 to 50 thousand symbols for articles; from 20 to 30 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ◆ **abstract (summary)** of 250–300 words in Russian and English;
 - ◆ **a list of 7–8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ◆ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as **the author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address; **the number of co-authors cannot be more than four**.

The decision as to publication is made no less than within **six** months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors' consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК
